



Евгений
ШКЛОВСКИЙ

ФАТА- МОРГАНА

рассказы и повесть

Евгений Шкловский



НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ΦΑΤΑ-ΜΟΡΓΑΝΑ



Евгений Шкловский



ФАТА-МОРГАНА

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
МОСКВА 2004

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
Ш 66

*В оформлении книги использована
работа Виктора Пивоварова
«Вечернее солнце над Москвой»*

Шкловский Е.

Ш 66 **Фата-моргана:** Рассказы и повесть / Послесловие
А. Агеева. — М.: Новое литературное обозрение,
2004. — 512 с.

Евгений Шкловский — один из наиболее интересных современных рассказчиков, автор книг «Заложники» (1996), «Та страна» (2000) и многих публикаций в периодике. В его произведениях, остросюжетных, с элементами фантастики и гротеска, или неспешно лирических, иногда с метафизическим сквознячком, в искусном сплетении разных голосов и взглядов, текста и подтекста приоткрываются глубинные моменты человеческого существования. Поиски персонажами самих себя, сложная вязь человеческих взаимоотношений, психологические коллизии — все это находит свое неожиданное преломление в самых вроде бы обычных житейских ситуациях.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

© Е. Шкловский, 2004

© А. Агеев. Послесловие, 2004

© Новое литературное обозрение, 2004

ISBN 5-86793-301-9

ВОСПИТАНИЕ ПО
ДОКТОРУ ШПЕЕРТУ

Улица

Мы часто бывали на той, главной, улице. Конечно, она была самая-самая. Самая красивая, самая загадочная, самая манящая...

Время от времени, поближе к вечеру или даже к ночи, выпив или просто так, от нечего делать, садились в автобус и пилили через весь город. Какая-то непостижимая сила влекла туда. Уже загорались к этому времени высокие фонари, светились за чуть запыленными стеклами витрины с выставленными на них всякими экзотическими товарами, сияла неоновая реклама...

Мы погружались в это сияние, как в морскую ночную глубину, изнутри подсвечиваемую зыбкими таинственными огоньками. Мы проходили по краю этой крутизны, этих неясных, но осязаемых каждой клеточкой возможностей, как по краю бездны, испытывая сладко-тревожное ощущение ее близости — сделать только шаг! Мы были готовы...

Но кроме общей атмосферы было еще кое-что (или, верней, — кто), что особенно притягивало.

Разумеется, женщины.

Мы знали, что на этой улице всегда есть *те самые*...

Старшие опытные ребята говорили, что их там полно, снимай — не хочу. Некоторые за деньги, а некоторые и за так (кому нравится), только и ждут, чтобы кто-нибудь их позвал, а иные сами предлагают, чуть ли не за руку хватают.

Понятно, что нам это не светило — чтобы за руку, не доросли, но факт, что женщина может сама взять тебя за руку с вполне определенным намерением и куда-то повести, просто зомбировав.

Бог знает, сколько километров мы исходили по этой довольно длинной улице, мы паслись на ней часами, но так и не могли обнаружить тех, про кого говорили наставники. Да, попадались женщины, постарше и помоложе, даже просто девчонки — стайками, парами и в одиночку (реже), но как было определить — *те* это или не *те*?

Нет, правда, их, как и вообще народу, вечерами на этой улице всегда бывало достаточно — кто-то куда-то целеустремленно спешил, кто-то просто шел, но могли и просто фланировать, как и мы, глаза по сторонам и никуда не торопясь. Попадались и такие, кто стоял, с мороженым или бутылкой пива в руке и без — в одиночку, парами или опять же стайками, что-то обсуждая между собой или как бы ожидая чего-то... Но были ли это *те самые* — кто сказал бы наверняка? Ни по одежде, ни по чему другому.

Пойди разберись...

А нам очень хотелось разобраться.

Конечно, слово «б...» было ругательством и упот-

реблялось чаще всего именно как ругательство. Однако порой в его льдистой звонкости вдруг проступало нечто вкрадчивое, знобкое, почти магическое — оно и звучало тогда совсем по-другому. В нем был... призыв, иногда тихий, как ночной шелест листьев, а иногда оглушительный, как раскат грома, отчего охватывала странная, неудержимая дрожь...

Мы останавливались возле какой-нибудь витрины, в которой отражался заинтересовавший нас участок улицы (где как раз маячила *показавшаяся* нам особа, одна или несколько), и, делая вид, что погружены в созерцание выставленных напоказ тряпок, обуви, бутылок или электроники, внимательно наблюдали.

Это было даже увлекательно: девица могла прохаживаться, задумчиво курить либо нетерпеливо поглядывать на часы, лицо ее то закрывалось тенью, то вдруг резко высвечивалось, тело то устало изгибалось, то принимало, как нам казалось, вызывающую позу (одна нога выставлена вперед или чуть вбок), то... В каждом ее, может, даже вполне случайном, произвольном жесте нам мерещилось то самое, зазывное...

Впрочем, всякий раз плоды наших наблюдений оказывались весьма незначительными: увы, уверенности, что мы не ошиблись, что наконец-то обнаружили, по-прежнему не было. Чаще всего девица дожидалась своего ухажера, радостно спешила ему навстречу и вместе с ним уходила в кафе или еще куда-то, неведомо куда (может, в театр или в кино), и ничто не свидетельствовало, что она... вот именно...

А ведь часто случалось, что кто-нибудь из нас вдруг восклицал (как Архимед из учебника: «Эврика!»): вон-вон, точно... И мы в очередной раз разыгрывали если не сцену из фильма про шпионов, то что-то в этом роде. Выстраивались возле витрины и в ее зазеркалье жадно рассматривали искомый объект.

Иногда, увлекшись, мы теряли ощущение времени и места, мы забывали, что смотрим на отражение в стекле — мир незаметно выворачивался наизнанку, и мы были уже не здесь, а *там*, среди мерцающих огоньков *той* улицы, в тревожной пляске теней и бликов, среди *тех* женщин, которые потом таинственно исчезали, оставив в нас горьковатый осадок обмана. Ведь это не кто-то подходил к ним, а мы, или они подходили к нам, и мы вместе шли куда-то, чтобы окунуться в самую глубину этого зазеркалья.

Эта тайна преследовала нас.

Однажды мы сидели поздно вечером в скверике — не на той улице, а неподалеку от своего двора. Было пустынно, никого, кроме одинокой парочки на скамейке метрах в пятидесяти напротив, заслоненной большим кустом разросшейся цветущей сирени, от которой тянулся к нам сладкий дурманящий аромат. Мы курили, взрослея с каждой затяжкой, и глядели в темноту напротив, где то ли обнимались, то ли что... И тогда кто-то сказал: «Точно б..., я ее знаю. В соседнем доме живет, и всякий раз с разными. Может, она и деньги берет».

Парочка, почти невидимая за сиренью, сразу обрела некоторую определенность, в воздухе повисло напряжение.

Между ними еще что-то происходило, какое-то шевеление.

Но зато шепот мы расслышали четко (вместе с порывом легкого теплого ветерка): «Мальчишки смотрят...».

Кусты дрогнули. Вышедший из-за них мужчина сделал шаг в нашу сторону — не трудно догадаться, с какой целью. «Не надо», — раздалось вслед, уже не шепот, а голос, и просквозившая в нем тревога прозвучала для нас как сигнал опасности.

Мы встали, не дожидаясь, когда он к нам подойдет. Мы не собирались ни с кем связываться, нам это было не нужно. Лицо женщины бледнело в темноте сквозь мерклый отсвет далекого фонаря, и была в этой бледности какая-то болезненность.

После этого случая мы иногда встречали ее в нашем дворе, одну или с каким-нибудь человеком, провозжая пристальными взглядами до самого подъезда, пока она не исчезала там.

Однако тайна все равно оставалась тайной, и то, что мы все хотели прочесть, было зашифровано гораздо искуснее, чем все подбираемые нами коды. Набор примет: густой слой пудры, ярко накрашенные глаза и губы, немного напоминавшие маску, короткая юбка, черные колготки, низкий вырез на груди — все это было очень условно (откуда взялось?) и ничего еще не доказывало...

Улица, улица...

В какой-то момент мы вдруг заметили, что неподалеку от нас, где бы мы ни расположились, толчется один и тот же господин — невысокого роста, худой, в синем плаще. Откуда-то он возникал.

Поначалу мы не придали этому особого значения: стоит и стоит, мало ли... Может, ждет кого-то, может, за кем наблюдает, как и мы. Не исключено, что за теми же девицами. Вдруг у него свой интерес к ним (тем более, если они *такие*)? Мы к нему и не приглядывались (он не отражался в стекле витрины, а виден был сбоку), пока не стало ясно: человек здесь не совсем случайно... Как-то странно он на нас поглядывал, слишком внимательно, не уловить этого было нельзя.

Настроение у нас стало портиться. Как только мы появлялись на этой улице, тут же объявлялся и он, причем не только там, где мы останавливались, но и

когда просто шли по ней — он следовал за нами, пристраиваясь где-нибудь неподалеку и делая вид, что просто гуляет или рассматривает витрины. Он следил за нами, это было ясно.

Но зачем?

Мы знали, что у *тех* девиц бывают охранники или как их там? Но он не был похож на охранника — невзрачный, с узким худым лицом и маленькими черными усиками, в надвинутой на глаза кепке. Нет, ничего такого уж особенного в нем не было, однако чем дальше, тем больше вселялась в наши сердца тревога. Если ему что-то надо, почему не подходит? И какой ему прок следить за нами, если все равно мы ничего особенного не совершаем. Или он ждет, когда что-то произойдет?

Он нам досаждал. Очень неприятно, когда за тобой следят, особенно таким вот непонятным и, главное, назойливым образом.

Это было как наваждение: стоило выйти на ту улицу, как в любой женщине сразу начинало мерещиться...

Сколько раз казалось, что на нас призывно смотрят. Мы оглядывались, и действительно замечали неподалеку какую-нибудь женщину, ловили внезапный цепкий взгляд. Но дальше все равно ничего не происходило.

Многое нам уже было известно про отношения между мужчиной и женщиной, больше, правда, по рассказам старших, все уже постигших ребят. Но в этом было что-то незаправдаснее, похожее скорей на вымысел, чем на правду. Улица же сулила нам эту правду, и мы к ней стремились, как мотыльки на пламя, в сверкании огней, витрин, мелькании лиц и шуме проезжающих машин.

Мы искали и не находили.

Но всякий раз надежда вновь оживала в нас, едва мы садились в автобус, нестерпимо медленно тащившийся по огромному городу. Во всяком случае тайна должна была открыться и нам — неведомо каким путем, но должна. Нужно было только набраться терпения. Пространство, в котором мы обитали: двор, школа, окрестные переулки и улочки — все было другим, нежели та улица. Все у нас было, как у всех: быт, учеба, ссоры, драки, игры — однако ж не так, как на той улице.

Там был праздник.

Стоило высадиться из автобуса, пройти пару кварталов и свернуть налево, как сразу открывалось. Блеск ярко освещенных витрин, проплывающие фары автомобилей, сияющая реклама, снующий взад-вперед народ... Значит, предстояло и нам, но когда и как — никто из нас не знал.

Такая получалась игра: ищи женщину.

Верней, определи — *та* или не *та*. Стоило лишь проскользнуть намеку, как мы сразу притормаживали и начинали вглядываться. Зазеркалье витрин служило нам верным подспорьем, но если витрины не было (женщина могла стоять в полутемной арке, или на углу дома, или еще где-нибудь), то приходилось искать какие-то другие способы для наблюдения: прятаться за газетным киоском или театральной кассой, устраивать различные конфигурации тел: кто-то — спиной, кто-то вполоборота — вроде как просто так стоим, без всякого умысла.

Непонятно, откуда он возникал.

Вдруг, будто специально дожидался нас. Может, жил он здесь, а может, работал, шут его знает. Но возникал почти сразу, едва мы ступали на мостовую этой улицы. Теперь мы не сомневались, что он следит за нами, хотя и делает вид, что сам по себе. По-

сколько он ничего не предпринимал, то все этим и ограничивалось. Хотя весь кайф от нашей игры он нам перешибал. Чувствовать на себе постоянно чей-то пристальный взгляд — радости мало, особенно если не понимаешь, что за ним кроется.

Поначалу мы думали, что ему в конце концов надоест: походит-походит и отвяжется, потому что какой толк ему таскаться за нами? Никакого толку. Вели мы себя вполне скромно: не били бутылок, не цеплялись к прохожим, разве что иногда стреляли у кого-нибудь сигаретку. Денег у нас тоже не было, если его это интересовало.

Однако не отклеивался.

Мы остановимся — и он где-нибудь неподалеку, в своей низко надвинутой на глаза кепчонке, вроде палится на что-то постороннее, однако ж взгляд обязательно цепляет и нас — чувствовалось. Не нравился нам этот взгляд, жесткий, как бы насмешливый. Будто понимал, что мы его вычислили. И догадывался, зачем мы здесь. И это было самое тревожное — какая-то неведомая угроза для нас.

Каждому, наверно, не раз в жизни казалось, что на него смотрят — именно в ту минуту, когда не хотелось бы. Когда стыдно. Положим, лезешь в холодильник, пока никого нет в кухне, берешь без спросу что-нибудь из приготовленного к празднику. Или копаешься в отцовском архиве. Или рассматриваешь мамины бусы. Или подсматриваешь за фигуристой соседкой по даче, которая загорает в купальнике прямо посреди участка. Ты за кем-то подсматриваешь, и за тобой вроде кто-то подсматривает, и оттого, что тебя кто-то видит за этим неблаговидным занятием, — не по себе.

Правда, можно вступить в противоборство с этим неведомым, кто на тебя смотрит. Можно сказать: а пошел-ка ты! — и продолжать заниматься тем, чем

занимался: подравнивать уменьшившийся почти на треть торт, алкать замутившимся взором поджаривающуюся соседку или еще что-нибудь в том же роде. Можно плюнуть и сделать вид, что все это тебе только мерещится, тогда как на самом деле никому до тебя нет дела.

Вопрос: кто смотрит?

Некоторые считают, что ангел-хранитель (к каждому приставлен свой). У кого-то более бдительный, и тогда почти все время ощущаешь его присутствие, особенно, если норовишь совершить что-нибудь неблаговидное. А у кого-то мышей не ловит, и тогда многое может поломаться в жизни, по собственной вине, и все только потому, что ангел вовремя не досмотрел, не обнаружил себя предостерегающим взглядом. Кто знает, во что может перерасти, казалось бы, совсем невинное подглядывание за соседкой, если ангел отнесется к своим обязанностям спустя рукава? Или копошение в чужих вещах, даже если это вещи твоих собственных родителей?

Но может, это вовсе и не ангел, и тем более не хранитель, а грозный и праведный Судия. И он не просто следит за тобой, а собирает все твои оплошности и провинности в отдельную папочку, подшивает одно к другому, чтобы в конце концов предъявить тебе неоплатный счет.

А может, и еще кто-то...

С непонятной целью.

Однажды этот в кепочке оказался с нами совсем рядом, близко-близко, так что стала видна синева под глазами, тонкие ухмыляющиеся губы и розовая родинка на подбородке.

Мы стояли возле витрины спортивного магазина, как бы любуясь импортным спортивным снаряжением — всякими там мячами, ракетками, тренажерами

(и вправду любуюсь), но на самом деле, как обычно, пасли двух телок, торчавших возле газетного киоска с яркими глянцевыми обложками журналов. И вдруг увидели...

Да, вдруг увидели прямо перед собой — сквозь стекло. Он смотрел прямо на нас изнутри магазина, из-за этих самых мячей и ракеток, отразившись в отражении тех двух, в коротких юбках и черных колготках, за нашими спинами... Получилась как бы тройная композиция: он — в нас и в них, они — в нас и в нем и так далее. Как при гадании со свечами — когда в зеркале возникает длинный-длинный коридор и оттуда, из мутноватой глубины, кто-то или что-то туманно обозначается.

То ли потому, что лицо его возникло так неожиданно и ошеломительно близко, то ли — что смотрел прямо в лоб, почти не скрываясь, то ли что-то такое в его выражении, в остренькой беглой ухмылке, но нас пробрало мгновенной дрожью, словно застучали на месте преступления (а ведь, собственно, ничего и не...).

Это уже не лезло ни в какие ворота. Похоже, он и в самом деле ждал от нас чего-то, какого-то решения или поступка, он нас звал куда-то, тянул в свою игру, смысла и правил которой мы не знали.

Теперь, в тройной проекции, мы вдруг почувствовали себя вроде тех самых, в коротких юбочках и черных колготках возле газетного киоска, которые тоже, не исключено, просекли, что за ними наблюдают — с непонятной целью, — и оттого беспокойно оглядывались вокруг.

Что-то нас вдруг соединило, словно нанизав на один невидимый стержень, совместив на одно мгновение. Но этого было достаточно, чтобы вдруг стало не по себе. И в этот миг за нашими спинами, повернутыми к газетному киоску, выросли, также отразившись в стекле витрины, закрыв все остальное, еще три фигуры — мужские.

Они стояли позади нас, рослые, крепкие, один в джинсовой куртке, другой в пиджаке, третий в бейсбольной шапочке, загородив своими торсами девиц возле киоска и отсекая нас от улицы, которая продолжала, ничего не ведая, жить своей суетливой жизнью. А тот, с усиками, все так же смотрел на нас и на фигуры-тени (или, скорей, теперь мы были их тенями) за нашими спинами, как бы замыкая образовавшийся круг.

«Ну что, ребятки, хватит уже баловаться. Делом пора заняться, — мрачно буркнул один из парней, и они цепко взяли нас под руки. — Прогуляемся?»

Гений красоты

О красоте сколь ни думай — все загадка.

А главное — как-то уж особенно она подвержена всяким страстям и напастям, что можно умозаключить о ее слишком близком соседстве с роком. А где рок, там и трагедия (не обязательно античная или шекспировская, случается, что и сегодня).

Так что лучше не называть ее красотой — чтобы не провоцировать. Тем более и нет на ней печати, что — красота. Тем более что и сама себя она часто не осознает, а напротив даже — мучается своим несовершенством, как в нижеследующей истории.

Речь о юной изящной девушке выдающейся, скажем так, привлекательности (глаза, брови, нос, губы, стан, кожа и прочее). Случается же такое счастливое сочетание черт, дающее и тонкость, и приятность, и вообще гармоничность! Даже и имя Маша подходящее (плюс некоторая округлость к имени, что и в на-

туре отозвалось — мягкостью), не какая-нибудь там худышка, ножки-соломинки...

В общем, все замечательно — глядеть не наглядеться. И все, конечно, засматриваются, потому что красота на окружающих действует соответствующе (чарующе).

Сама Маша, впрочем, в красоте своей уверенности не испытывает.

Школьницей она, серьезная, получая на уроках любовные записки от одноклассников, в стихах воспевавших ее красоту («как гений чистой красоты»), стеснялась и сердилась: дескать, отстаньте со своими глупостями!.. (Хотя, конечно, и приятно, другие такого не удостаивались, подружки завидовали).

Девушкой же, вполне сложившейся, тоже не слишком задавалась: ну да, смазливая, миловидная, таких немало. И если на нее начинали заглядываться, она не столько исполнялась самомнением, сколько, напротив, раздражалась и тревожилась. Вроде от нее чего-то хотят, чего у нее нет, ждут для нее непосильного — заблуждаются, короче.

Не могла соответствовать.

Сколько раз рассматривала себя в зеркале, выстаивая часами (когда родителей не было), все пыталась понять, где же то, что другим кажется (тем же родителям) красотой.

Ну да, глаза, брови, нос, губы, кожа, стан и прочее, а все вместе — ничего особенного, вполне тривиальная милота, которая, конечно, как объяснил ей брат отца, журналист, тоже считавший ее красивой и с которым она любила разговаривать, милота дорогого стоит. Может, даже больше, чем красота, потому что красота — что?

Красота — опасность, она не просто влечет и искушает, но порой даже травмирует окружающих, чего-то

от нее невольно ждущих, не на уровне сознания, понятно, а где-то в недрах существа, в глубинах тоскующей (у человека она всегда тоскует) души: что-то неведомое она сулит, счастье не счастье, но очень важное, высокое, или о чем-то напоминает, довременном, вечном, о бесконечности, не исключено, о Боге даже. Красота желанна, как лакомый кусок, к ней всякий жаждет причаститься, хоть так, хоть (не хочется пугать) эдак, на нее посягают, за ней охотятся, к ней ревнуют, на нее обижаются... Если не присвоить, то все равно что-то такое сделать.

Прильнуть.

М-да, — задумчиво толковал дядя-сердцевед, прикрыв глаза большими веками и пальцами прищелкивая, красота, гм, суть бремя, от нее не столько радость, сколько одно беспокойство, в ней чудится нечто, вроде как даже доступное — протяни только руку, приложись устами (или чем?)...

Нет, лучше не надо!

Другое дело — милота, что-то такое домашнее, тихое, мирное, утешительное, согревающее.

Красота аристократична, деспотична, требовательна, жестока, милота демократична, душевна, уютна, располагающа...

В общем, проще с ней, как если б ты купался в озере, где под легкой нежной рябью самая хищная рыба — карась, а не в океане с акулами и медузами, со штормами и цунами. Или резвился на солнечном лугу с ромашками и кашками, а не смотрел заморожено в рыжие тигриные глаза пустыни с ее песчаными бурями и знойными миражами.

Маша жадно внимала дядюшке, которого уважала: да-да, так и есть, а все равно мало ей, все чудилось: еще чуть-чуть — и дотянется она до той самой планки, которую ставили ей восхищенные поклонники.

Ну если не до красоты, то до чего-нибудь в этом роде.

Собственно, она согласилась бы и с милотой (пусты!), если бы что-то в ней не говорило, что и милота ее не совершенна (хотя вроде и не претендует): есть, увы, ущербина, которая всему мешает — и красоте и милоте, глупое препятствие, больше похожее на недоразумение, нескладицу, нежели на что-то серьезное. А устрани, так, может, сразу и красота и милота, — в общем, все станет на свои места, колесики сцепятся и нигде не будет сбойть.

Загвоздка же была (как вы думаете, в чем?)... в не совсем правильном прикусе. То есть все зубы (важный компонент и красоты и милоты) ровные, белые, красивые, а два верхних — почти в середине — не совсем, чуть заходят друг за друга, отчего получается неровность. Если не приглядываться, то и не заметишь, к тому же Маша, зная об этой неправильности, научилась улыбаться так (чуть внатяг придерживая верхнюю пухлую губку), что ничего и не видно.

В общем, и переживать особенно не из-за чего.

Но это, может, вам (или кому-то) не из-за чего, а Маша переживала, причем сильно. И чем старше становилась, тем больше. Она уже была в том прекрасном девичьем возрасте (семнадцать), когда можно, не постеснявшись, пойти на прием к специалисту — спросить, можно ли что-то с этим недостатком сделать. То есть можно ли *это* исправить?

И оказывается, что да, разумеется, можно, тем более сейчас, когда за деньги можно все. Сделают, что комар носа не подточит, как если бы с рождения все так и было. Конечно, лучше бы пораньше, когда организм не окончательно еще сформировался, но и теперь не поздно. В общем, если поискать приличную стоматологическую клинику да приличного (не халтурщика) стоматолога-специалиста (ортодонта), походить с проволочкой годик-полтора (система «Брекеты»), то и проблемы нет.

Тут бы и точку поставить, однако...

Можно знать, что делать, но не делать по какой-нибудь вроде бы совсем незначительной причине, из-за какой-нибудь самой пошленькой неувязки, из-за самого малого, но оказывающегося почему-то почти непреодолимым пустяка.

Пустяк же был, как нетрудно догадаться, — в средствах. Ну да, в деньгах. В тех самых банальных тугриках, которые почему-то всегда оказываются преградой на пути не только к вещам возвышенным, но даже и к самым простым и необходимым, препоной в решении, казалось бы, неотложных и то же время вполне разрешимых проблем.

Да, вот еще...

Неправильный прикус — это, ясно, от природы. Но ведь не все, что природа делает, остается без изменения. Не зря же учили в школе: не надо ждать милостей... А коли так, то и нужно все делать вовремя.

Кому?

Ежику понятно — родителям.

В конце концов, если кто и виноват, что дефект Машиного прикуса не был исправлен еще в детстве, то именно они. Разве не обязаны именно родители (подчеркнем: обязаны!) следить за правильным развитием ребенка (не только духовным). Чтобы все у того правильно росло и развивалось, никуда не отклоняясь и не искривляясь. А то, понимаешь, заняты исключительно своей жизнью...

А то красота, красота...

Какая там красота, если улыбнуться свободно, не натягивая верхнюю губу (для маскировки) невозможно? Ощущение, словно рот резиновый, не свой, неестественный. Будто не лицо, а маска.

К зубному надо было вовремя отвести и проволочку поставить — только и всего, а они...

Мать оправдывалась, что доктор что-то там говорил про вредность этой самой проволоочки: вроде как и другие зубы могут не так расти, вот и не решилась. Зряшные оправдания. Сказали бы честно: не думали и все...

А раз тогда не думали, пусть задумаются теперь.

Тогда все бесплатно можно было сделать или, если даже за деньги, то не за такие. А теперь — чуть ли не тысяча баксов. Огромные деньги... Но если вдуматься, такие ли уж огромные, если речь идет о здоровье и... красоте дочери? Причем о здоровье не только физическом, но и душевном.

Не так это все безобидно, как им, родителям, кажется. Неужели не понять, что у человека из-за какой-нибудь ерунды может такой комплекс развиваться, что мало не покажется? Они про красоту-милоту, словно нарочно дразнят: дескать, все засматриваются, — а ей, Маше, между тем что от того?

Да только хуже! Ей от этого — нервно и тошно.

Резиновая улыбка. Дежурная. Рта нормально не раскрыть (постоянные усилие и самоконтроль), чтобы, не дай Бог, дефект не обнаружился. Зуб за зуб зацепился — каково!

Нет, не расслабишься.

А главное, обидно. Ведь мелочь, пустяк, ерундовина, а вся жизнь наперекосяк. Ей интересуются, к ней клеятся, комплименты, то-се, а она, не лучше какой-нибудь чувички, — тушуетя, словно у нее на носу бородавка, а ноги колесом. И пусть краснойбай дядюшка лапшу ей на уши не вешает, пусть лучше денег дадут, чтобы ошибку исправить. А что, собственно?..

Да, так вот — деньги.

Сумма не концептуальная, однако ж и не маленькая. А для Машиных родителей и вовсе убойная: отец на своем заводике как инженерил, так и инженерит за

копейки, да и то нерегулярные, мать по библиотечной части (совсем мизер). Отец гордо изрекает (смешно): да, бедные, но зато совесть чиста. Лучше быть бедным, но здоровым...

Дочь все понимает (усмехается), однако жизнь-то проходит: сегодня семнадцать, завтра девятнадцать, а послезавтра, простите, тридцать, не успеешь оглянуться. Иногда ночью вдруг что-то толкнет — сна как не бывало, а в голове мысли всякие: будто ей уже за двадцать, старуха... Сердчишко прыг-прыг испуганно, затрепещет накрытым ладонью птенчиком.

Ладно, хрен с ними, с подружками, которые не такие смазливые, как она, но зато к школе их подвозят на иномарках и одеваются они, как топ-модели, а у изголовья у них музыкальные центры с CD и дистанционным пультом. Ну и пусть. У Маши есть то, чего нет у них и не будет (и за деньги не купишь). Даже если Маша не так одевается (родители стараются, да и сама не прочь порукодельничать — умеет из ничего сотворить нечто, стильное), однако все равно фору любой даст на сто очков вперед.

Если б не...

Все эти советы учиться, учиться и учиться, чтобы обеспечить себе нормальное будущее, — слова. Родители тоже учились, а вот с будущим у них как-то не того, не слишком (пусть и не по их вине).

То есть Маша все понимает и в бутылку не лезет, трудностей не боится и работы тоже, в летние каникулы сама подрабатывала в «Макдональдсе» на Пушкинской — чтобы приодеться и вообще чувствовать себя человеком. Ей даже предлагали остаться, потому что милота есть милота (и красота), но Маша не дурочка, знает, что нужно школу кончить (чуть осталось) и в институт поступить, может, даже на иностранные языки, а там видно будет...

Пока при жратве крутилась, тоже кое-что про себя поняла: действительно есть в ней, что тянет мужиков, причем определенного типа и возраста — не очень молодых (их, впрочем, тоже), лет за сорок-пятьдесят, вполне респектабельного вида. Новых не новых, но и не околоточных. Визиток у нее осело за два месяца целая куча, да и в записной книжке набралось телефонных номеров, мобильных и обычных: Павлы, Игоря, Эдики, Сергея, Тиграны, один даже как будто француз (Жан-Поль), с отчествами и без...

Впрочем, она и раньше замечала: папаши подружек-однокашниц, тех в частности, что прикатывали на иномарках, на нее западали. Идет с дочерью, а сам на Машу пялится, даже неловко. Или улыбнется эдак, завлекательно, вроде как она не дочкина подружка, а непонятно кто.

Короче, знала себе цену. И все равно мучило.

Ну да, дефект.

То вдруг окрылится, забудется — красота и есть красота (или милота), в полной мере отпущено, что другим перепадает по капле, и то они счастливы. А тут фитюлишная неувязка — зато сколько переживаний! То зажметя, как будто отняли все у нее, то в меланхолию ударится, слова не скажи — все не так.

Встанет перед зеркалом в оторопи, резиново натягивая верхнюю губу: неужто и впрямь? Улыбнется открыто, как хотелось бы — и вовсе... Глаза бы не смотрели. Ох!

Пыталась с собой бороться, аутотренинг, то-се: нельзя зависеть от пустяков.

Все хорошо не бывает, а потому все хорошо.

Что есть, то и есть.

Человек создан для счастья, как птица для полета.

И еще многая мудрость, в которой, несмотря ни на что, много же и печали.

Невозможно привыкнуть.

И не надо, не надо про красоту!

Дядюшка бисером рассыпается: мол, таких цветков у них в роду раз-два и обчелся, тут, так сказать, акмэ, вершина, надо было, чтобы природа очень расстаралась, со всех колен собрала по крупице, по гену, чтобы перл произвести. Скорей всего, Маша в прабабушку по материнской линии, та тоже ах хороша была, даже и в преклонном возрасте, не говоря уж про молодые годы. Немного польской крови, немного грузинской, еще какой-то. Тонкость в чертах непостижимая. Изгиб немислимый в стане. Плавность линий и переходов. Строгость и правильность — девиз. Передвижники и мирискусники млели. Серов хвостиком ходил, все умолял позировать. Где там...

Красота всегда — сопряжение разных начал, часто противоположных. Плод долгих мутаций и внутренних напряжений. Коктейль что надо.

Соловьем заливается неугомонный дядюшка, Маша его разглагольствования про красоту, ловя блики на стеклах умных очков, слушает (говорите, говорите!), а у самой на душе кошки скребут. Резиновое натяжение губы — как непрерывная ноющая боль. Будто не у нее, а *сквозь* нее болит. словно сама эта отпущенная ей свыше, поэтами всех времен и народов воспетая красота недомогает из-за недотянутости, недопригнанности некоего элемента. И Маша, бедная, за нее чувствует, за нее страдает.

Вроде личный комплекс, а как бы и не личный — такая нечеловеческая изнурительная тяжесть.

Губки вздрагивают, алая жилка на чистом виске вибрирует. Слезка выступает в самой краешке глаза и медленно катится по нежной ланите, оставляя темную влажную полосу.

Что такое?

Известно что.

Искренне и, похоже, до глубины души поражен дядюшка. Головой недоуменно мотает: прикус? Что такое прикус при Машиной-то красоте-милоте?

Не понимает.

А вот и то!

Одна за другой скатываются соленые хрустальные капельки из покрасневших очаровательных глазок. Одна крупнее другой. Катятся, катятся неудержимо. Вот и носик покраснел.

Не годится.

Но ведь можно же поправить! Сейчас это, кажется, не проблема. Дядюшка в области стоматологии не ахти, но схватывает по-журналистски быстро. За чем же дело?

Да-да, именно за этим (ох!). За средствами. Родители не дают, хотя она знает: у них есть, отложено на черный день. А для нее, для Маши, каждый день черный и с каждым месяцем все чернее, как они не поймут? Она же не просто просит: дайте! Она одолжить просит, на время, она отдаст. Заработает и отдаст. Неужели сомневаются, что заработает? И у самой немало есть — накопила.

Дядюшка чешет седеющий затылок, гладко выбритый подбородок трет, словно проверяя, не проросла ли щетина. Думает дядюшка и, наконец, решается. Ну, если только дело за этим, то как не помочь? Не всю сумму, конечно, но половину он, пожалуй, потянет. Все-таки она для него (Маша) не просто не чужая, а еще и воплощение красоты-милоты. Олицетворение. Можно даже сказать, гений.

Слава Богу, что есть люди, которые тебя понимают. Маша дядюшку всегда ценила (и любила), а теперь

еще больше. С родителями так не получается. Для них ее проблема — всего лишь обычный каприз. Тыща долларов (или сколько?) на какую-то ерунду! Тут и на действительно-то необходимые вещи, гораздо менее затратные, десять раз подумаешь, прежде чем раскошелиться, а уж на такие игры, нет уж, увольте! Они ее любят, но к таким расходам не готовы. Даже и одолжить. Мать вон уже одно пальто сколько лет носит, а отец никак коронку поставить не может. Нет-нет, даже в педагогическом смысле было бы неправильно — поощрять эгоистические настроения. Сначала это, потом еще что-нибудь. Затягивает...

И весь разговор.

Маша, сцепив резинкой на затылке роскошные воронные волосы, устраивает рейд по самым укромным местам в квартире — роется в бельево шкафу, среди простынь, пододеяльников и полотенец, в серванте среди всяких коробочек и посуды, в кухонных шкафах, сердито гремя кастрюлями, вообще везде, куда могут быть захованы на случай непрошенного вторжения родительские скудные капиталы. Где-то же должна лежать их скопленная за последние годы заначка!

Ну что толку, что лежит она, заботливо укутанная в целлофан или еще во что-нибудь, и будет лежать и год, и два, и больше, едва прирастая жалкой случайной копеечкой? Родители и не тронут ее — для них это даже не столько деньги, сколько некий символ, свет в окошке, мираж безбедного будущего. И не убедить их, что к тому времени эти несчастные замусоленные «зеленые», приобретенные в обменных пунктах, станут уже не такими, как теперь (инфляция, девальвация), а то и вовсе их отменят, или еще что-нибудь произойдет, что на самом деле и будет для них черным днем, от которого они пытаются так наивно застраховаться.

Лучше уж сейчас эти крохи вложить — да хоть бы в ту же красоту дочери. Или Бог с ней с этой мнимой красотой (неведомо что такое) — в ее самоощущение. Чтобы наконец сладилось в сомневающейся душе, сцепились колесики, завертелось-закрутилось веретено настоящей, полноценной жизни. Чтобы радовалась она миру, а мир благоволил к ней.

Не прошибить!

Она и не будет, гордая. Не хотят и не надо! Однажды всплакнула, потом не могла себе простить.

Характер!

Пусть бы они и думали, что у них есть, а Маша бы взяла на время, а потом бы непременно вернула, благодарно положила на место, обретя то, к чему так стремилась. Подправив недоработку природы. Собственно, ведь все проще простого, только вот зачатки никак не найти, надо же так запрягать. Потом ведь сами не вспомнят где — не в банк же снесли, что было бы и совсем глупо при нынешней-то нестабильности.

Что делать дальше — непонятно. Хотя что ж, у драмы одни законы. Конфликт поколений (обида на родителей), шаг к бездне и запоздалое раскаяние (возмездие).

Светящиеся пятки прильнувшего к отцовским (материнским) коленям блудного сына (дочери).

Маша листает потрепанную записную книжку в бордовом сафьяновом переплете (подарок дядюшки), перебирает визитки, скопившиеся в косметичке за время ее работы в «Макдональдсе»: Павлы, Игори, Эдики, Сергеи, Тиграны, один даже как будто француз (Жан-Поль), с отчествами и без... Менеджеры, консультанты, референты, коммерсанты, программисты, корреспонденты, тележурналисты, кого только нет...

Кто бы мог (одолжить, ссудить, спонсировать, подарить)?

Визитки попроще и поизысканней, горизонтальные и вертикальные, с вензелями и без, с английской надписью на обороте и без, с мобильными и обычными номерами, с фирменными логотипами или просто какой-нибудь картинкой...

Легкое веяние хорошего мужского одеколona и макдональдсовских котлет.

Маша все понимает: то, что она собирается предпринять, не совсем согласуется с принципами честной бедности. Одолжить денег у малознакомого человека — значит поставить себя в зависимость. Но разве не означает это — не доверять человеку? Больше того, не верить в доброе начало мироустройства и победительную силу красоты, а также смягчающее нравы воздействие милоты?

Пусть даже в зависимость, но ведь хороший (порядочный, добрый) человек не станет этим пользоваться.

И потом — красота выше любой зависимости!!!

Обретенная, освобождает и раскрепощает она. Возносит в такие выси, из которых прочее кажется сущей безделицей.

Слегка подрагивающим изящным пальчиком с чистым розоватым ногтем Маша крутит телефонный диск: Павлы, Игори, Эдики, Сергеи, Тиграны, один даже как будто француз (Жан-Поль)...

Не гений ли красоты не дает ей покоя, подталкивает, подстегивает?..

И вся, собственно, история.

Прочее же (неинтересное) читатель может восполнить сам, в меру своего воображения, а нам лишь остается с некоторой грустью добавить, что без красоты (милоты) мир и в самом деле бы несравнимо оскудел. Потому-то и следует, несмотря ни на что, пестовать ее и лелеять, лелеять и пестовать!

Лазик и Паша-Король

Раньше или позже должно было разразиться. Времени почти не оставалось, ни на что не оставалось, еще два дня — и разъезжаться. Лазик давно уже кипел, но еще как-то сдерживался. А тут внезапно взорвался. «Паша-Король, Паша-Король! Осточертело! — кричал он, бегая по комнате и ударяясь о всякие предметы. — Покажите мне его наконец, я хочу видеть этого монстра... И вообще плевать я на него хотел! Надоело все!..»

И дверью с размаху — бац!

Лыжи забыты в углу, на сером потертом линолеуме, у самого их основания уже не скапливается темная лужица от стаявшего снега, зато портвешок льется все обильнее. За окном — снежное царство, пышные шапки на елях, слепящее солнце, чирикание воробьев, бьющихся из-за высыпанных кем-то хлебных крошек, что-то странно весеннее в морозном воздухе, чувство пустоты и покинутости: ну да, нас вот-вот бросят, уже

почти бросили, у нас уводят девушек, с которыми только что завязалось (и возникло), похоже, нечто большее, чем просто знакомство и даже дружба.

Но ведь нам было известно, что у них есть парни, и не просто парни, а самые что ни на есть крутые, которые держат под собой целый район, самые настоящие бандиты (это не произносилось). Ну да, Пашу-Короля все боятся, стоит ему словечко молвить или даже пальцем пошевелить...

Знали или нет?

Познакомились мы на лыжне, хотя раза два уже пересеклись на этаже в корпусе и в столовой.

Симпатичные девушки, почему не познакомиться? Одна (Ирина) почти совсем не умела кататься на лыжах, все время падала и так лежала, в снегу, хихикая и не спеша подниматься... Хотите научим?

Потом оказалось, что падала вовсе не оттого, что не умела кататься, просто выпили перед тем шампанского, да, захотелось, имеют они право выпить шампанского?.. Паша же, Король недолго учился с Ириной (блондинка, ямочки на щеках и глаза серые) в одной школе, правда, класса на три старше, и с той поры (и позже, уже став Королем) считал ее *своей* девушкой.

Теперь же она училась на последнем курсе педагогического (и Марина тоже), у них тоже были канникулы...

Соседки по этажу (веселые голоса и звонкий смех за стеной).

Марина держалась скромней (субординация), чувствовалось, что в их дружбе верховодит Ирина, в дружбе всегда кто-то оказывается главным, но потом мы догадались, что главенство еще и из-за Паши-Короля...

Шут его знает, когда он всплыл, этот Паша. Имя всплыло. Скорей всего, когда Лазик в первый раз попытался поцеловать Ирину, а она отстранилась и сказала, что это бы не понравилось *кое-кому* (не ей)... Да-да, кое-кому... С эдакой многозначительностью, даже торжественностью в голосе: дескать, не хотелось бы подвергать вас (она не сказала про Лазика конкретно, а именно — вас, то есть его и меня) опасности.

Этот *кое-кто* и был, как выяснилось чуть позже, Паша-Король, известный человек в их районе (не нам), все его побаивались, в том числе и местная братва.

Так что Паша этот Лазик у все испортил или, верней, мог испортить — все зависело от Ирины. Она же словно испытывала Лазика — как тототреагирует. Смотрела на него с усмешкой и даже с сочувствием. Симпатичный парень, но...

В этом, что ни говори, крылась интрига. Ирина (и Марина) — и какие-то гангстеры. Вполне виртуальные, поскольку никто из нас их не видел. Любопытно, однако, кто он, этот загадочный Паша-Король, в их иерархии — то ли обычный уркаган или даже (почему нет?) «вор в законе», то ли рангом повыше — вроде местного «крестного отца», которому не только всякая мелочь пузатая кланяется, но и народ посерьезней?

Вот только с девушками нашими как-то не слишком увязывалось. Такие вполне вроде бы интеллигентные барышни, будущие учительницы (или кто?). И вообще, если этот Паша-Король такой крутой, почему Ирина (о Марине — разговор особый) — в этом занюханном доме отдыха с обшарпанными желтыми стенами и вытертым кое-где до белизны линолеумом (не говоря о прочем), а не, к примеру, на Багамских островах, не на каком-нибудь сафари, не в пятизвездочном отеле где-нибудь на Ривьере?

Если честно, не очень верилось — казалось, девушки просто набивают себе цену (нашли чем).

Конечно, поначалу Лазик взъерошился: что за *некто*? Надо еще выяснить, кто тут самый крутой... Однако быстро сник, видя Ирину жалостливую усмешку, стушевался: а если и впрямь? Ирина же словно забавлялась его смущением — ей, похоже, даже нравилось дразнить парня. Всем он вроде ей мил, но что же делать, если за ее спиной — этот-самый-некто, от кого она хочет оберечь Лазика, а потому и сама не может ничего, разве только так, мимоходом чмокнуть играючи в щеку или прильнуть плечом.

Улыбается Ирина: Паша-то есть, хотя у нее с ним ничего не было.

Эх, Лазик, Лазик...

В общем, ерунда какая-то... Вроде девушки с нами и в тоже время — не наши, а мы так, сбоку припеку, развлекаем их как шестерки, пока тех, *других* (главных), нет здесь. Но даже и просто развлекаая, все равно рискуем нарваться на неприятности, когда кто-нибудь из тех, *других*, здесь появится.

Если узнают...

Лазик совсем загрустил. Понурый просыпается и весь день ходит мрачный. То ли всерьез запал на эту Ирину, то ли уязвляло его, что есть кто-то, кого он знать не знает и видеть не видел, не просто мешающий его отношениям с приглянувшейся девушкой, но как бы опускающий его. Снисходит: ладно уж, мол, общайся (раз Ирина хочет), но ничего больше в голове не держи... Высоко сажу, далеко гляжу... Ну и так далее.

«А вдруг все это обыкновенная лажа? И нет никакого Паши-Короля, а?» — мучается Лазик.

После лыж — приятная усталость, за стеной — переливчатый девичий смех. Словно нарочно.

Лазик мрачно откупоривает портвейн, разливает по стаканам.

«Да плевал я на этого Пашу, тоже мне! — постепенно разъяряется он. — Почему я должен его бояться?»

Действительно, почему?

Ни он, ни я не понимаем, что делать. Девушки с нами уже накоротке, разговоры, то-се, едва ли не обнимаемся, не только в столовую, но и на дискотеку вместе, и там они в основном только с нами, у других почти никаких шансов. Что-что, а отказать они умеют, никто даже не посягает — ни местные, из соседнего поселка, ни приезжие вроде нас.

Ну а дальше?

А дальше — все тот же Паша-Король. Тень отца Гамлета.

Однажды на той же дискотеке к нашим (гм!) девушкам подвалила местная шарага — двое в черных кожанках со змеящимися серебристыми молниями на карманах, в синей паутине татуировок волосатые руки, выше их (и нас) на голову: что, потанцуем? Охота вам с мелюзгой? — это про нас.

Лазик закипел: кто мелюзга? А они пренебрежительно так отмахиваются — дескать, не возникай, даже связываться с вами не будем.

Приятель между тем завелся: чего надо? Совсем от чувств крыша поехала: куда нам с ними тягаться? А он не унимается: нет, давайте поговорим, чего уж там? — и грудью вперед, такой петушок. То ли вспомнил, как в третьем классе боксом занимался, то ли вообразил себя каким-то киношным суперменом. Ну, один из парней и двинул его слегка по скуле, не слишком сильно, отчего Лазик сразу улетел метра на два (потом сине-желтое пятно). Уравновесившись, однако, снова: ну, давай еще! Давай!

Неуемный.

Но тут Ирина, которую тот парень, двинувший Лазика, все норовил схватить за руку, что-то ему такое сказала негромко, но твердо, отчего он лапы свои мгновенно убрал и сам весь как-то сразу сократился, растерянно на нее уставившись. Только губами шевелил, будто что-то произнести пытался.

Душещипательная сцена: Лазик в кресле, Ирина, пристроившись на узком деревянном подлокотнике, прикладывает бедному пострадавшему ватку с чем-то лечебным, а тот гордо отстраняет (как бы) ее руку, хотя видно — приятно ему.

«Не надо, не надо, — ворчливо бубнит Лазик. — Вдруг Паша-Король увидит, всем нам тогда хана».

Ирина сердится, что он ей мешает, пусть хоть минуту посидит спокойно, не вертится, от компресса быстрее пройдет. Неужели охота ходить с фингалом?

А ему плевать: фингал так фингал, ничего страшного...

Конечно, ничего страшного, но без фингала все-таки лучше, пусть не валяет дурака...

И словно приобнимает, когда тянется ваткой, грудью его, туго обтянутой рыжим свитерком (к лицу ей), слегка касается — млеет Лазик. Млеет и мрачнеет все больше. А Паше-Королю она тоже компрессы делает? Или, может, массаж?..

Пусть лучше помолчит, дурак, а то сейчас второй синяк схлопочет. И ладошкой звонко так по щеке — бемс! Ласково.

Причем тут Паша-Король?

«Джип» у центрального входа, дверцы распахнуты, оттуда музыка, Ирина и Марина — возле. С сумками. Это за ними приехали.

Паша-Король явился за Ириной, кто-то амбалистый из его свиты похохатывает с Мариной, а мы смотрим на них в окно и словно совершенно не при чем.

Паша коренастый, крепенький (боровичок), в черном длиннополом пальто, концы белого, как снег, шарфа свешиваются до колен, ковбойская шляпа с широкой тульей — Король.

«Джип» — черный конь-огонь, взмахнет огненным хвостом и унесет девушек в неведомые райские кущи. То есть кинули нас, как и должно было произойти. Сон — Лазик.

А если и впрямь?

«Все, — бросает Лазик, — больше не могу. Есть этот Паша, нет его, к чертям собачьим!»

Он сгребает, швыряет вещи в широко раскрытую сумку. Вот так — вдруг, внезапно, как на пожаре. Я еле успеваю за ним, хотя мне вовсе не хочется уезжать раньше времени (еще день). За окном не поздний вечер, только что зажглись фонари, серебрится снег, в форточку задувает чистый морозный воздух.

В дверь стучат.

«Мальчики, вы дома?» — вкрадчивый голосок Ирины.

«Тссс...» — Лазик прикладывает палец к губам.

Стук повторяется, но мы замерли, мы притаились, нас нет...

Шаги удаляются.

По скрипучему снегу, как тати в ноши, крадемся мы за ворота дома отдыха. На территории пусто. Только свет в окнах да густые тени от разлапистых запорошенных елей.

Успеть бы на электричку!..

Воспитание по доктору Шпеерту

Только теперь, когда его нет, я понимаю, что все было ошибкой. Его заблуждением. Моим. Нашим. Одним из тех, за которые приходится платить слишком дорого.

Его нет, а мне тяжело, очень тяжело, несмотря на то, что все должно было пройти незаметно и его уход никак не должен был особенно сказаться на моем самочувствии. Он сам сделал для этого все, что мог. Или не все? Невольно я оказываюсь под влиянием этой его странной идеи, которую он где-то вычитал (доктор Шпеерт), и сам начинаю домысливать, что бы еще надо было предпринять для углубления и без того немаленькой пропасти между нами.

А ведь я любил его и готов был любить еще больше (одно из самых ранних впечатлений — он держит меня на руках, высоко подняв в воздух, весело захватывает дух, но страха нет — отцовские руки большие

и сильные, ощущение, что все тело умещается в его ладонях). Отец есть отец, не надо ничего объяснять, но что-то мешало...

Он словно сам сопротивлялся, словно не хотел.

Если б знать...

Он сжимался, стоило к нему прикоснуться. Плечи приподнимал или передергивал ими — резко, словно дернуло током. Словно ему было противно прикосновение, физический контакт, кожа воспаленная, отсутствие кожи... Отклонялся — резко, как если бы больно.

Странно: вроде и отношения нормальные, не чтоб очень близкие, но вполне. Все-таки отец и сын. Лучше, однако, не дотрагиваться. А ведь хотелось. Тепло отцовского тела — защитное, доброе, успокаивающее. Разбежаться и — взлететь на сильных руках, прижаться, как бы укрываясь от неведомого.

Иногда, заставая его сидящим, инстинктивно протягивал руку — погладить. Просто провести ладонью — по седеющим уже волосам, по плечу, по чуть сутулой спине, ощутить тепло тела, родство тела, может, даже наклониться, чтобы запах уловить. Родной.

Впрочем, может, и не запах, а флюиды, аура — все-таки отец.

Он же — отклонялся, — будто опасаясь удара.

Дергался.

Сколько раз незаметно прикинул к его кожаной куртке. Запах (чуть-чуть табака) — отцовский. Теплый, но с каким-то еще оттенком — прохладноватым — подъезда, улицы, удаляющихся (приближающихся, затихающих) шагов, а также прочих безвестных мест, куда тот уходил по работе, совмещение теплого и холодного, родного и чужого, дома и... неведомо чего — распаханного, просквоженного пространства. Или еще чего-то, далекого и огромного.

Теплое, однако, перебивало, пересиливало, как бы проводило грань, отделяя от холодного, далекого, тревожного.

Щемящее.

С нетерпением, переходящим в панику, я ждал его возвращения с работы, радостно выбежал навстречу, едва стоило шелкнуть ключу в замке. А он словно не видел меня, верней, просто не смотрел в мою сторону — молча раздевался, затем, присев на корточки, устало развязывал шнурки на ботинках, и я видел его склоненную чуть седоватую голову, профиль — спокойный, сосредоточенный, отчужденный.

«Ну что, как дела?» — почти формальный, привычный вопрос, на который даже не обязательно отвечать, он как бы и не ждал ответа, а проходил напрямиком к себе в комнату, разве слегка потрепав меня по волосам, и то, если у него было особое настроение, а так рука, бывало, мягко, но настойчиво отстраняла меня («Не стой на дороге!»)... Мне-то хотелось тут же, сию минуту, с ним поделиться какой-нибудь сногшибательной новостью (найденной зажигалкой, новой серией марок, поселившейся на лестнице возле чердака кошкой с котятами, да мало ли...).

Конечно, он уставал, по лицу видно, и мать часто осаживала меня, когда я ближе к ночи слишком уж разыгрывался или громко включал телевизор. «Дай отдохнуть, — говорила она. — Не видишь, отец пришел уставший». Она заботилась о нем, а сам он молчал.

Он молчал и в тех случаях, когда я совершал какой-нибудь проступок. Не ругал, не отчитывал, не доставал нотациями, а просто замолкал, причем надолго, словно я вообще переставал для него существовать. Надо признаться — наказание тягостнейшее. Молчание как... трудно даже сказать, как что. Ну как отсутствие воздуха (нечем дышать). Как пустота. Рука в темноте ищет опоры, а встречает... ничего не встречает.

А ведь он не был молчаливым человеком. Он умел быть веселым и часто шутил, особенно когда приходили его друзья и они выпивали на кухне. Мне не возбранялось присутствовать (праздник), но и тогда отец не обращал на меня никакого внимания.

Любимое его слово по отношению ко мне было «сам». Нет, он не отказывался помочь, если я просил его о чем-то — починить велосипед, вынуть занозу или еще что-то, он подзывал меня и говорил: «Смотри...» И второй раз уже можно было его не просить.

«Сам!»

Это, впрочем, ладно, нет и нет, сам и сам. Наверно, даже правильно. Я учился делать все своими руками, и это шло только на пользу. Что-что, а в жизни всегда пригодится. Отец вообще считал, что надо уметь делать все самому, тогда не будешь ни от кого зависеть. Кран в ванной или бачок в туалете, ремонт комнаты или электрическая проводка, давай-ка попробуй, видишь, можешь же, главное, не лениться.

«Ты сам все можешь», — одобрительно. Отстраняюще. Из какого-то своего далека. Мол, он тут вовсе не при чем, как бы я сам все знал и умел. И вовсе не благодаря ему.

Так и стало привычным: «я сам».

Он мог быть и заботливым. Однажды, когда мне было лет шесть, мы с ним ездили на Черное море, в Анапу, и мне в столовой, куда ходили обедать, упал на ногу металлический поднос. Краем на ноготь большого пальца. Боль адская. Ноготь посинел. В травмпункте врач поначалу напугал, что надо его сдирать (о, ужас!), но потом почему-то раздумал.

Ночью боль особенно разыгралась. Отец по совету доктора делал мне ванночки для ноги — наливал в таз горячую воду и сидел рядом. Что-то он еще говорил,

кажется, про умение терпеть боль, дескать, в жизни всякое случается, и надо быть готовым ко всему, надо быть мужчиной... Как ни странно, на меня это действовало, я скрипел зубами, но старался не хныкать, хотя слезы сами выкатывались из глаз и я их украдкой смахивал. К утру боль приутихла, и мы оба крепко уснули.

А потом он снова был как бы сам по себе, отдельно, предоставляя мне полную свободу и только поглядывая изредка, где я и что. Впрочем, тогда это несколько не удивляло — он был взрослым, намного старше меня (уже тогда ему было под пятьдесят) — и что ему было со мной? Да мне и не было это особенно нужно. «Я сам» работало беспроблемно. Тем более море, песок, солнце, с шумом накатывающая на берег и щекощущая ноги белоснежная пена, разноцветные камушки, медузы и прочие радости благодатного Юга.

Отец учил меня нырять. Плавать я уже умел, а нырять глубоко не решался. Только чуть-чуть уходил с головой в воду, проплывал метра два под водой и тут же выныривал. «Ерунда, — сказал отец. — Это не называется нырять. Это называется “мочить голову”».

Однажды он позвал меня проплыть с ним подальше, за красно-белый буй, где начиналась настоящая глубина. Можно сказать, в открытое море, туда, где оно почти сливалось с горизонтом, где ослепительно сияло большое желтое солнце.

Море было спокойно, почти без волн, но я все равно подустал. Мысль о том, что где-то подо мной совсем далеко дно и что я при всем желании не смог бы опереться о него ногами, вселяла в меня не просто тревогу, но даже легкую панику. Отец наконец перестал взмахивать руками, вытянулся на воде и сказал: «Ну что, нырнем?» — и, кувыркнувшись, стрелой ушел в глубину, только пятки мелькнули.

Это было так неожиданно, что я даже и не подумал последовать за ним. Я видел (или мне казалось) его тело где-то внизу, потом оно вдруг исчезло. Время остановилось. Я лихорадочно вертел головой, надеясь увидеть его где-то неподалеку, но покрытая легкой рябью поверхность моря была пустынна. В животе — тошнотворный холодок, берег отдалился на бесконечность, только что весело синевшее море внезапно приобрело какой-то тяжелый свинцовый отлив.

Отца не было, я был один, и только тяжело шевелящаяся масса соленой воды вокруг. От неожиданно парализующего страха я даже забыл двигать руками, хлебнул и закашлялся.

А вдруг?..

Но тут он с громким фырканием вынырнул у меня за спиной и как ни в чем не бывало скомандовал: «Теперь ты...»

А что мне оставалось делать?

В его голосе была та непререкаемая твердость, которой трудно было противостоять. Не мог же я признаться в собственной трусости, если он только что сам все продемонстрировал? Он ведь не был каким-то там суперменом — отец и отец, невысокий, молодой.

Я нырнул — скорее даже чтобы скрыть испуг на лице, чем чтобы показать ему свое «сам». Нырнул — и тут же вынырнул, не набрав толком воздуха и не сгруппировавшись. «Давай спокойней, — сказал отец. — Вдохни как следует, подпрыгни чуть-чуть, сложишь и — вперед!.. С открытыми глазами. Ты должен постараться достать дно, тут оно близко».

Зачем бы ему?

Он заставлял меня нырять снова и снова, подвывая и показывая, как правильно. Довольно жестоко с его стороны — сил почти не оставалось, в

ушах шумело, глаза покраснели, а он настаивал. Ну и ладно, ну и утону, пусть знает, пронеслось обреченно и зло в голове, пока я отчаянно расталкивая руками воду, устремляясь вниз или обратно к поверхности.

Дна я, правда, так и не достиг, хотя и видел его, казалось, совсем близко, темные пятнышки раковин и камешков на словно дымящемся желто-сером песке. Но откуда-то неожиданно взялась легкость, даже азарт появился: я уже почему-то не боялся утонуть, не боялся глубины — не такая уж она была и страшная, хотя ничего, в сущности, не изменилось — опереться мне по-прежнему было не о что, разве что только ухватиться за отца.

Ну да, конечно, в случае чего он не дал бы мне утонуть, это точно! Как бы ни было, а уверенность в этом не оставляла меня. Раз отец рядом, значит, ничего не может произойти, значит, все будет в порядке.

Я нырял и нырял, пока окончательно не выбился из сил. В ушах звон, сердце колотилось как сумасшедшее, во рту солоно и горько. Я перевернулся на спину и так лежал, глядя воспалившимися глазами на жарящее всюду солнце и чуть шевеля руками и ногами. Отдышавшись, я оглянулся вокруг, и только тут заметил, что отца снова нет. Взгляд, впрочем, тут же уловил темнеющую довольно далеко на пути к берегу темную точку.

Нет, испуга на этот раз не было. Скорее недоумение и даже обида: выходит, он вот так запросто бросил меня, словно со мной заведомо ничего не могло случиться. А если бы я и в самом деле стал тонуть, если бы мне стало вдруг плохо или свело ногу (нередко случалось)?

Легкость исчезла, а с ней испарилась и уверенность — до берега было далеко, к тому же поднялся ветерок и по морю заходили небольшие, но тем не

менее волны. Штиль кончился. Нужно было выбирать.

Странная манера — исчезать. Не только тогда на море, вообще... Даже просто на прогулке, в лесу или в парке. Отвлечешься на минуту, засмотришься на что-нибудь — фюить, его нет. Причем серьезно нет, а не так чтоб он где-то прятался (хотя и это бывало). Но случалось и так, что мне приходилось возвращаться одному — самому вспоминать дорогу, спрашивать прохожих и так далее.

Мать спрашивала: «Ты почему один? А где отец?» Я разводил руками, а иногда даже пускал слезу: потерялся. Он же появлялся вскоре вслед за мной, удивлялся, как это мы могли друг друга потерять, и все становилось на свои места.

Так и оставалось неизвестным, кто кого потерял.

Постепенно я привык к такого рода отцовским внезапным исчезновениям и тоже стал «сам». Исчез и исчез, в конце концов найдется. Я уже не волновался, не нервничал, не пугался, что меня будут искать. Нет и нет, и ладно, сам ориентируюсь, не маленький. Голова есть, а язык до Киева доведет. Так что не только в Москве, но и в чужом городе (однажды ездили на экскурсию в Одессу). Помню, именно там мы крупно повздорили — я начал ныть, что не хочу больше бродить по городу (сильно натер ногу), отец сначала что-то ворчал, а потом вдруг разъярился: ну и пожалуйста, как знаешь, — сказал и пошел, оставив меня одного возле знаменитого памятника Ришелье.

Признаться честно, иногда мне казалось, что он исчезает не по-настоящему, не совсем. То и дело мерещилась за спиной его фигура, я оглядывался, но всякий раз оказывалось, что это ошибка, а его действительно нет — я один, как перст. И все равно не верилось. Все равно я чувствовал себя словно под его

опекой. Где-то он был неподалеку, видел меня и, если что, не дал бы пропасть или даже чему-то случиться. Было же однажды так, что в подъезде ко мне привязались двое переростков, то ли денег хотели, то ли просто поиздеваться, сунули, обжигая губы, бычок в рот: на, покури, и тут внезапно — отец (словно чувствовал)...

Может, случайность. Но я даже не удивился — казалось, так и должно быть, не мог отец дать меня в обиду...

«Телячьи нежности...» — говорил он на всякие мои попытки приласкаться. «Ну что ты как девчонка...» — в ответ на мои неумеренные восторги по какому-нибудь пустяшному поводу. И вообще всячески проводил разграничительную линию.

Особенно его почему-то выводили из себя мои попытки попользоваться чем-нибудь из его одежды, той же кожанкой или пиджаком. «У тебя что, своего нет?» — строго спрашивал, и я понимал, что лучше не трогать.

Конечно, у меня было свое, но разве все это шло хоть в какое-то сравнение с его вещами? Да и кто не знает, как нестерпимо манит, как притягивает все отцовское, — кажется, что в обычной повседневной одежде, электрической бритве «Харьков», записной книжке в обложке из шершавой зеленой крокодиловой кожи или даже китайской чернильной авторучке сосредоточено нечто особое, чуть ли не магическое. Словно надев ту же куртку, в которой я утопал из-за ее размера, сразу становился взрослым или кем-то другим, может, даже отцом.

Но главное, наверно, даже не это. Его вещи источали какую-то тайную энергию, скрытое тепло исходило из них, отчего даже просто взять отцовскую записную книжку было удивительно приятно: записи телефонов,

крошечные, слегка наклоненные буквы фамилий и цифры телефонов — это был код мироустройства, специальный шифр, а не заурядные записи. А уж одеть куртку, так и вовсе!

Как удержаться?

Но отец бывал непреклонен: не трогать! И можно сколько угодно сердиться или обижаться (что, собственно, такого?) — ничего это не меняло.

Чем непреклонней он, тем сильнее желание взять в руки эти вещи, хотя бы тайно, без спроса, а еще больше — присвоить их. Доходило до того, что обладание такой, как у отца курткой, начинало казаться чуть ли не главным условием существования. Без нее жизнь не в жизнь, радость не в радость. Ничего удивительного: чем запретней, тем жарче огонь желания.

Как ни странно, но вещи отца заслоняли его самого. Чудилось, нет большего счастья обладать ими. И холодноватый запах чужого пространства — улицы и прочих неведомых мест, людей и всего, уже не был бы столь тревожным и щемящим. Ты входил бы в это пространство уже вполне своим, уверенно и без опаски.

Иногда он вдруг менялся. Вместо суровой молчаливой отстраненности и чуждости — постоянные подкалывания и насмешки. Все, что бы я ни делал, вызывало у него иронию. Если я падал с велосипеда, он не только не сочувствовал, но, напротив, обязательно как-нибудь старался поддеть: ну как, твердая земля? да, на велосипеде ездить — это почти цирковое искусство, надо много лет учиться, а ты всего год и катаешься.

Если я не понимал какой-то задачи и шел к нему за помощью, он, мельком взглянув на условия, открещивался: нет, парень, давай-ка сам, ты, понятно, не Эйнштейн и даже не Лобачевский, однако ж попробуй...

Поначалу я не обращал внимания на его иронию: вероятно, я заслуживал ее, но с какой-то минуты это начало доставать меня. Он как будто не принимал меня всерьез, суровость плюс насмешки — разве это не свидетельствовало о неприятии, словно я был лишней подробностью в окружающем пейзаже, я был лишним.

Наши отношения становились все более отчужденными. Из меня лезли колючки. Если я не нужен ему, то и он не нужен мне. Если он суров и насмешлив, то я груб и невнимателен.

Чужие люди.

Если бы меня спросили, что в моей жизни отец, то я бы, наверно, ответил: ничего... И это бы не было правдой, но не было бы и ложью. Просто мы были каждый сам по себе.

Да, я был готов любить его, я мог простить ему все за обычное дружеское похлопывание по спине или руку на плече, но увы... И чем взрослей становился я, тем меньше он (стареющий) значил для меня. Не обида даже, а спокойное безразличие, как если бы это действительно был чужой человек.

Одно время даже замаячила версия: отец — не мой, ну вроде как отчим. А того, настоящего, я просто не знаю. От меня его утаили. Правда, верилось в эту версию плохо (похожесть), и я вытаскивал ее только в случае каких-то серьезных обид. Впрочем, обиды — не главное. Были отношения, было мое постепенно разраставшееся безразличие и его спокойное отстраненное равнодушие.

В последнее время отец часто болел, дважды лежал в больнице с сердцем, я ходил к нему, приносил, как и положено, апельсины и яблоки. Видно было, что он рад мне, но как-то все равно отстраненно, как если бы к нему пришел не сын, а просто знакомый или

сослуживец. Только во взгляде замечалось что-то не совсем обычное — какой-то теплый украдчивый огонек, какая-то притаенная внимательность.

Однажды спросил меня, сидевшего рядом с его постелью: «Скажи, ты будешь вспоминать меня?»

Что я мог ответить?

«Разумеется», — сказал я, без особой, впрочем, убежденности. И подумал смутно, словно издалека: укатали сивку крутые горки, совсем сдал старик, если вдруг потянуло на сантименты. И зачем ему? Буду-не буду, какая разница?

«Ну и ладно, — сказал он, словно не расслышал. Вернее, услышал совсем другое, прямо противоположное. — Не будешь и не надо, так легче. Тяжело терять родных, особенно отца («Ну уж...» — промелькнуло)».

Вон куда вдруг понесло: он, когда его отец, мой дед умер, долго не мог прийти в себя — так на него навалилось. И вспоминал, и вообще. Особенно последние его минуты. Даже сейчас, прожив целую жизнь, не может отделаться от чувства вины. Вроде как не отплатил в полной мере за его любовь...

Что-то и еще шептал, будто сам с собой: он, мол, постарался сделать все, чтобы не обременять меня этим чувством. Уж кто-кто, а я виной не должен мучиться. Он надеется, мне действительно будет легче. Воспитание по доктору Шпеерту (кто это?): чем меньше любви и всяких нежностей, тем легче потом справиться с этой жизнью, а главное, со смертью (самых близких прежде всего) — ведь когда-то все равно настает час... И далеко не все благополучно выходят из этой ситуации. Многие ломаются...

Боже, о чем он говорил?

Кумир

Ох, и надоело, если честно! Только и разговоров что про него, про Георгия. Чуть что, сразу Гога. — *Брат.*

Чей брат, отца или Сашин, не совсем понятно. Иногда казалось, что отца, и тогда ясно, что он Саше — дядя. Иногда, что он все-таки брат Саши, хотя какой-то очень дальний (бывают братья ближние и бывают дальние) — даже и не двоюродный, а так, седьмая вода на киселе. Сын двоюродной тетки Сашиного отца. Саша и незнаком с ним по-настоящему, разве заочно, по фотографиям и, разумеется, по телевизору, где тот часто появляется.

Но родители говорят: брат... «Ты знаешь, что *брат* поехал в Англию?» Ну поехал и поехал, ему-то что?

Гога — известный артист. Биографию его Саша, кажется, выучил наизусть: сначала тот работал в театре, снимался в кино, известность мало-помалу росла, а потом пригласили на телевидение, где он теперь ве-

дет разные передачи и считается довольно модным телеведущим. Иногда он выступает и по радио — читает стихи и прозу классиков и современников. Его имя часто мелькает в разных газетах и журналах, о нем пишут, его интервьюируют, снимают для рекламы, даже поздравительную открытку выпустили: он радостно так улыбается с раскинутыми, словно для объятия, руками.

Действительно, очень популярный, а самое главное, Саша уже не раз сталкивался с людьми, которые буквально тащились от него, не могли пропустить ни одной передачи с его участием, страсть начинала бурлить в их голосе, стоило заговорить о Гоге, даже как-то неловко делалось. Хотя, может, это и нормально — артист есть артист, а если он связан с телевидением, то это еще больше поднимает его статус, поскольку в театр или в кино народ ходит не так чтоб часто — зато «ящик» смотрят каждый день, а некоторые, особенно пенсионеры, просиживают перед ним многие часы. Тут поневоле станешь почти как родственник.

Собственно, все понятно, к тому же Гога не лишен обаяния, даже по-своему очень хорош, хотя далеко не красавец. Есть в нем притягательность, жесты такие самоуверенные, располагающие, голос густой, зычный, может и спеть не хуже какого-нибудь Киркорова.

На Сашу, однако, почему-то не действует. Ну не находит он в своей душе никакого отклика. Даже, пожалуй, наоборот. Родительские постоянные разговоры, в которые они всякий раз пытались вовлечь и Сашу, словно он такой же фанат, только раздражали. Родители, конечно, в недоумении: как так? — если половина страны млеет от каждого слова и движения Георгия, а он нет, тем более что родственник, пусть даже не брат, но все равно ведь есть общая кровь.

Родители время от времени ходят на его спектакли по контрамаркам и раза два даже участвовали в телешоу, где тот был ведущим: знойно слепили юпитеры, в зале немало известных людей — артисты, политики, писатели, — неизгладимое впечатление, а Георгий — на просцениуме, в центре или на возвышении или ходил по залу с микрофоном, задавал вопросы, улыбался, шутил, и им казалось, что он это именно для них. Им улыбается, даже смотрит только на них. И родители, едва только появится возможность (в гостях или еще где-нибудь), обязательно вспомнят: да, Георгий, между прочим, наш родственник — и все тут же ахают и охают: неужели, надо же! Чуть ли не поздравляют. Всем он нравится, такой талантливый. Никто не пропускает его передач. И потом разговор долго вертится вокруг его персоны, что Сашу выводит из себя.

Родители словно нарочно поддевают сына: и почему ему не нравится? Будто кому-то есть дело, нравится Гога Саше или не нравится. Но он все равно вынужден невольно оправдываться, хотя много раз давал себе зарок не вступать: не в том дело — нравится-не нравится, а просто он равнодушен. Не действует на него. Тут, однако, все начинают обязательно удивляться: не может быть... Георгий ведь замечательный, как же это?..

Все всё про него знали, как и родители: кто нынче его жена, где учится дочь, сколько метров квартира и даже что в гостиной у него мраморная стойка, как в баре. Стойка эта почему-то совсем добивала Сашу. В самом деле, зачем мраморная стойка в обычной квартире? Однако всем она почему-то чрезвычайно импонировала, словно в ней был какой-то особый шик, свидетельство таланта и взлета.

Отец время от времени звонит Георгию, сообщает семейные новости, про Сашу в том числе, а больше

расспрашивает про успехи. Поэтому родители всегда в курсе его дел — тот же привык, что это его родственники и что они им восхищаются, а восхищение, надо признать, всегда, даже у самых избалованных, имеет свои особые права. Знали родители и жену Гоги (четвертую), и его дочь (от третьей жены), и как дела у каждого, вплоть до того, в какой город недавно летал Гога на гастроли, какое манто приобрела Лера (жена) и как закончила четверть Люка (дочь). Делами самого Саши они почему-то интересуются гораздо меньше.

Эти умильные разговоры про Гогу Саша слышит с самого детства. Какой тот умный и талантливый. Как его ценят. Долгое время Саша просто пожимал плечами, когда родители начинали ему про Георгия, хоть они и обижались серьезно на такое его равнодушие. Да, равнодушен, что ж тут поделывать? Он даже находит Георгия несколько вульгарным, тому, на его взгляд, не хватает вкуса, видно, что ломается, жеманничает... И вообще не предмет для разговора.

Чем больше он уклонялся, пряча закипающее раздражение, тем чаще и настойчивей родители затевали какой-нибудь разговор, который непременно касался в какой-то момент и Георгия. Начинался он, положим, с чего-то очень далекого и абсолютно не имевшего никакого отношения к нему и к тому, чем он занимался (лицедейство — Сашина формулировка), например, с того, что цены растут, все трудней сводить концы с концами (им-то хватает — они непривередливы, им много не нужно), а затем почему-то соскальзывало на Георгия, который процветает, за выступления платят большие деньги (сам признавался), ну и на телевидении перепадает. Выходило так (неволью), что вот Георгий может, а Саша нет, хотя

ему до окончания института еще два года (к тому же он и подрабатывал в одной конторе)...

Вроде как родители сравнивали его и Георгия, даже, возможно, не нарочно, просто так получалось, потому что Гога занимал все их мысли.

Ну да, кумир, можно сказать. Идол.

Саша же ничего не отвечал, а торопился куда-нибудь исчезнуть — в ванную или в туалет, даже если было не нужно. Они же, словно чувствуя его ускользание, его сопротивление, его неприятие, начинали охоту — сюжет должен был быть непременно завершен, а завершен он мог быть исключительно только с его участием. Он должен был выслушать все про Гогу и потом непременно высказаться, пусть даже критически.

— Ты ему просто завидуешь, — как-то заметила мать.

— Ну да, с чего бы? — искренне удивился Саша (закипая).

Однажды он обнаружил на телевизоре в столовой новый портрет Георгия (по стенам тоже были развешаны) — фотографию в деревянной резной рамочке, на обратной стороне размашистым почерком дарственная надпись: «Дорогим родственникам на добрую память! Любящий Георгий». Чуть вскинутый мужественный подбородок, холеное телегеничное лицо, уверенное во всеобщей любви, лукаво прищуренные глаза, победительная улыбка...

Прежде этой фотографии вроде не было, а, впрочем, может, и была, но только теперь вот — рамочка. Саша хотел было отойти, однако неожиданно для самого себя задержался: родственник как-никак... *Брат*. Правда ведь, успех сногшибательный, если тебя в рамочку или на стену, чтобы ты все время на виду — лицо, улыбка, взгляд, поворот головы... Ты где-то там,

неведомо где, но в то же время и здесь, и там — везде. Не важно даже, родственник или не родственник. Тем более если не родственник. Может, Саша и впрямь ему завидовал, его успеху? Да нет вроде, не завидовал же он Боярскому, или Гребеншикову, или еще кому-нибудь. Зря мать ему приписывала. Ну нравится им Георгий — и пожалуйста, он-то, Саша, тут при чем?

Наверно, если присмотреться, Гога действительно был — какой? Приятное такое лицо, трудно возразить. Звезда. Артисту или телеведущему, тем более известному, трудно быть просто человеком, он уже как бы не принадлежит себе. И лицо его не принадлежит. Верней, так: он принадлежит лицу, а лицо — публике. И ничего тут не поделаешь. Все тебя узнают, все всё про тебя знают. И постоянно нужно что-то изображать из себя, а когда не изображаешь, то опять же кажется, что изображаешь.

Саша повернул фотографию лицом к стене. Вот... Нет лица. И ничего нет.

В глубине души Саше почему-то казалось, что Георгию абсолютно наплевать на его родителей, — седьмая вода на киселе, досаждают своим поклонением, своими звонками, и без того ведь дел по горло. От них же самих Саша слышит, какой Георгий занятой, как его рвут на части, как его везде ждут... А тут еще *эти* звонят, отрывают, навязываются в качестве родственников. Стыдно за них, за родителей, стыдно и жалко их, что так стелются. Сашу же упрекают в недостатке родственных чувств, дескать, внимательнее надо быть к близким, чутче...

И того же Гогу в пример: вот он — другой, всегда с Новым годом поздравит, не открытку пришлет, так позвонит, хотя Саша ни одного звонка от него не слышал.

Хороший человек. Теплый. А как он замечательно сыграл в фильме Рахматуллина, такой запоминаю-

щийся образ! Не случайно его на какую-то там престижную премию выдвинули за лучшую мужскую роль. Вот если бы Саша посмотрел этот фильм, он бы убедился, потому что без души *так* ни за что не сыграешь. Он просто обязан посмотреть этот фильм, даже не один раз (самому потом захочется), чтобы оценить. У Гоги душа большая, высокой пробы, какая и должна быть у настоящего артиста.

Возражать, опровергать, убеждать в противоположном — бесполезно. Гога — образцовый во всех отношениях. Артист, родственник, семьянин (четвертая жена, вторая дочь, первый сын), вдобавок еще и поэт (недавно сборник стихов выпустил, обещал непременно подарить — при встрече), к тому же еще и художник (выставка готовится в Доме кинематографистов) — судьба редко кого так щедро одаривает.

«Вася! Скорей сюда, Гогу показывают!» — звонкий, радостный голос матери, поспешные шаркающие шаги отца, скорей, скорей, показывают Гогу, Гога на каком-то там форуме, их замечательный Гога, секундный промельк знакомого лица, а все равно приятно: это ведь их Георгий, Гога...

Брат (чей?).

Фильм Рахматуллина Саша посмотрел. Дважды. В первый раз не понравилось — ничего особенного. Гога играл там пожилого уставшего человека, много пережившего. Архитектор спроектировал роскошное здание — для нового века, однако проект забраковали из-за гнусных интриг соперника, и теперь герой живет воспоминаниями об этом проекте, модернизирует модель, а влюбленная молодая женщина (не жена, которая в отличие от преданной подруги считает его неудачником) кормит его гусиным паштетом, он обожал в детстве гусиный паштет. В общем, пожилой человек постепенно западает в прошлое, но еще спосо-

бен на глубокое взаимное чувство, которое дает ему возможность снова почувствовать себя молодым.

Потом, однако, фильм этот стал отчего-то часто вспоминаться — благородный Гога с седыми волосами и бородкой мудрит над макетом уникального здания будущего и вместе с любящей его женщиной мечтает, как они могли бы жить в таком роскошном доме.

Проект был бы во всех отношениях замечательным, так что и люди в нем жили бы только благородные — такое магическое воздействие оказывал бы на них этот городской (а вовсе не деревенский — полевая нота) дом, потому что окружающее пространство (заветная идея старого архитектора) определенным образом воспитывает человека.

Саша ходил во второй раз, хотя что-то в нем и противилось. То есть, с одной стороны, противилось, с другой, наоборот, подталкивало. Что-то его беспокоило в этом фильме, и даже не столько в фильме, сколько в самом Гоге. То ли в Гоге, то ли в созданном артистом образе. Не поймешь.

После же он все пытался уяснить, что же его так тревожит? И вдруг озарило: Гога ведь давно уже не Гога, а немолодой человек, такой же седой, как и его герой-архитектор. У родителей же получалось, что он чуть ли не ровесник Сашин, ну разве чуть постарше. То есть брат (а тем более дядя), собственно, мог быть и гораздо старше — так случается, мало ли как складываются людские судьбы, но ведь... И потом в благородном лице седовласого интеллигентного архитектора Саша вдруг уловил действительно нечто родственное, похожее на их породу. У отца тоже был этот тонкий доброжелательный прищур. И ранние Сашины залысины на висках также напоминали Гогины, и рисунок губ (Саша после фильма долго рассматривал ту

фотографию на телевизоре), и абрис подбородка, который, впрочем, был скрыт у архитектора интеллигентской бородкой (на фотографии ее не было).

Тут крылось сразу много чего. Саша, если честно, никогда не верил по-настоящему в искренность родительского обожания Гоги, всегда ему мерещилось, что это не просто так, а нарочно, чтобы ему, Саше, что-то доказать, показать, в общем, неведомо что. Даже досадить. Ну вроде как он, Саша, не такой, какой должен был бы быть по большому счету. Не такой, каким бы хотели его видеть родители. А хотели бы они его видеть таким, как Гога.

И вот теперь вдруг озарило: возможно, Гога — действительно *брат*, причем не метафорический, не седьмая вода на киселе, как он думал, а кровный (сводный, кажется, так) — скорей всего сын его, Сашина, отца: у того ведь была в прошлом другая женщина (не мать). Некая романтическая история из отцовской молодости, о чем в семье почти не говорилось, но отец про нее не забыл и мать тоже. Кажется, та женщина жила в другом городе, но ведь и Гога был не москвич, а из какого-то другого города, чуть ли не из Сибири.

Ну да, Гога вполне мог быть его единокровным братом (по отцу), и отец желал, чтобы Саша, не зная тайны, тем не менее полюбил его как родного. Трудно сказать, была ли в курсе этого хитроумного замысла мать, которая, впрочем, всегда поддерживала отца, но даже если и не была, то все равно могла из чисто воспитательных целей или просто из женского восторженного энтузиазма также создавать из Георгия культ. Чисто по-женски могла (с отцовской подачи) увлечься им как артистом. В общем, ларчик, оказывается, открывался довольно просто. Гога — *брат* и как настоящий брат вполне достоин Сашиной любви.

Теперь Саша частенько подходил к фотографии на телевизоре (когда родителей не было) и подолгу разглядывал благородное лицо Георгия, находя в том все больше симпатичных черт, которых не было у него самого. Вот, например, у Саши чуть приплюснутый, с несколько широковатыми ноздрями нос, а у *брата* нос прямой, правильный, крылья же носа какой-то особенной, изысканной формы. И губы, похожие на Сашины, изгибаются чуть насмешливо, но тоже благородно. Саша (подходя к зеркалу) пытался складывать их так же — иногда получалось, иногда нет.

Еще он стал замечать, что нередко смотрит как бы взглядом Гоги — чуть прищуриваясь и приподнимая слегка левую бровь. Получалось более солидно и опять же благородно. Как если бы он и сам был артистом. Отец ведь тоже был не без артистической жилки, в молодости даже играл в любительском театре при Доме культуры их завода. Так что и Саше тоже, может, кое-что перепало через гены. Правда, театром он не очень увлекался, но ведь себя никогда по-настоящему не знаешь, мало ли ему еще предстоит открытий.

А вот кино его интересовало больше. И на фильм Рахматуллина он пошел в третий раз, очень уж его задел Гога в роли архитектора. А может, не давала покоя все та же тайна, которую он почувствовал, посмотрев этот достаточно банальный по сюжету фильм, который только и держался (Саша с этим был полностью согласен) на отличной игре Гоги. Нет, не Гоги — Георгия, не шло как-то имя Гога архитектору, верней, артисту, его роль исполнявшему. Ни архитектору, ни артисту, ни брату, ни даже дяде... Только вот и брат в роли артиста, то есть архитектора, был как бы вовсе и не брат: с седыми волосами и бородкой, любовно склоняющийся над моделью своего здания, трогательный и благородный, скорей уж он был похож... на отца...

Вот!.. Вот где наконец сюжет начинает вливаться в нужное русло. Вот где близится желанная разгадка странных родственных связей человека по имени Георгий и нашего героя, совершенно затерроризированного его именем и образом.

Ведь Георгий Александрович (Гога)... ну да, ведь он, собственно, мог быть не кем иным, как отцом Саши.

Теперь-то наконец дошло: его родной отец был вовсе не отец, и он, Саша, вовсе не похож на отца, но на Георгия Александровича он точно похож — и рисунок губ, и ранние залысины, и прищур — нет, прищур у него образовался только сейчас, скорей все-таки не прищур, а разрез глаз, да и скулы так же выпирали. Только нос был материн, другой, немного приплюснутый и с широковатыми крыльями, тогда как у Георгия Александровича нос прямой, правильный.

Да ведь и имя Саша — случайно ли? Ведь и отец Георгия, то есть дед Саши (предполагаемый), тоже был Александр, тут намечалось не просто совпадение. Вопрос: знал ли теперешний отец Саши? Догадывался ли? И знал ли сам Георгий Александрович, которого почему-то выдавали за брата (дядю)?

Вероятно, у матери в молодости была любовная история, закончившаяся появлением его, Саши. Понятное дело, артист, красавец... Наверно, мать и не сказала Георгию (к тому времени они уже скорей всего расстались), что ждет ребенка. И отец (нынешний) ничего не знал (знает ли теперь, так горячо обожая Георгия Александровича?). Не исключалось и то, что отец, будучи также поклонником Георгия Александровича, потому и согласился с радостью усыновить еще только намечавшегося ребенка, так как любил мать и поклонялся таланту Георгия Александровича.

В самом деле, могло быть и так, что именно обожающие кумира их и соединило, а брак стал вполне органичным продолжением этой страсти — не столько друг к другу, сколько к третьему, к одухотворившему их взаимное чувство чужому таланту. Страсти, в общем, вполне платонической, во всяком случае, перешедшей в разряд таковой.

Однако даже эти две гипотезы (или три, а то и четыре, поскольку они продолжали ветвиться) не могли удовлетворить Сашу. Теперь уже не Георгий Александрович, а архитектор с седыми волосами и бородкой мерещился ему даже на фотографии, которую он в отсутствие родителей переставлял на свой письменный стол и, готовясь к экзаменам, постоянно обращал к ней свой тоскующий взор, открывая в лице Георгия Александровича больше и больше родных черт.

В какой-то миг он вдруг даже начинал чувствовать, что это не он, Саша, сидит за письменным столом, а именно Георгий Александрович, архитектор, артист, телеведущий и т. д. И в телепрограмме на неделю он тщательно выуживал все передачи, где только мог появиться его отец (брат, дядя), а когда подходило время, срывался в другую комнату и, включив «ящик», жадно выискивал родное лицо среди других.

Теперь все семейство часто дружно собиралось у голубого экрана и, замерев, следило за любимым артистом, жадно ловило каждое его слово, жест... Чего, правда, Саша напрочь не выносил, так это комментариев родителей, которые любили сопровождать понравившиеся им эпизоды или сцены своими оценками и толкованиями. Или начинали вслух восторгаться, как бы соревнуясь друг с другом, чей восторг окажется больше. Тут он начинал нервничать, злился, а быва-

ло, что и убежал из комнаты, если родители не успокаивались и не замолкали.

Если бы они знали, что он догадывается, то, наверно, восторги бы свои несколько поумерили, поскольку выходило даже не совсем прилично. Но Саша всячески таил свои открытия, и родители по-прежнему оставались в неведении.

Неожиданные же перемены в нем они восприняли как должное (разве не этого добивались?) и только изредка многозначительно переглядывались, показывая друг другу глазами на сына, а тот делал вид, что этих переглядываний не замечает. В этой невольной игре он вдруг стал ощущать в себе некий ранее не обнаруживавшийся артистизм (ясно откуда) и умело изображал просто увлечение фильмом, или беседой, или искусством чтеца, тогда как на самом деле продолжал разгадывать всю ту же загадку, пытался проникнуть все в ту же тайну, соединившую жизни четырех человек в одно неразрывное целое.

Если бы только родители (а Саша продолжал мысленно именовать их именно так) догадались, как стремительно разрастается в нем чувство к Георгию Александровичу, все глубже проникавшему в его душу, занимая в ней все больше и больше места, то наверняка бы их восторги и умиление тут же сменились тревогой.

Действительно, Саша, за исключением разве совместных телевизионных бдений, когда он приходил в гостиную, садился молча возле телевизора и, казалось, весь уходил в него, так вот Саша стал проявлять дотоле незаметную отчужденность. Только когда он слышал имя Георгия Александровича, в лице его обозначалось некоторое внимание, но и то как бы мимолетное, случайное — вроде интерес, но в то же время вовсе и нет. Не поймешь. И еще он морщился и иро-

нически кривил губы, услышав в очередной раз от родителей «брат»... В конце концов тут уже попахивало пошлостью — нельзя же так беззастенчиво искажать вещи, да еще и называть их не своими именами.

Правда, нельзя называть отца братом — в этом есть даже нечто кощунственное. И Гогой нельзя называть, потому что никакой он не Гога, столько лет прошло с тех пор, как он был Гогой, — теперь он великий человек, которого можно только по фамилии или имени-отчеству, и все равно получается вульгарно. Однажды мать сказала нежно: «Наш артист», — тоже, между прочим, резануло.

Ведь, в сущности, их семейная тайна тянула на высокую трагедию или, по меньшей мере, драму: девичье увлечение матери, перешедшее в страстную привязанность всей жизни, которая захватила и отца (отчима), примирившегося с ней (и даже отчасти разделившего ее), потому что это была привязанность даже не столько к конкретному мужчине, сколько к таланту. Или даже шире — к искусству. В этом была душевная щедрость, если угодно, и потому не стоило портить все пошлостью, которая так легко просачивается куда угодно.

Порой Саше в голову забредали еще и другие мысли, уводившие его все дальше. Ведь даже если бы Георгий Александрович был ему никем, то есть ни мать, ни отец, никто, одним словом, не был связан с ним родственными узами, то это отнюдь ничего не значило, все равно его, Сашина, связь (как, впрочем, и родителей) с кумиром была несомненна и глубоко экзистенциальна.

Тайна родства — вовсе не в генах и крови, а в духовной близости, которая способна вызывать даже определенные физиологические изменения. То есть Саша вполне мог быть похожим на Георгия Алексан-

дровича только потому, что мать и отец горячо увлекались им в молодости. Дух, известно, дышит где хочет и проникает куда хочет, поэтому Саша мог вполне рассматривать себя... ну вроде как зачатого от духа, подобно Иисусу Христу. В этом смысле евангельская метафора была вполне жизненной, а его, Сашина, судьба повторяла отчасти евангельский сюжет. Если мать была Марией, то отец — Иосифом, а виртуальный Георгий Александрович понятно кем, так же как и сам Саша.

Как ни странно, но наш герой тем не менее не особенно жаждал встречи с вновь обретенным отцом, хотя, если честно, была такая минута: он даже представил себе, что позвонит и попросит о встрече, потому что ему надо сказать Г.А. нечто очень важное. И потом они встретятся где-нибудь в кафе или сквере, известный артист узнает, что он, Саша (175 см роста, вес 66 кг, русые волосы, серые глаза), его сын.

Встреча представлялась чрезвычайно трогательной: крепкие объятия, густой табачно-одеколонный благородный дух от отцовского кожаного пиджака, все узнают Г.А. и удивляются, насколько тот и Саша похожи. А потом...

Потом... минута прошла. И желание звонить тоже пропало. В конце концов ему достаточно знать, что Г.А. существует, смотреть фильмы, спектакли и передачи с его участием и утешаться мыслью, что в их жилах течет общая кровь (или дух), больше не надо. Ведь раньше как-то обходилось, да и к теперешнему отцу Саша испытывал, помимо прежнего сыновнего чувства (несмотря на некоторое отчуждение), еще и признательность: ведь он все эти годы был ему настоящим отцом и Саша видел от него только доброе.

В отношении отчима (язык с трудом поворачивался называть его так) к Саше была еще и самоотвер-

женность — отнюдь не легко знать (если, конечно, знал), что сын не твой и тем не менее относиться к нему именно как к своему, как к родному, ни разу не намекнув, даже в минуты ссор (как без того?), что вовсе они и не родные. Или родные, но только по крови, а не по духу. Ни разу отчим (отец) не дал ему почувствовать унижение брошенности, хотя был, что ни говори, в культе «брата» Гоги (почему все-таки брат, а не дядя?) — в отношении к нему, Саше, — мотив второсортности.

Впрочем, теперь, когда Саша о многом догадывался, культ Г.А. в их семье не вызывал в нем прежнего раздражения, он даже готов был разделить его (храня свою тайну).

Собственно, и вся история.

Верней, почти вся, потому что не могло же так оставаться всегда — чтоб все всё знали и молчали как подпольщики.

Естественно, однажды возникла ситуация, когда отношения между родителями и сыном резко накалились, Саша мрачно выкрикнул (наболевшее), чтобы не смели называть Г.А. Гогой и братом, потому что никакой тот не Гога, и не брат, и даже не дядя, — и тут, как искра, взметнулась кульминационная правда о родстве.

Надо было видеть изумление в лицах родителей, когда они услышали, что он... ну да, что Г.А. вовсе не...

А кто тогда?..

Кто? Они сами прекрасно знают... Пусть не отрицают, он это давно понял. И не важно, если даже отец не кровный, кровное родство ведь не главное, важнее — связь духовная, духовное родство.

Красиво сказал.

Тут бы можно и точку поставить, но без еще одного небольшого штриха все-таки не обойтись.

Родители, несколько оправившись от потрясшей их до глубины души Сашиной пронизательности, вынуждены были признаться, что действительно не брат. И даже не дальний родственник, хотя, не исключено, что все-таки дальнее-дальнее присутствует... Может, да, а может, и нет. Артист-то этот Г.А. талантливый, большой артист, потому и в душу запал. Никуда не денешься, волшебная сила искусства! Сами не заметили, как все произошло. Хотели ведь как лучше: у ребенка должен быть идеал — в наше-то безыдеальное, циничное время. На кого-то же надо ему равняться!

Действенное такое воспитательное средство.

Вот, однако, как...

Соседи

Когда приглашаешь в гости соседа, а тот не приходит,— обидно. Ты зовешь, а он не приходит и не приходит. И это тем более странно, что сосед, назовем его Н., тоже литератор, как и наш герой Р. Коллеги, одним словом.

А ведь литераторы, что ни говори, не только на немереных просторах нашей огромной страны птицы достаточно редкие, но также и в масштабе многомиллионного мегаполиса. Это если они в буфете ЦДЛ, а тем более на форуме или съезде каком собираются, то тогда их, точно, много, даже слишком. А так, рассеянные по городам и весям или даже по различным микрорайонам столицы (включая и спальные), серьезного контингента не представляют. И если двое проживают волей судьбы неподалеку и вполне вроде симпатичны друг другу, не разделяемые никакими идейными или эстетическими (что среди литераторов случается) разногласиями, то такая разобщенность и

впрямь может показаться весьма странной и заслуживающей более пристального рассмотрения.

Вполне возможно, впрочем, что все дело в характере литератора Р.

Тут мерещатся разные причины. Не исключено, дело просто в нехватке душевных сил — для общения их в последнее время действительно не хватает, особенно для необязательного. А здесь как раз необязательность: каждый сам по себе, соприкасаясь лишь случайно. И знакомство, собственно, тоже случайное, благодаря общему приятелю, с которым лет сто не виделись. Тот, оказывается, шел к Н. в гости и, столкнувшись возле дома с Р., тут же компанейски потащил его к Н. Раз уж встретились нежданно-негаданно — отчего ж вместе не зайти? Тем более Н. — человек радушный, никакого неудобства, да и коллеги как-никак.

И в самом деле — посидели, пива выпили, расположились друг к другу, поудивлялись, что, дескать, вот как судьба людей сводит — город-то какой огромный, а литераторов на этом свете не так уж много.

Так вот, Р. еще тогда заметил, что жена Н. их как-то сразу проигнорировала и, мимоходом поздоровавшись, больше в кухне, где сидели, ни разу не появилась — то ли компании не хотела мешать, то ли... В кухне беспорядок, посуда грязная и в углу свалка из пакетов, коробок, бутылок, бумажек и прочих отходов быта. Штукатурка свисает с потолка. Р. также обратил внимание, что Н., хоть и проявил радушие, но держался довольно напряженно, говорил какими-то афоризмами, как-то чересчур глубоко задумывался по ходу разговора и весьма картинно курил сигарету в длинном янтарном мундштуке, перстнем чуть ли не серебряным на полном безымянном пальце поблескивая. Да и наряд на нем был страннова-

тый — какая-то буддийская хламида, впрочем, довольно живописная.

Р. это все видел, потому что литератор не может не быть наблюдательным, приглядчивость у него в натуре, ему без такого рода, казалось бы, незначительных подробностей не обойтись: он из них потом образ тклет и на нить сюжета нижет.

Сюжет же выходил такой, что вроде Н. с женой своей, по внешности весьма недурной (насколько успел разглядеть в полумраке прихожей), живет весьма непросто, либо в тот день они просто немного повздорили и потому объединяться в приеме гостей не хотели. Могло быть и так, что они вообще жили наособицу, хоть и в одной квартире, и хозяйство у них тоже разное. И что вообще в их семейной жизни, вероятно, немало экзотики, потому что над дверью в квартиру висела ржавая подкова, а в прихожей — большой крест из ценной породы дерева.

В общем, впечатлений сразу много, потому что литератор по природе своей не может не быть человеком впечатлительным, все он видит, все подмечает, а что особенно в душу западет — из того потом может прорасти какой-нибудь художественный цветок. Даже и из того сора, который в углу кухни Н.

С той встречи узнавали друг друга, руки жали (влажная ладонь), улыбались приветливо, укрепляясь во взаимной симпатии еще и чувством добрососедства.

Казалось бы, тут и затянуться узелку дружеских отношений. Однако у Р. тяги к более тесному общению почему-то не возникало. Верней, может, и возникала, да он не очень этой тяге хотел поддаваться. Его тянуло, а он отталкивался. Вроде и интересы схожие, и поговорить есть о чем, и вообще — кто скажет, что ему не бывает никогда одиноко в этом копошащемся, словно муравейник, Вавилоне?

Он и самому себе пытался объяснить такое сопротивление: дескать, в их возрасте новые друзья вообще появляются редко, и сам он не часто теперь шел на сближение, только в том случае, если человек действительно пробуждал какое-то особенное чувство приязни, совершенно иррациональное, то есть просто нравился и ничто в нем не задевало. Конечно, влажная ладонь — не ахти; но ведь могло быть и хуже — запах пота или замазлившийся ворот рубашки, испуганный взгляд либо торчащие из ушей волосы...

Впрочем, в случае с Н. иррациональное было, но не неприязнь, а именно сопротивление. Проходит, бывало, Р. мимо его дома к своему и вспоминает: ага, вот тут живет Н. Может, даже и на окно его взглянет, глаза подняв к четвертому этажу: светится или не светится? Если светится, значит, скорей всего дома (хотя, может, дома не он, а жена, его же самого нет), а следовательно, можно и зайти, потому что чудится — светится призывно, вроде как к нему персонально обращено: давай заходи по-соседски...

В самом деле, ежели соседи в огромном городе, то есть дома рядом и не надо тратить время на транспорт, чтобы добираться с одного конца города на другой, то отчего ж в самом деле не зайти, не посидеть за рюмкой водки или просто стаканом чая, не обменяться литературными новостями, не посетовать на всякие неурядицы, не обсудить текущее международное положение?

И так призыв этот настойчив, так осязаем, что Р., право, готов сделать шаг в сторону подъезда, и даже уже намечается поворот туловища, уже и нога одна занесена, чтобы совершить этот решающий шаг, однако в последний момент поворот пресекается и восстанавливается первоначальное направление движения — к своему дому, к своему подъезду, тут же рядом, буквально в пятидесяти метрах.

Сколько раз уже так бывало — и не только по возвращении с работы, когда, понятно, лучше домой, потому что дома можно скинуть пиджак и остаться в майке, натянуть спортивные штаны с обвислыми колленками, плюхнуться в кресло напротив «ящика» и вкушать тихое вечернее забытье, глядя на мелькание в голубом Зазеркалье, слушать, не слыша, бубнящие голоса — такой незамысловатый, ни к чему не обязывающий фон для усталого после долгого дня трудяги.

Бывало, что еще более естественно, и когда Р. выходил прогуляться вечером в выходные дни — покурить, вдыхая вместе с табачным дымком знобкий осенний дух или осеннюю пряную сырость. Ведь отчего не заглянуть на огонек, коли есть свободное время, а тем более когда к горлу подкатывает комок душевной сумятицы: вроде как все не то и не так, вот и жизнь проходит...

Тут ведь в самый раз воспользоваться соседством, ибо что лучше всего излечивает от таких внезапных приступов вечерней неприкаянной лихорадки, как не тихая, задушевная беседа с хорошим знакомым или тем более приятелем?

Короче, был повод, и даже не раз, но главное, что не собственное его желание зайти подталкивало, а как бы зов самого Н. или даже не его, а соседства как такового (изнутри пространства). Вроде как если есть знакомый сосед (симпатичный) и можно к нему зайти, то и надо зайти, потому что к незнакомому точно не пойдешь — ни к чему. Незнакомый — все равно что его нет вовсе, даже если он есть. Тут и не завязывается ничего, а если завязывается, то это уже — знакомство, пусть даже только о погоде, или о том, что мусор во дворе не убирают, или что опять эти проклятые байкеры ночью ревели моторами — никакого покоя...

Мешало, впрочем, не столько даже зрение или обоняние, сколько что-то иное, труднообъяснимое. Как будто чувствовал, что попадает в зависимость от другого, чье существование вдруг начинает втягивать в себя, подобно воронке, приоткрываясь все больше в каких-то интимных своих извилах, требуя чего-то большего, нежели просто приветственный кивок.

Все в нем восставало против этого, как если бы над ним совершалось некое насилие. Наверно, это и было насилие, самое настоящее, потому что как же не насилие, если втягивало, затягивало, закручивало, ввинчивало так, что невольно прикипал мыслями — да, то и дело думал про этого человека: как у него дела, что он сейчас поделывает, может, одиноко ему и надо б навестить или по крайней мере позвонить.

Однако не звонил и не навещал — потому именно, что чувствовал насилие. То есть на него давили и вынуждали — кто или что, трудно понять, но очень напористо, чем вызывалось еще большее сопротивление. За Р. это водилось: чем сильнее напирали, чем больше навешивали и требовали, чем очевидней от него чего-то хотели, тем больше он уклонялся. Характер такой дурацкий. Не выносил, чтоб им манипулировали. Сразу упрямство в нем — хоть кол на голове теши, как в детстве раздраженно сетовали родители.

Если не чувствовал напора, то тогда сам мог пойти навстречу. Это и вообще, и с женщинами в частности. Если липли и висли, быстро терял интерес. Так и тут... Только в данном случае, очевидно, ничего не происходило, и Н. ничего не требовал, раза два только позвонил и один раз пригласил на день рождения. Р., понятно, не пошел, сославшись на какие-то неотложные дела, — и правильно, потому что день рождения — такой праздник, на который приглашаются самые близкие. А если бы пошел, то это потом его ко

многому бы обязывало, он как бы автоматически попадал в близкие, в избранные, а с чего бы? Ну да, живут поблизости, дома рядом, ну да, коллега, ну и что из этого?

Тем не менее слышал призыв. Отчетливый такой, словно бы Н. только и думал об Р., что тот живет рядом, а не заходит, не звонит, тогда как могли бы попить вместе чайку (или водки), поговорить — нашлось бы о чем. Вообще о жизни. Всегда ведь есть о чем поговорить. Может, даже стихи почитать. Как если бы Н. совершенно нечего было больше делать — только и мечтать о встрече с ним, с Р. Будто он такой одинокий и у него нет семьи и друзей, действительно близких, с которыми он учился в школе, или потом в институте, или работал вместе.

Так Р. проходил мимо соседнего дома и вдруг замечал Н. возле подъезда на лавочке. С сигаретой в мундштуке. В наброшенном на плечи пальто, похожем на шинель (Грушницкий) — как атаман в бурке. В белых адидасовских кроссовках на босу ногу и с плохо завязанными шнурками, волочащимися по земле. Ассоциации и сравнения сами напрашивались, несколько едкие, что нехорошо, хотя литератор без ассоциаций и сравнений — как водка без соленого огурца или без селедки.

Еще длинные темные волосы торчат в разные стороны из-под низко надвинутой на лоб кепки. И глаза за толстыми поблескивающими стеклами очков задумчивые. Вид, что ни говори, экстравагантный. Сразу ясно, что не рядовой человек.

Словно специально поджидал Р. Издалека его узнавал, вставал навстречу, радостно руку ему протягивал: как дела? Покурим? Р. принимал сигарету, прикуривал от любезно подставленной зажигалки, тоже присаживался на лавочку: ничего, помаленьку... И у Н. вро-

де дела нормально, жена вот ремонт затевает, а ему не хочется — и дорого, и времени нет...

Посидят, покурят, Н. еще за сигаретой полезет (много курит), но Р. встанет, рукопожатие теплое такое, дружеское (влажное слегка): может, все-таки зайдет чайку попить? Спасибо, как-нибудь в другой раз... Что ж, в другой так в другой — и разойдутся. То есть Н., может, еще останется покурить, глядя вслед удаляющемуся Р., или тоже пойдет в свой подъезд (а все равно взгляд), и у Р. — странное чувство вины, что не согласился зайти...

Только ведь приглашение — дань вежливости, ну еще знак расположения, за которым не обязательно что-то должно последовать. Р. уходил, будто с женщиной расставался, бред какой-то! Вроде оставлял ее, потому и кошки на душе скребли. Но если бы зашел на чашку чая (рюмку водки), потом еще хуже: зайти — сразу отчасти и прирасти, прикипеть, даже если не хочешь, а Р. точно не хотел, потому что — как с женщиной — сразу чувствовал себя должником. Вроде чем-то обязан или даже ответственность на нем — за нее, за женщину. Что вроде как он ее покровитель и защитник (это при нынешнем-то феминизме!).

А вот теперь Н. заболел, тоже жизнь. Ну да, и здоровье — жизнь, и болезнь, но если здоровье не столь требовательно, то болезнь уже нечто иное. Р. изредка встречал жену Н., которую не сразу узнавал (память плохая на лица), но иногда все-таки узнавал и тогда спрашивал, как дела у Н. Так вот, сначала дела были ничего, более или менее, а тут вдруг озабоченность и пасмурность в миловидном личике: неважно дела... Оказалось, что Н. давно уже заболел, тяжелый грипп, неожиданное осложнение — на почки, он не то что из дома не выходит совсем — с кровати встать не может (запрещено).

Почки — противно, посокрушался Р., у него тоже когда-то было, но сейчас вроде прошло, зеленый чай хорошо помогает, травы всякие. Но у Н., похоже, гораздо серьезнее, так Р. понял со слов жены его. Что уж там зеленый чай...

И вот теперь он знал, что Н. болен, лежит в своей квартире в соседнем доме и никуда не выходит, и уж теперь ему точно одиноко, потому что когда человек болен, то все обостряется (экзистенциальное), тут бы надо непременно зайти проведать, по-соседски, как навещают больного. Он лежит, не вставая, судно белое под кроватью, но все равно подтекает, потому что почки, противно, самому не справиться, а жена где-то замешкалась, и жутко неловко от своей беспомощности, и что на простыню — желтые пятна, мокро, запах...

Литератор все видит, и слышит, и чувствует — наблюдает, другой бы человек, нормальный, не обратил бы внимания, а если б и обратил, то не стал бы в себе держать, мало ли что в жизни, а он вроде нарочно пришел — за впечатлениями, за новым опытом, который хоть и с другим, а все равно — опыт, потом куда-нибудь, в какой-нибудь текст непременно вставится.

Так что и Н.— вроде не просто сосед и не просто Н., а все равно что подопытный кролик, все равно что рыбка в аквариуме. Все это чрезвычайно ясно представляется Р. (как будто действительно навестил), даже запах начинает чувствовать — урины, лекарств, видит, как капельки скатываются.

Но если бы это не Н. заболел, а Р.— разве б иначе было? Н. бы пришел и увидел точно так же, ну может, чуть по-другому: и свалку в углу кухни из всякого бытового сора (пакеты, картофельные очистки, скомканная бумага...), и мелькнувшее в полумраке прихожей лицо жены Р., и шинель Грушницкого, и

крест из ценной породы дерева, и его самого лежащего, судно под кроватью, самому не справиться, а жена где-то замешкалась, жутко неловко от своей беспомощности, на простыню подтекает, желтые пятна, мокро, запах...

Проходя в очередной раз мимо, Р. смотрит на окна на четвертом этаже, откуда (светящиеся или темные) — вроде как укор. Ведь рядом проходит, почему не заскочить, не расспросить про здоровье, не рассказать, что делается на белом свете?

А что делается на белом свете? Что было, то и есть...

Формально слишком.

И опять ведь узрит, вынаблюдает что-нибудь такое, что потом непременно будет просачиваться в текст (подтекать): чем резче и жестче, тем лучше (тем хуже), потому что литература — такое суровое и безжалостное, в сущности, дело, ей все в строку, даже самое гадкое и неприглядное.

Только Р. от этого, а еще больше — от себя самого, муторно. Потому он и не пойдет к коллеге Н. Пусть тот живет как может, в шинели (Грушницкого), с мундштуком и с судном, с крестом или с подковой, с женой или без, пусть, главное, выздоравливает — но без него, без Р.

Не так уж они в конце концов знакомы, шапочно вполне, хотя и соседи. А что вроде как коллеги, причем достаточно редкой породы, тоже вовсе ничего не значит. Может, и тем более ничего не значит, потому что литератору от литератора, даже если они в разных жанрах и делить им нечего, лучше держаться друг от друга подальше.

Чтобы все-таки жизнь, а не сплошь литература.

Маленькая ящерка, похожая на дракона

Если бы она знала, как ей повезло — читать мои письма, адресованные не кому-нибудь, а именно ей. Когда я пишу, то вижу, как она склоняется близко к листочкам бумаги (близорукость), пряди волос ее то и дело падают на них, и она нетерпеливо их отбрасывает, они снова падают, и это постоянное движение раздражает даже больше меня, чем ее. Нет чтобы собрать волосы на затылке (ей пошло бы) — скрутить в узел или завязать хвостик, тогда бы не нужно было делать лишних движений, мешающих сосредоточиться.

Придет время, и она поймет, что ей и впрямь повезло: сейчас так редко пишут друг другу письма, а тем более такие, как мои, с подробными описаниями окружающих ландшафтов, бездонной голубизны неба, и вообще обо всем, что попадает в поле зрения.

Я и сам иногда не понимаю, зачем ей все это описываю, но не могу удержаться, потому что желание поделиться с ней необоримо, и потом, пока она читает мой не очень разборчивый, хотя и ровный почерк, мы — вместе. И все, что попадает в письмо, оказывается гораздо реальней, нежели то, что видит она сама. И, главное, гораздо красивей и интересней. Хотя бы потому, что я постоянно удивляюсь этому миру, а значит, и мое зрение гораздо изощренней, чем ее, и теперь, во время чтения, когда она видит все моими глазами — разве может быть что-либо большее между двумя людьми? Правда, можно усомниться, что действительно видит — а вдруг все не так, просто я себе это вообразил, потому что мне так хочется.

Это старомодно — писать длинные письма. Даже трудно представить сегодня роман в письмах — дешевая имитация, да и кто его будет читать? В романе должна быть интрига, сюжет, действие, а письма — это почти всегда медитация, если, конечно, это настоящие письма, а не реплики и скудная информация, которой обмениваются нынче по электронной почте. Сразу видно, что человек спешит, стуча по клавиатуре, а потом нетерпеливо, словно избавляясь от скучной обязанности, нажимает энтер, отправляя мессидж в пустоту виртуальной дыры.

Это и есть общение с пустотой, апофеоз скорости и прагматичности.

Нет, письмо должно идти долго, мучительно долго, пробиваясь сквозь плотность реального мира, обминаясь в руках почтальонов и задыхаясь в почтовых мешках среди массы других писем, пахнущих бытом, клеем, марками, чернилами, бензином, тоской и еще бог знает чем. Письмо нужно ждать, ждать, ждать, нетерпеливо заглядывая в почтовый ящик... А когда оно приходит, с легким сердцебиением касаться под-

рагивающими пальцами конверта, ощущая его шероховатость, волноваться, разрывая его и вытягивая из недр белый листок бумаги, испещренный мелкими синими или черными буквами.

Можно, конечно, и по-другому: это мне повезло, что она читает мои письма. Она, такая, нет, «равнодушная» не то слово, такая... сама по себе, чужая. Ну да, нашу случайную встречу (два часа в самолете в соседних креслах) даже настоящим знакомством трудно назвать. Так, перекинулись впечатлениями — о погоде, о последних интересных фильмах, и все, пожалуй... В руках у нее какой-то детектив неизвестного мне автора. Но на мой вопрос, что она предпочитает из литературы, только поморщилась и невнятно что-то пробормотала, все понятно: вопрос не по адресу. В киношках разбиралась чуть лучше и даже смогла вспомнить, кто режиссер «Парка Юрского периода».

Оживилась она чуть-чуть, когда заговорили о животных (как раз в связи с фильмом Спилберга), я ей сообщил, что динозавры очень похожи на ящериц пустынь, только очень большие, а еще они похожи на мифических драконов...

На слово «пустыня» она, правда, не отреагировала, а вот на драконов в глазах ее высветился некоторый интерес: в детстве у нее была книжка про чудовищ (и драконов в том числе) с иллюстрациями, ей очень нравилось разглядывать... И еще они ловили ящерок на даче, и те, убегая, оставляли свой хвост, который потом еще долго шевелился и извивался, как живой. При этом она еще посмотрела искоса на меня, словно пытаясь оценить впечатление. А еще у нее есть кошка Милка, черная с белым, которая ест только рыбные котлеты и любит охотиться на голубей, которые садятся на карниз их дома.

Конечно, она еще совсем юная, лет четырнадцать, не больше, хотя по внешнему виду уже вполне девушка, — сейчас это быстро... И еще есть в ней какая-то заторможенность, словно не выпалась, в глубине зеленых глаз покой и безмятежность, в манерах вальяжность и скука, словно нет в мире ничего, что могло бы взволновать или заинтересовать ее. Какая-то она вся самодостаточная и потому закрытая, — правильно, не вяжись, а то, понимаешь, пообщаться ему захотелось.

Она летела от бабушки из Феодосии, гостила у нее целых два месяца, и вся каникулярная пляжная нега — в ее смуглом лице и шоколадных узких руках, а в глазах отблески солнечных брызг на морских волнах, ей нравится Черное море, каждое лето проводит она там по два-три месяца, то есть почти все каникулы, нет, ей вовсе не скучно, ей нравится лежать на горячем песке и купаться, она, наверно, могла бы жить здесь постоянно... Развлекаться (ленивое пожатие плеч) — а зачем? На море можно смотреть бесконечно, она никогда не устает...

Шут его знает, что меня дернуло взять да и черкнуть ей письмишко по прилете. Не такой уж я любитель эпистолярного жанра, да и сил на это почти не остается, от жары плавятся мозги и не хочется после работы шевелить ни руками, ни ногами. А я вдруг сел, достал бумагу и ручку и стал черкать. Дескать, погода тут — 45 жары, все плавится на солнце, не хочется выходить из комнаты с кондиционером...

И все вдруг мгновенно, словно по мановению волшебной палочки, изменилось — я увидел, как она наклонилась над письмом, как улыбнулась, увидев нарисованную мной узкую мордочку ящерики, похожую на маленького дракончика, как откинула свесившуюся прядь...

Честно говоря, я ни на что не рассчитывал. В смысле, что она откликнется, напишет что-нибудь в ответ. Я даже не был уверен, что хочу этого ответа. Потому что легко могло оказаться, что я написал не по тому адресу, верней, что адресат не тот, кому стоило рассказывать о пустыне, о буровой, о барханах и пылевых смерчах, об убийственном солнце, представляя себе, как она будет собирать разбегающиеся буквы в слова, слова в строки, сквозь которые на нее будет дышать сухой жар пустыни и глядеть зелеными выпученными, как при базедовой болезни, глазками песчаная ящерка, похожая на дракона.

И все-таки я написал. Может, потому, что пустыня на этот раз показалась мне какой-то особенно гнетущей, а буровые вышки уродливыми, словно высохшие корявые деревья, похожие на древних сумрачных идолов. Не одну неделю еще мне было сидеть здесь, до следующего отпуска, и это было почти невыносимо. А от ее нежного профиля, который почти два часа фиксировался на краю сетчатки моего правого глаза, исходило некое свечение, теперь или тогда (или и тогда, и теперь) — уже не понять, и мне почудилось, что оно освежает не меньше, чем вода (из резервуаров), которой здесь никак не напиться, сколько ни пей.

Ей действительно повезло: мои письма помогают ей расти. Мало того что она юна, но, как и многие живущие в столице и имеющие легкий доступ ко всяким культурным развлечениям (если это можно так назвать), ими как раз и не пользуются. Это когда просидишь месяц-другой среди барханов и ящериц, только и видя что буровую, черное золото, да по вечерам всякую чушь по видику или телевизору, начинаешь тупеть и дичать, потому что сил на чтение, увы, уже не остается.

И вот тогда начинаешь тосковать по музеям, киношкам, театрам, ресторанам, просто оживленным, ярко освещенным вечерним улицам и всему прочему, даже по общению, но так, чтобы о серьезном или, если угодно, возвышенном. Это как с книгами: бывает, гоняешься за каким-нибудь раритетом, кажется, стоит добыть, так сразу же бросишься читать. Ничего подобного: книга благополучно водружается на полку с приятной мыслью, что в нужную минуту запросто можешь снять ее оттуда и прочесть, и вот проходят годы, а книга так и остается невостребованной. Она есть — и вроде уже достаточно.

Так и со столичными — много проходит мимо них, потому как все у них под рукой и каждую минуту можно воспользоваться. Знают, что могут, и это делает их равнодушными. Фрейд считал, что препятствия усиливают желание. Так и тут: отсутствие преград, доступность культуры и прочего действуют как сильный седатив даже на тех, кто знает всему этому цену. Кому не нужно — тому не нужно, а кому нужно, тот запросто обходится.

За месяц на буровой столичные радости становятся для меня предметом яростного вожделения: мне грезятся по ночам полные залы театров, красивые женщины в нарядных платьях, торжественные, какими умеют они быть только в театрах или на концертах, с самозабвенными, полными какого-то праздничного вдохновения, приподнятыми лицами.

Жизнь, одним словом.

Я пишу ей про ящерок, похожих на маленьких дракончиков. Наблюдать за ними — одно удовольствие, столько в них изящества. Как они скользят, извиваясь всем телом, как замирают внезапно, шевеля длинным, раздвоенным на конце, как у змеи, язычком, словно ошупывающим воздух. Язык у них,

известно, — орган обоняния, как у человека нос. А манера движения — своего рода гипноз — способ самозащиты.

Не знаю, нравится ли ей читать про ящерок или кактусы, которых здесь множество самых разных, но я не могу не писать об этом, потому что вижу это каждый день и мне почему-то хочется, чтобы она тоже видела. Чтобы мы вместе...

А пустыня — она красивая.

У большинства само слово ассоциируется с понятием пустоты, в воображении сразу же возникает образ простирающихся до горизонта песчаных дюн, где нет почти ничего живого. Однако пустыня далеко не мертва. Если присмотреться внимательнее, то откроется неведомый и удивительный мир. Неизгладимое впечатление производит она весной, когда ярким рядом из цветов и шелковистых трав покрываются казавшиеся безжизненными пески, воздух напоен ароматом цветущих джужунов, а чуть позднее — изящных песчаных акаций с темно-фиолетовыми кистями цветов. За короткую весну природа создает яркие и неповторимые композиции из цветов, от которых невозможно оторвать глаз. Правда, весна очень быстро уступает жаркому и сухому лету, которое тянется добрых пять месяцев без единой капли дождя. Температура в тени поднимается до 40°C, а то и выше. Безоблачный небосвод, пышущие жаром пески, причудливые ажурные силуэты саксаула, практически не дающего тени, животные, ведущие суровую борьбу за существование, и среди них — ее любимые ящерики...

Не исключаю, что все это я придумал — и ей совсем не интересно, она мельком проглядывает мои послания, пожимает плечами и складывает в стопку,

все более уплотняющуюся с каждым днем. Или даже выбрасывает, потому что хранить эти странные письма совершенно ни к чему.

Паузы между ее ответами мне (все-таки отвечает) гораздо дольше, чем между моими посланиями, так что на три-четыре моих письма я в лучшем случае получаю один ответ. Но ведь пишет же, и нет-нет, вдруг прорвется в ее кратких письмах непрдуманый интерес: она может спросить, так же ли жарко ночью, как днем, или чем питаются ящерики, похожие на маленьких дракончиков. И в какое время года цветут кактусы?

Все это она, конечно, запросто могла бы прочитать в какой-нибудь специальной литературе, у того же Брема хотя бы, но, как она верно заметила, всегда лучше получить ответ на вопрос от кого-то, нежели лезть в учебник или еще куда-нибудь. О, эта божественная лень, эта женственная нега!..

Я радуюсь не только каждому ее ответу, но и любому вопросу. Вопрос — это движение души, любопытство, а значит, рост, эволюция, прогресс. Чувствуется, что девочка растет, развивается — она уже не совсем такая, как в первых своих письмах. Пусть даже ее интересуют больше ящерики, похожие на маленьких дракончиков, чем моя внутренняя жизнь или мои мнения о разных предметах. Все равно: пустыня — это и есть ящерики, глаза их — глаза пустыни, она пытается понять, как можно жить здесь месяцами, вдали от обычной цивилизации, откуда даже письма идут неделями, а конверты покрываются желтизной, напоминающей все те же пески.

Зверей в пустыне немного, верблюды, например, — светлые и темные, как коровы. Им привозят воду и поят. Особенно забавны — верблюжата, словно недавно вылупились. Маленькие ведь всегда смешные и

милые, даже шакалята. Ящерицы же выползают в августе. Ляжет такая посреди дороги — издали ни дать ни взять кусок авторезины. Только когда голову вверх вытянет, сообразишь кто это. Размером они где-то с метр, здоровые, толстые. Бывают, впрочем, и гораздо меньше, совсем крохотные. Шакалы же — как собака, с длинными лисьими ушами и загибающимся между лап хвостом. Не очень симпатичные.

Ночами здесь спится тяжело, несмотря на кондиционер. А в тот раз приснилась маленькая ящерка, не пустынная, в метр длиной, а наша, среднероссийская, юркая, с отпадающим хвостом. Серовато-коричневое тельце и чуть выпученные глазки, неподвижно на меня уставившиеся. Хотя, возможно, вовсе и не на меня, а на что-то другое. И я догадывался во сне, что вовсе это не ящерка, а девочка-подросток, смуглая от крымского ласкового солнца и вся просоленная морем, где медузы и крабы, рыбки и ракушки. Как в сказке про царевну лягушку. И мне почему-то горько, что она так и останется ящеркой, несмотря на все мои попытки вызвать в ней прежний образ, сотворенный искусной рукой небесного скульптора.

Разумеется, солнце пустыни кого угодно может превратить в шизофреника, этот сон еще сравнительно безобиден, ведь ничего дурного, кроме того, что человек снится не как человек, а как млекопитающее, как рептилия. И причем тут она?

Ну да, время спать и время пробуждаться. Только зачем? Чтобы увидеть — что? Пустыню с медленно бредущими по ней двугорбыми задумчивыми верблюдами, мелькающих среди барханов пупырчатых ящерок, черные кляксы нефти, похожих на ниндзя в защитных масках буровиков... Или багряный закат над синей далью моря (тоже пустыня, только водная). Или даже фильм талантливого режиссера...

Конечно, во всем этом есть свое очарование. Но ведь и обман тоже.

Написал ей сдуру про сон. И все, обрыв. То есть еще несколько писем я ей отправил, но — ни ответа, ни привета!

Финиш.

А может, это и к лучшему? Может, и не надо мне лезть со своими рассказами?

Я, правда, не чувствую себя особенно виноватым, и теперь, когда серо-коричневая сизобрюхая ящерка из семейства игуан, прикормившаяся в нашем отсеке общежития, бывает, пялится на меня по утрам неподвижным, словно гипнотизирующим взглядом, я вспоминаю ту встречу в самолете, и мне почему-то кажется, что еще не все закончилось, что продолжение будет...

Прогулки

Обычно они встречаются возле выхода из метро «Новокузнецкая», Дина, ее муж Миркин и их друг Ипполит. Просто встречаются и идут в сторону Замоскворечья, к Малой Ордынке и дальше в глубь улочек и переулочков, в глубь старой запыленной Москвы, а то, бывает, сворачивают к набережной и идут вдоль реки, что тоже навевает на них странное ощущение вне времени. Если угодно, они просто гуляют — Ипполиту (это его инициатива — гулять именно здесь) нравится старая Москва: Григорьев, Фет, Островский, небольшие желтые старинные особняки, доходные дома начала века и вообще...

Они гуляют тут едва ли не каждое воскресенье (почти ритуал), если, конечно, нет дождя или вьюги, иногда Миркин впереди с Ипполитом, а Дина чуть позади (или впереди), иногда впереди Ипполит с Диной, а задумчивый Миркин позади (или чуть поодаль) —

такие вот конфигурации, но им нравится вместе, они с удовольствием общаются на фоне старой Москвы, это придает жизни особый колорит, вроде как даже не двадцать первый век (страшно подумать!), а тот самый, девятнадцатый, — неторопливый, обходительный, забубенный, патриархальный, чревоугодливый, мечтательный, словолюбивый, короче, тихий такой, вечерний, с золотящимися куполами.

Ипполит, слегка склонный к полноте, чуть барственный, похоже, весь оттуда, — тоже неторопливый, любящий побалакать и ко всему подходящий обстоятельно и неспешно. Основательность и неспешность — главные его принципы, он пытается жить в соответствии с ними не только в воскресные дни, но и в будни, хотя в будни не очень получается, в конторе у него запарки, как и у других, да и время такое, нервное, не дает расслабиться, крутиться приходится, как и всем, как и Миркину с Диной.

Воскресные дни, однако, — их, тут они свое стараются взять: мирные прогулки по Замоскворечью, между особнячками и особняками, облюбованными разными фирмами и фирмочками, по воскресеньям здесь пустынно и тихо, не рычат разные «мерседесы» и «джипы», не налезает на тротуары тяжелыми аллигаторовыми и бизоньими тушами, не грозят случайному прохожему тупым звериным оскалом бамперов.

Собственно, Ипполит и положил начало этим прогулкам, убедив Дину и Миркина, что по воскресеньям просто необходимо отрываться от быта, прогулки способствуют пищеварению и правильному мировосприятию, потому что от всей этой суеты и кутерьмы с человеком происходят нехорошие вещи — будто зрение меняется, да и все меняется.

Поначалу Миркину казалось, что с этими прогулками они стали совсем похожи на пенсионеров, но

Ипполиту постепенно удалось его убедить, что вовсе и не стали, к тому же по пути можно взять по паре пива и выпить их на скамеечке, захрустывая вкусными черными сухариками «Емеля» или «Три корочки» (Миркину нравятся больше), а пиво, известно, располагает к неспешности, к ностальгии, к дремоте, к солидности, к поиску укромных кустов или подворотен и вкрадчивому раздумчивому журчанию, к разговорам за жизнь, еще к пиву и еще к журчанию...

Еще Миркин знает, отчего Ипполиту нравится гулять именно тут, а не где-нибудь еще: когда-то, студентом, он бегал сюда к одной даме, в которую был влюблен, да и она к нему благоволила, жила дама в коммуналке с кучей соседей, ему приходилось поджидать у черного входа (там был и такой), когда та его впустит. Все как-то проще и легче было тогда, что говорить, даже романтика была в этих ожиданиях под дверью, среди всяких мусорных и прочих жилых подгорелых запахов и потом в крадущихся шагах по полутемному коридору.

Миркин помнит и этот семиэтажный серый с барельефами дом, мимо которого они почти каждый раз проходят, Ипполит косит на него с чуть заметной улыбкой (ага!) и мечтательным выражением, словно уловил возможность иного течения времени. Они (Ипполит и Миркин) часто вспоминают общее студенческое прошлое, которое еще вовсе и не такое прошлое, если учесть, что им всего около сорока, и тогда Дина идет чуть позади или чуть впереди, одним словом, поодаль, это и понятно: ее в этом прошлом нет, она тогда еще не появилась в жизни Миркина, а где-то бродила своими неведомыми тропками.

Когда она возникла, то общее прошлое кончилось: семья, дети, Ипполит уехал надолго в загранку, тоже женился, но как-то неудачно, и вообще этот период

его жизни покрыт плотной завесой тайны. Изменился он за это время сильно — посolidнел, раздобрел, впрочем, теперешняя его работа как раз и требует представительности (он менеджер по продажам в крупной мебельной фирме). Однако сразу потянулся к давним связям и привязанностям, из друзей — к Миркину в первую очередь. Тот за это время стал косматым компьютерным гуру, пишет с утра до ночи какие-то бухгалтерские программы, однако тоже не прочь в воскресенье прогуляться по Замоскворечью, прихватив и Дину, поскольку они с ней редко из-за работы полноценно бывают вместе, иначе обида и напряг, а кому это надо?

Конечно, они бы и отдельно не прочь пообщаться, о своем мужском, тем более что Миркину есть что поведать приятелю про свои семейные неурядицы. Нет, в целом у них с Диной все ничего, но ведь даже и в благополучных семействах случается всякое, а уж обиды и недовольства — сплошь и рядом. Даже и мелкие, не говоря уже о крупных, еще как портят жизнь, и надо же кому-то высказать, чтобы не носить в себе. Если в себе, то тут велика опасность, что ком, стиснутый в не слишком широкой грудной клетке, разрастется да и задавит-задушит, прорвет и разнесет все по камешку.

Нет, тут надо непременно кому-то поплакаться, излить душу и хотя бы этим ее, изболевшуюся, умиротворить. Но можно, в конце концов, и во время их общих прогулок, чего уж, даже два метра расстояния достаточно, чтобы вполголоса посетовать на отсутствие ужина или постоянную нервозность жены, происходящую по непонятным причинам, или про то, что из-за ее любви к украшениям и тряпкам не удается скопить денег на новую стиральную машину (старая еле дышит), дурацкая привычка жить «в ноль», то

есть сразу тратить едва появившиеся деньги... А все для чего? Чтобы купить себе очередные серебряные сережки, браслет или супермодную шляпку, которую она и оденет-то раз или два и потом та будет занимать место в шкафу, из которого и без того все вываливается. Между тем не так легко они добываются, эти деньги, даже и ей самой в ее турбизнесе, на дочь времени почти не остается, дома бедлам, пыль неделями не вытирается, не говоря уже про то, чтобы мужа приласкать...

Ну да, хочется же ведь и ласки иногда, не про между прочим, а так, чтоб заиграло в крови, в каждой жилке — как в шампанском...

Может, про это (искорки) и не стоило бы рассказывать — Ипполит-то тем более лишен, даже и про между прочим (хотя кто знает), а потому в его глазах появляется нечто насмешливо-укоризненное, будто застенчивый по жизни Миркин какой-то тайный сексуальный маньяк.

Впрочем, не исключено, что Миркину это только кажется, потому как потребность в огнедышащей ласке угнетает и его самого (ишь чего захотел!), эдакая опостылевшая зависимость — на самом же деле во взгляде Ипполита ничего такого и в помине, а лишь интерес и сочувствие, порой недоумение или даже возмущение, поскольку женщины, положа руку на сердце, все равно что инопланетяне (есть гипотеза). Кому как не им заниматься детьми или содержать в порядке дом, не говоря уже о внимании к мужу?

Миркин испытывает признательность к Ипполиту, когда тот кивает понимающе головой, не очень заметно, чтобы не возбудить каких-либо подозрений и не вызвать особого интереса к их разговору у идущей чуть поодаль Дины. Хотя в данном случае это как бы даже и не совсем та женщина, о которой идет

речь, то есть и та и не та. Милое бледное лицо с чуть подкрашенными глазами и губами, никаких особых украшений, ну да, сережки, но пойми из чего они — то ли из серебра, то ли из золота, то ли самые простые, но они ей очень к лицу, и что там у них дома — кто это знает (про ласку тем более)? Так что вроде и не о ней речь, а о ком-то другом, но они (Миркин и Ипполит) на всякий случай отдаляются, поскольку речь-таки о женщинах, тема щекотливая и уместная главным образом в мужском кругу.

С Диной Ипполит тоже охотно беседует, причем о весьма близких для нее предметах — о туризме, о детях, о воспитании, о бытовых всяких проблемах вроде ремонта или правильного поведения с сантехниками и жилищной конторой, от чего Миркин упорно уклоняется, перекладывая все на хрупкие плечи жены. Он и сейчас отстраняется: едва речь касается этих низменных материй, как он тут же отстает метра на два или, наоборот, ускоряет шаг, задумчиво глаза по сторонам — может, архитектурой любит, может, пробегающими мимо девушками (в Москве много симпатичных), а может, бликами на поверхности воды (если на набережной)...

Тут-то и появляется у Дины возможность выплеснуть Ипполиту наболевшее.

Миркин, известное дело, человек в быту непрактичный, но он и не хочет, считает, достаточно того, что зарабатывает бабки. Только ведь это неправильно: они в театре не были уже больше полугода, ни в театре, ни на выставке, ни тем более в кафе или ресторане, даже в гости сходили всего два, вечерами Миркина дома не бывает — сидит допоздна в конторе, света белого не видит со своим компьютером, а потом спит до полудня. А с работы придет — уткнется в телевизор и все... Или у матери гостит по не-

скольку дней, вроде так и нужно. Ни поговорить с женой, ни приласкать...

Ну да, хочется же ведь и ласки иногда, не про между прочим, не наспех, а так, чтоб заиграло в крови, в каждой жилке — как в шампанском... Впрочем, об этом Дина Ипполиту не говорит, в отличие от Миркина (все-таки мужики), но и без того не трудно догадаться. Женщина она привлекательная, ей, понятно, больше внимания хочется, иначе семейная жизнь превращается в формальность. Конечно, у Миркина свои достоинства — не пьет, курит в меру и непременно на лестничной площадке, стряхивая пепел в консервную банку из-под лосося, прочего за ним замечено не было, и что? Хороший человек, а все равно для счастья маловато.

Несколько дней назад она его что-то спросила, и раз, и два, — не отвечает. Встал и ушел, будто не слышит. А она и спросила только, какие у него планы на завтра. И как она должна на это реагировать? С чужим человеком бы так наверняка не поступил, а с ней, выходит, можно. Если уже замечать перестает и на вопросы не отвечает, словно она что-то обидное спросила, куда дальше? Она тут уезжала на неделю в командировку, так он все ее цветы засушил, что на подоконнике, хотя она его специально просила не забывать, дни жаркие. Плохой это симптом, если про живое забыл, с ней связанное.

Отчего Ипполиту так хорошо под сенью серого семиэтажного дома?

Черная лестница в том доме теперь на охране, ее используют только для посещения офиса какой-то фирмы с загадочным названием «Мер-Д» на втором этаже, стены облицованы красивой плиткой под мрамор, мозаичные панно с изображением экзотических ландшафтов, а выше ход перекрыт железной дверью

и туда не проникнуть, разве только в случае пожара. Когда-то он по ней поднимался (взбегал) и покорно ждал под охристой обшарпанной дверью, между тем как в крови уже вспыхивали искорки, сердце колотилось, как бешеное, а шаги за дверью (приближающиеся или удаляющиеся) повергали в почти священный трепет. С тех пор целая жизнь минула, а ему все еще кажется, что там ничего не изменилось — в той комнате, куда он проникал на цыпочках, держа в руках раздолбанные старые ботинки, чтобы не наследить и не зашуметь. И сейчас, спустя годы, искорки начинают вспыхивать где-то в самой глубине, поднимаются вверх, как в шампанском, будоражат, будто ему вот-вот предстоит.

Краем уха Ипполит слушает Миркина, который два дня назад чуть не ушел из дома — это после того, как Дина обвинила его, что мать для него дороже семьи и что он предпочитает отсиживаться у нее, чтобы ничего не делать по дому и не заниматься воспитанием ребенка. Мать себя последнее время плохо чувствует, но это ее не колышет, а ребенком она могла бы и сама позаниматься, все-таки дочь, а не сын, им проще найти общий язык. Давно так: нет, чтобы посидеть с ребенком дома — вместо этого гнусный детский сад, из которого девчонка приносила всевозможные болезни и никак не могла выпутаться из соплей. И потом сама же отправляла Дашку к бабушке, чтобы та не путалась под ногами и не мешала заниматься делами или отдыхать, и что? Теперь четырнадцатилетняя дочь настолько сама по себе, что они ей уже не указ и вообще с большим трудом находят (ой ли?) общий язык.

Теперь они уже зацепились, Дина с Миркиным, — не разнимешь, сравнялись в шаге и то и дело останавливаются. Постой, возмущается Дина, а кто отво-

дил ее в детский сад и забирал оттуда, кто сидел с бедной во время болезней, кто добился, чтобы ее приняли в элитную школу и ходил на родительские собрания... И в детский сад Дашку отправили потому, что она должна была работать, он что, не помнит, как трудно жили... Всегда находит для себя лазейку. Ага, забыл, как она одна ездила на похороны отца, потому что у него якобы был грипп? Она одна все сделала, ему невдомек, чего это ей стоило, может, как раз с того времени у нее постоянные сильные мигрени. Всегда, всегда тянул одеяло на себя, прикрываясь работой.

Причем здесь работа? — все больше раскошегаривается Миркин. Если ты настоящая мать, то прежде всего должна думать о ребенке, он мог их всех прокормить, хотя у него и случались (ага!) перебои с работой. Но это вовсе ничего не значило, тут вопрос желаний, а не необходимости. И когда он захотел второго ребенка, кто воспротивился? Он очень хотел мальчика, хотел учить его лазить по деревьям и играть в футбол...

Второго ребенка, ха... Он и первого-то не хотел признавать, увидел крохотную Машку и сказал, что она не похожа на *его* ребенка. Хоть бы подумал, какво ей это слышать, особенно после того, как она пролежала перед родами больше шести часов на каталке в коридоре, потому что в палате не было места. Об этом он не помнит, он, что касается его, ничего не помнит...

Теперь они идут втроем, группой, Миркин, забегающая вперед, оборачивается к Дине, чтобы бросить ей очередную порцию обвинений, но оба они, мечая друг в друга молнии, делают это вполборота к Ипполиту, который понимающе кивает, поворачивая голову то к одному, то к другому, в лице строгость и некоторое

удивление, надо же, водить полубольного ребенка в детский сад, надо же, отпустить жену одну на похороны отца, надо же...

Строг Ипполит, но справедлив. Он их не успокаивает и не разнимает, руки сцепив за спиной и чуть наклонившись вперед, словно стараясь вникнуть в то, что слышит. Он кажется выше ростом, чем обычно, такой большой и широкоплечий, несколько грузноватый, в длинном плаще, он смахивает на памятник какому-то известному деятелю, сразу не вспомнить. Миркин, понятно, друг, но истина дороже, Дина, пожалуй, тоже друг, пусть и не такой близкий и не такой давний, как Миркин, а впрочем, уже и не поймешь, кто ближе — собственно, как их теперь разделить?

Вот они втроем возле какой-то скамейки в маленьком скверике, Ипполит чуть отдельно, хотя все равно рядом, в руках наполовину опорожненная бутылка «Балтики» (№ 3 — Классическое), Миркин пустую бутылку отставил и теперь с Диной лицом к лицу, наперегонки выстреливают словами, стараясь перекричать друг друга и периодически обращаясь к молча кивающему приятелю.

Ипполиту все это знакомо, он это уже проходил. Если бы его спросили, хочет ли он еще раз, то он наверняка бы отказался. Дина — милая, а Миркин — друг. Ипполит с интересом поглядывает на Дину: в ярости она становится особенно хороша и... немного похожа на ту самую женщину, к которой он поднимался по черной лестнице в том самом семиэтажном доме с барельефами, чья серая крыша видна из этого скверика.

Сейчас они доругаются и уйдут вдвоем, мрачные, отшатнувшиеся, держа дистанцию, чтобы ненароком не коснуться друг друга, а он останется один, ему не надо ничего ни с кем выяснять, блаженно-мучитель-

ное состояние одиночества и пустоты. Дома его никто не ждет и спешить ему некуда.

Расставшись возле метро с Диной и Миркиным, он купит еще бутылочку пива, покрепче, и будет думать о них с раздражением и нежностью, до следующей субботы или воскресенья теперь, и неделя будет тянуться нескончаемо долго, неимоверно долго...

Вестник

Ах, если бы вы слышали этот голос! Если бы вы его слышали (и при этом видели *его*), то и вопросов бы не было. Вы бы сразу все постигли и причастились. Ах, что за голос, что за голос!

И вообще...

Его голос (тенор) — не просто человеческий. В нем еще есть нечто, что заставляет думать о заповедном, таинственном и чудесном, соединяющем с высшими сферами. Собственно, в нем они и звучат, эти сферы, музыка сфер... Вот откуда, между прочим, миф о Сиренах — привязанный к мачте корабля Одиссей мудро предусмотрел свою невменяемость.

Сам обладатель такого голоса как бы даже и не человек. Верней, человек и нечеловек (а кто?), есть в нем нечто ангелическое или демоническое (у кого как), притягивающее как магнит, неотразимое и необоротимое.

Наркотическое.

И он, этот голос, знает об этом. Еще бы не знать, если тысячи (а то и миллионы) глаз на него устремлены с томлением и упованием, столько же ушей (если не больше) к нему обращены, тысячи страждущих душ — выше, еще выше, еще!..

Своды зала гудят и расступаются, а там — там сияющее голубое небо, там, о Господи, райские кущи, там...

Впрочем, для этого уже нет слов — только голос и музыка. И не надо слов, не надо!

Между тем как без слов? Как иначе поделиться этой светоносной и духоподъемной радостью?

Мария говорит:

— Он такой чистый, неиспорченный, он так естественно держится, сразу видна неискренность. Мальчик и мальчик (в тридцать пять лет!), как бы и не артист вовсе. То есть артист, но не опытный (в смысле цинизма). Не забалованный еще славой. Наивный. Как будто только-только из провинции.

Это про кущи.

То есть про кущи как расскажешь? А никак.

Зато про певца (назовем его П.) можно.

— У него даже глаза прозрачные, как весеннее небо, голубые и прозрачные.

То есть соответствующие.

— Нет, правда, ты этого, как его, ну Н. вспомни, он же явно другой природы, на него смотреть не хочется, кривляется, как чертик. Паяц. И в голосе какие-то модуляции, от которых не по себе, но не в хорошем, возвышенном смысле, как у П., а наоборот. Что-то inferнальное. И взгляд такой пронизывающий, аж мурашки по коже. Страшно!

Великий и ужасный П.

И голос.

Между тем певец наш (он наш, потому что мы его любим), — сама гармония. Ах, какой голос, какой голос! А еще в нем, помимо голоса, тоже притягивающее — обаяние. А еще — простодушие. Причем не наигранное, но абсолютно естественное, органичное. Такое не сымитируешь.

И это, между прочим, на гребне славы. Он и в Италии, и в Америке, и на родине... Везде рукоплескания, переходящие в овации, цветы, интервью, поклонение... Поклонницы опять же. Другой бы давно зазнался, зарвался, заигрался, а он — ничуть. Такой же милый (м-и-и-лы-й!), такой же простодушный, такой же свой... То есть *наш*.

Его голос — наша с Марией судьба. Мы и познакомились на его концерте. И сошлись, собственно, на почве его голоса. Даже разница лет не преграда, да и что такое двадцать семь лет, если есть понимание и любовь? Если есть нечто общее, соединяющее, возвышающее, цементирующее. И все благодаря ему, верней, его голосу (и всему прочему).

Голос — идея. С ней человеку легче плыть в этом беспокойном море жизни. Идея — не какой-нибудь захудалый утлый челн, а мощный надежный крейсер, уверенно разрезающий волны, оставляя за собой сверкающий пенный след. И голос (его голос) оставляет в наших душах восхитительное сверкание...

С одной стороны, вроде земной такой, про папу с мамой рассказывает, дедушку и бабушку, питерских интеллигентов, как они его строго и правильно воспитывали, в духе традиций, и невесту ему нашли они (послушный), теперь жена, любимая и единственная, про жену редко кто так хорошо, без камня за пазухой или тайной язвительности. И не только не стесняется такой правильности, а еще и подчеркивает.

И что сначала врачом хотел быть (даже лягушек, подобно Базарову резал), потом художником (даже проучился год в Строгановке), но талант свое взял — не обошлось без консерватории.

И вдруг — голосом вверх (ах!), еще выше (ах-ах!!!) — все в шоке, а он довольно улыбается.

Озорник.

Мальчишество в нем играет. Но приятное такое, милое, непосредственное...

Мяса почти не ест (рассказывает), не из принципа, однако, не как вегетарианец — просто ему кажется, что с мясом в организм входит нечто темное. Зато обожает молоко и творог (белое). И макароны.

Вероятно, потому и не стал врачом (были поползновения), что слишком впечатлительный (артист). То есть не столько крови боится (хотя и это тоже), сколько вообще.

Искренний.

И опять вдруг голосом ввысь — а-ах! Обнимитесь, миллионы! Голос как звездный купол, как планетарий.

Мы любим его.

То есть кто-то любит, кто-то обожает, а кто-то так себе... Но кто «так себе» — не прав, потому что надо отличать истинное от ложного, воспитывать в себе чутье к истинному. Кто «так себе», тот не с нами.

Никто не спорит, человек — существо сложное, даже очень, но бывают и такие, что связаны с миром чистых сущностей (голос — свидетельство), да и всем видом своим (может, сами того не предполагая)...

Как П.

И голос и облик.

Волосы светлые, золотистые, кожа светлая, розоватая, нежная, как у младенца. Просветленный. Прочищенный (мяса не ест). Немного женственный. Когда

поет, двигается плавно, плечами слегка поводя. Может, чуть кокетливо.

А улыбка? Мало что ослепительно белозубая, но — открытая, искренняя, без тайного намека и подвоха — от переполняющей его внутренней силы и радости жизни улыбается человек. Ямочки на щеках.

Фотография светится.

Мария с этой фотографией не расстается. Та у нее и на работе, и дома на тумбочке возле кровати. Плюс целая полка записей — кассеты и диски. Если она дома, то голос П. непременно разносится по квартире. Иногда громче, иногда тише. Иногда совсем тихо — вкрадчивым медоточивым фоном.

Все его выступления известны нам на месяц вперед, если не больше. Программа телевидения исследована вдоль и поперек, красным фломастером расчерчена: в пятницу в 19.00, в субботу в 14.30, в среду в 11.00, ну и всякие концерты, особенно праздничные, где П. может тоже участвовать: тут надо проявить терпение — тем более приятно, если вдруг объявят его выступление (он часто появляется). Мария не пропустит. И меня позовет, если я неподалеку.

П. — наше общее достояние.

«Посмотри, по-моему, он стал еще обаятельней. Ничего ложного, чистый человек, сразу видно». — «Да, сразу видно — хороший человек. Энергетика особая».

Нам есть о чем поговорить.

После его выступлений мы чувствуем себя не просто возвышенной и духовней, но даже физически здоровее. Будто дышится легче, словно в его голосе заложено какое-то оздоравливающее снадобье. Слово его голос дезинфицирует пространство, восстанавливает нормальную экологию.

Правда, мне не кажется, что участвовавшие выступления П. по ТВ — ему на пользу. Тут наметились расхождения. Мария считает, что это очень хорошо — не столько для него, сколько для ТВ, которое со своей пошлой рекламой, разнузданными фильмами, сумасбродной эстрадой и тупыми развлекаловками только губит несчастную молодежь.

П. же, по ее мнению, этому разврату противостоит — и голосом своим, и образом в целом. Он как бы демонстрирует, каким может и должен быть человек — ни слава, ни деньги, ни масскульт его не берут. Как был *настоящим*, так и остается. Он в массы совсем иную идею несет, возвышающую, красивую. Он — как вестник другой жизни.

Может, он ее и несет, но и масскульт свое тоже берет, оставляя следы — что-то вроде крошечных рубцов, которые, может, и не особенно видны, однако тем, кто только П. и дышит, увы, заметно.

Странно, что Мария этого не видит. Ее это его усилившееся кокетство почему-то не удивляет, даже и женственность.

«Какая ерунда! — отмахивается она. — Не придумывай!»

Получается, что я возвожу напраслину на П., который не только не изменился к худшему, но, напротив, стал еще... В общем, вырос. А я вроде его опускаю — в силу собственной недалекости.

Ну что женственность, а если и женственность, то что? И причем тут слащавость? Нет никакой слащавости, просто он так держится, ничего особенного, а тем более порочного. Это я вроде как от собственной испорченности.

Человек все норовит исказить, даже самое чистое и возвышенное. Снизить до своего уровня. Не так-то просто верить в простоту и чистоту — в силу соб-

ственной греховности. А бывает, что и ревность, поскольку сам не такой.

Я чувствую свою вину, но ничего не могу с собой поделать. П. изменился, я вижу это — кроме кокетства и женственности, да, и слащавости (точно!) в его исполнении появилось еще что-то неприятное. Ну вроде как излишняя самоуверенность, самодовольство, даже самоупоенность. Не хотелось бы этого замечать, но что поделать, если это так задевает (в силу любви), лишая его образ прежней монолитной, тихой и честной цельности.

Нет в нем прежней гармонии.

Мария обижается.

То есть вида не показывает, но я-то замечаю. Она стала еще больше восхищаться П. — не исключено, в пику мне. Моим сомнениям. Моему скептицизму. Она стала еще чаще включать арии в его исполнении, чаще смотрит концерты по ТВ — в надежде увидеть его, и, когда он появляется, она зовет меня не так охотно или не зовет вовсе.

Несколько раз я заставлял ее, сидящей в одиночестве перед экраном во время его выступления, а однажды она, едва расслышав мои шаги, тут же телевизор выключила.

Словно черная кошка пробежала.

Даже если я слушаю молча и потом тоже ничего не говорю, все равно она напрягается. Что-то изменилось в наших отношениях. И все из-за того, что я несколько раз критически высказался в адрес П. Словно мы вдруг сразу утратили то счастливое чувство духовной (и прочей) близости, которое соединяло нас. И все мои попытки восстановить утраченное разбиваются о ее непримиримость. Ее сухость и затаенность растут с каждым днем, даже взгляд стал каким-то уклончивым и недружественным.

Хорошо, пусть я не прав, и П. нисколько не изменился, а даже стал еще лучше, еще совершенней, и голос его, и весь образ просветляют и умиротворяют. Но если это так, то почему мы с Марией не можем удержать эту умиротворенность, и где эта светлая энергетика, которая прежде действовала на нас? Кто виноват в этом?

Даже если я допустил ошибку, то разве голос П., его образ не должны были бы примирить нас? Получается, я все-таки прав: в нем что-то не то, а несогласие Марии — лишь дань слепому упрямству, готовому отступить от истины в угоду самолюбию или еще чему-то. Это горько, это обидно, а любая попытка переубедить только еще больше усугубляет разлад.

С некоторых пор чем больше я слушаю П. и смотрю на него (а я делаю это все реже и реже), тем яснее мне моя правота. И тем больше мне слепота Марии. Но я готов все забыть и вообще не касаться этой темы, если бы она сменила гнев на милость.

Трещина, однако, только растет: Мария молча избегает меня, будто я чужой, а если все-таки удастся поговорить, то тут же спор и взаимное раздражение. Я не знаю, с какой стороны подойти к ней, чтобы встретить прежнее понимание и симпатию. И самочувствие такое, словно в чем-то провинился. В конце концов, разве человек не имеет право на собственное мнение?

Я ненавижу П.!

Ненавижу его голос, ненавижу белокожее лицо и золотистые волосы, ненавижу слащавость (да, и слащавость!) и женственность, ненавижу в нем все. Когда я слышу его замечательный голос (ввысь, ввысь!), у меня появляется нечто похожее на астму. Я задыхаюсь...

То, что он сулил нам, — сплошной обман. Он пообещал, а на самом деле оказался таким же

пошляком, как и многие другие. Мы отдали ему свои души и надежды, мы поверили в него — и что?

Мария считает, что он здесь ни при чем. Все дело в нас.

Верней, во мне (я все испортил).

Может, и так. Но я все равно ненавижу его. Ненавижу и Марию — за то, что она не захотела или не смогла мне помочь предотвратить эту ненависть.

Но больше всего я ненавижу себя. Жить же с этой ненавистью не могу и не хочу.

А голос, Боже, какой голос!..

Сладкая парочка

Они — пара.

Он — коренастый, чуть развязный, вальяжный, в каждом движении и фразе — насмешка. Она — высокая, быстрая, острая.

Не первая свадьба в конторе, но все равно — Радий и Ниночка. Сервиз им подарили немецкий, дорогуший. Когда отмечали в конторе (праздник!), кричали «Горько!» и все вроде по-настоящему. Совет да любовь. Приятное такое чувство — еще больше доверия и домашности, все вместе, хорошо. Как бы одна большая семья, в лоне которой есть еще и маленькая, без всякого «как бы».

Собственно, он и появился благодаря ей. Она — благодаря еще кому-то (известно кому, но это в прошлом, не стоит ворошить), а потом — уже он. Ничего необычного: кто-то за кого-то просит, кого-то рекомендует... Так даже лучше: крепче узы, лучше атмосфера, все по-семейному, поскольку всем друг о друге (и не только) известно.

Только известно ли?

Вдруг обнаруживается, что в бухгалтерский компьютер кто-то пытался влезть. Влезть-то влез, даже один уровень прошел (пароль), но потом увяз и то ли испугался, то ли что, но вышел неправильно, и компьютер это зафиксировал. Хотя могло быть и так, что бухгалтер просто неправильно его выключила или еще какой сбой, бывает. Поэтому во внимание приняли, но раздувать не стали, может, и не было никакой диверсии. Доверять людям всегда приятней.

Если бы этим все и кончилось, то, может, и не стали бы волноваться. Однако недели через две позвонили от провайдера и сообщили, что некто, назвавшийся Вадимом, сотрудником их фирмы, просил сообщить код для доступа к базе данных их почтового сервера. Переписка с провайдером была с обратным адресом их фирмы, но никакого Вадима у них не было.

Значит, кто-то назвался чужим именем и отправил письмо с их адреса. Это уже было куда тревожнее. Хорошо, провайдер проявил бдительность и ответил неизвестному, что может это сделать только с письменного согласия руководителя фирмы и копию всей переписки переслал Трунову.

Давно уже пора было принимать меры.

Трунов, он хоть и голова, и опытный (несмотря на доброту), но в иных вещах проявляет легкомыслие просто непозволительное — никаким добросердечием не оправдать. Для серьезной фирмы, как у нас (раскрутились), это может обернуться очень даже крупными неприятностями. Время нынче такое — конкуренция и прочее. А Трунов до конца понять не хочет, вроде до сих пор ничего такого не было, даже и сам без охраны обходится. Тоже легкомыслие. Ладно бы хоть какими-нибудь приемами владел, карате там или

дзюдо (тоже не спасает), а то ведь дунешь — улетит, и домой возвращается за полночь, ничего не стоит подстеречь, или даже в контору вломиться, никаких ведь мер безопасности.

Я ему так и сказал: «Вы, Александр Юрьевич, не правы. Уважать мы вас уважаем за смелость, ум и доброту, но терять не хотим, знаем, чем именно вам и вашему таланту обязаны. В том числе и тем, что у нас теперь не фирмочка, а фирма, а это кое-что значит. И все это понимают — и друзья, и недруги. Какие недруги? А это вы и узнаете только тогда, когда будет поздно. Кстати, может случиться так (не дай Бог!), что и вовсе не узнаете. И никакое это не преувеличение, зря вы улыбаетесь».

Действительно, зря он улыбался. Хоть бы фильмы смотрел, какие по «ящику» крутят километрами, и наши и западные, да и новости, там тоже можно почерпнуть, чтобы не особенно улыбаться. А он весь в делах, ему, понятно, не до «ящика», лучше он в теннис пойдет играть или с приятелями в сауне попарится, с пивком и с водочкой. Или на Багамы супругу вывезет, которая его почти не видит из-за напряженной работы.

Это все правильно, но ведь есть и другая сторона, вот она, налицо, кто-то же лез в компьютер с бухгалтерией, и что это за Вадим, назвавшийся сотрудником, который интересуется нашей базой данных?

Правда, теперь всегдашняя приветливая его улыбка уже не такая беспечная. Дошло, кажется, что могут быть и неприятные последствия. Но даже, скорей, не поэтому, а потому что — предательство. Это обычно спокойного и невозмутимого Трунова больше всего расстроило. Еще бы, в недрах их благополучной фирмы зрело что-то богопротивное, злодейское, грозившее разрушить так долго строившееся здание. И потом — раз-

дор, взаимные подозрения, ухудшение атмосферы. Нельзя допустить!

Тогда Трунов и сказал: «Что ж, Костя, раз такая пьянка, придумай что-нибудь, надо этого троянского червя, этот вирус искоренить, ты сам понимаешь. Вот и займись, чтобы мне об этом больше не думать, и без того проблем по горло, надо дальше двигаться, а не заниматься ерундой. Как выяснится, уволю сразу, без выходного пособия».

И посмотрел таким длинным задумчивым взглядом. Уволю...

Это Трунов не по жизни, а по своей интеллигентности. Сразу видно, человек в заоблачных высотах витает, в высших сферах — уволю, это что? Пойдет уволенный гулять себе, имея кое-какую информацию, которую надыбал и теперь может выгодно сбить за немалые деньги. Или в отместку за проявленную к нему жесткость еще что-нибудь придумает — лишь бы навредить. Да, смотрел бы фильмы или детективы почитывал на досуге, по-другому бы отнесся.

Я ему и сказал: «Если вы, Александр Юрьевич, меня уполномочиваете, то можете не беспокоиться, все будет в полном ажуре. Мне всегда хотелось настоящего дела, вы же знаете. Я ведь у вас работаю, не сочтите за грубую лесть, не только из-за денег, но и из-за хорошего отношения к вам лично. Просто вы мне нравитесь как человек. Только благодаря вам и атмосфера такая доброжелательная в нашей конторе, а я в разных местах работал, такой нигде не встречал, это, знаете ли, дорогого стоит. Это ценить надо».

Чистая правда, между прочим. Семья — и есть семья (особенно когда своей нет). Тут надо друг за друга держаться, а не раскачивать лодку. Не понравилось — уволился, это пожалуйста. Но рыть изнутри — совсем другое. Он правильно сказал: червь. Потому что низко и подло.

Я его, конечно, поблагодарил за доверие. Вроде как теперь — по нашему негласному договору — я уже не просто вахтер, а служба безопасности. Даже и звучит по-другому.

В общем, можете на меня рассчитывать, Александр Юрьевич.

К сотрудникам же нашим я давно присматриваюсь.

Хошь-не хошь, а коли сидишь всю неделю сутками в конторе, то и замечаешь невольно всякие странности или, как бы это сказать, особенности. Один жует постоянно, другой в игры играет на компьютере, третий из Интернета не вылезает, но не по делам фирмы, а по собственным, кто-то курить постоянно выходит или убегает куда-то на час или два-три. Кто-то треплется безостановочно или кроссворды решает...

Это все понятно: целый день на службе — тоже нелегко, а у каждого дела и вообще жизнь. У Трунова за это не преследуют, главное — чтобы дело делалось, не все же такие трудоголики, как он. Поэтому он и не следит, а только чтоб все шло как надо. Либерал. Хотя и уволить может, если на каком-нибудь участке провал. Тут факты сами за себя говорят. Не справляется человек — до свидания!

Ну и очень хорошо.

Но только не когда человек подкоп роет, как крот (червь), подрывая корни дерева, плоды с которого сам ест.

А к этой парочке у меня сразу возникло: парень этот Радий уж больно гладкий, улыбается, но неискренне, я это сразу почувствовал, а Ниночка — ох не проста, за ней хвост еще тот тянется. Даром что смазливая, хотя, на мой вкус, ничего особенного. Пристроивший ее человек сам потом пожалел, когда она уже с Радием была (до замужества), звонил Трунову, чтобы тот ее выгнал, на что Юрье-

вич не поддался опять же из-за своей интеллигентности и порядочности. Ну да, наставила тому Ниночка рога, разве это повод, чтобы ее увольнять, тем более что по работе у него к ней претензий пока нет? Бывшему ее, понятно, обидно: он ей то-се, на работу устроил, а она... Тут поневоле взбесишься, о чем говорить.

В общем, история та еще. Трунов-то не вникает. Посочувствовал приятелю, да и кончено, не будет же тот настаивать. А присмотреться поближе — на это у него ни времени, ни охоты. Зря, между прочим. Тут многое может крыться. Если барышня такая шустрая, она и не на такое способна.

Как, впрочем, и Радий этот. Ведь крутился вокруг нее, зная про того самого человека, который ее опекал. В общем, мутновато. Я это быстро почувствовал. Глаза у парня бегают. У Ниночки же наоборот — цепкие такие, жесткие. Улыбаться улыбается, а зрачок напряженный.

С одной стороны, вроде отношения к делу не имеет. Мало ли какие у нынешних нравы. И потом, зачем им, если они у Трунова как у Христа за пазухой? Знают же, что человек хороший, в обиду не даст, раз уж взял к себе. Вот и делайте дело да не сорите вокруг, что еще?

Так нет же...

На каждого пришлось папочку завести, в трудовую книжку заглянуть. Не побрезговал я и на прежнюю службу Радия позвонить, откуда он, оказывается, чуть ли ни со скандалом ушел. Ясно же как белый день — не ловит мышей, да и не рвется особенно. Ему и так хорошо.

Нет, не правильно это как-то. У каждого, конечно, свое понимание, но, на мой взгляд, службы безопасности должно касаться все. Даже и то, о чем разговаривают, где проводят время, с кем встречаются и прочее разное. На кого-кого, а на меня Трунов может положиться. Я не из тех, кто

забывает добро, помню, как он меня взял после прежней моей конторы, которая гикнулась в двадцать четыре часа, и я бродил, как волк, проживая последние копейки. Только тот и может оценить, кого задело. А эти свистуны, ну что они понимают? Им кажется, что к ним придут и все на блюдечке с голубой каемочкой принесут, как же!

В конторе я прямо с девяти, в костюме и при галстукке, сяду в свой закуток и изучаю бумажки, которые у меня собрались, в первую очередь на сладкую парочку. Интуиция подсказывает.

Конечно, можно заподозрить кого угодно, даже курьера Федю, все теперь в компьютерах доки (кроме меня разве), что в данном случае весьма существенно.

А еще Ниночка женским своим нюхом тоже что-то учуяла, вдруг ни с того ни с сего принесла мне дорогую финскую водку в резной такой бутылке — дескать, вот вам Константин Михалыч сувенир ко дню рождения. И откуда узнала-то про день рождения, никогда я в конторе не отмечал?

Да и что ей, казалось бы, вахтер и вахтер, никто ведь, кроме меня и самого Трунова про «безопасность» не знал, мы и слова-то этого вроде не произносили. Все как бы молча утвердилось, так что и подслушать невозможно. Ан вот тебе...

Может, она думала, что меня это расслабит, а все как раз наоборот... Только еще больше в подозрениях укрепило.

И Радий тоже стал (не почин ли подруги?) проявлять особую внимательность: раньше так, кивнет мимоходом, в знак приветствия, и дальше чешет — ни здарсьте, ни до свидания, а тут не просто «здравствуйте, Константин Михалыч» (это ж надо!), но еще и руку протягивает для пожатия — вялая, никакого мужества в руке, обходительный

однако! И улыбается. Правда, взгляд ускользающий, исподлобья. Натужный такой взгляд.

Опять же — с чего?

Можно подумать, что на курсы вежливости записался. Или?..

Тут уж я заволновался: а вдруг они мои бумажки просекли, хотя я их вроде и не оставлял нигде, сразу в портфель засовываю, если пойти куда или выйти. Впрочем, при желании можно и в портфель заглянуть (двери нет, да и ящики в столе без ключа). А там недолго и сообразить, зачем все, особенно если рыльце в пушку.

Хотя, кто знает, может, и без бумажек вычислили, по моему изменившемуся виду (пиджак и галстук, портфель черный из кожзаменителя), что я теперь не просто вахтер. Есть люди, очень приметливые к чужому статусу, именно к статусу — ни к чему больше. Тут для них все по-другому сразу...

Вот-вот, раньше я для них никто был и звать меня никак. Все равно что швейцар, пустое место... Трунов, тот хоть в делах своих (наших) закопался, а все равно всегда руку пожмет: «Приветствую, Михалыч» — по-домашнему, дружелюбно. Сразу настроение улучшается. Человек для него — не стена.

А эти... Ну и ладно, я не обидчивый, нет и нет. Только бы не вредили.

Ниночка же эта, между тем, не просто внимательность проявлять стала, но и вообще... Как бы ненароком заглянет, о косяк плечом обопрется, ножку стройную, с крепенькой такой лодыжкой вперед выставит и спросит что-нибудь эдакое, ласковое, к работе совершенно отношения не имеющее: дескать, люблю ли я ландыши?

Люблю-не люблю, какое это имеет значение? Во всяком случае, не по душе мне, что их рвут и потом продают на углах, хотя известно, что ландыши занесены в красную

книгу природы. Если б народ посознательней был, то и не покупал, тогда и рвать бы перестали.

«Правильно, совершенно с вами согласна, — кивает Нина, — жалко цветы, такие нежные... Трудно даже представить, что их может не быть». — И голосок подрагивает, чуть ли не со слезой.

Вот до каких разговоров дошло — о цветах.

А главное, смотрит так, словно я весь в шоколаде. Сладкий такой, прилипчивый взгляд, чуть ли не томление в нем...

Радий тоже заглядывать стал. Дескать, не хотите ли покурить? У меня вот «Пэл Мэл» есть...

Нужен мне его «Пэл Мэл», если у меня наша родная «Прима». Всегда ей как-то обходился. Но покурить, впрочем, можно, почему нет? Тем более что во время такого перекура кое-что и подузнуть можно, свеженькое. Так, про между делом. Ведь человек нет-нет да и проговорится ненароком, если что-то свербит, беспокоит что-то.

Так оно и произошло, словно в воду глядел. Ведь не с чего-нибудь начал, а именно с компьютера, дескать, вот, сколько антивирусных программ не делают, а вирусы все равно плодятся быстрее. Тут недавно к его приятелю вирус по почте пришел по электронной, так вся система полетела, пришлось заново переустанавливать. А он последний раз сохранял всё месяцев пять назад, так теперь беда — все последние свои файлы потерял, даже заболел от расстройства. И еще что-то про программы разные, слова всякие незнакомые произносит, будто с таким же, как сам, юзером (так, кажется?) разговаривает.

Нашел, однако, тему, со мной — про компьютеры, в которых я ни бельмеса. Про вирусы.

Нуда, там и топчется, где уже наследил.

А я смотрю на его пухлые губы и розовые щеки и думаю: сам ты, парень, вирус... И Ниночка твоя симпатич-

ная, с крепкой лодыжкой — вирус. Оба-двое вы. Так что сколько угодно можете мне зубы заговаривать, только я нутром чую: ваших рук дело. И то, что вы муж и жена, только почему-то еще больше меня в этом убеждает.

Все-таки любопытно, как это они меня вычислили. Будто «жучок» какой в кабинете у Трунова установили и тот наш разговор с ним слышали. Кстати, а почему нет? Это мы думаем, что никому не нужно, тогда как на самом деле. И «жучок» сегодня не проблема. Так что если надо, запросто могли и установить.

Я у Трунова весь кабинет облазил — и под столом, и за шкафами, под подоконником и везде... Правда, ничего не нашел, но ведь и не удивительно. С тех пор они его и снять могли или, допуская, настолько хорошо замаскировали, что и не найти.

Уже с неделю крутились они вокруг меня — до того возлюбили. Константин Михалыч то, Константин Михалыч се... «Интересный детектив?» — это Ниночка, заметившая у меня на столе книжку. «А как вы относитесь к Сименону?» — это уже Радий со своим дурацким «Пэл Мэлом», уже получивший от Ниночки информацию, что я люблю детективы. А на следующий день притаскивает мне целую кучу маленьких потрепанных книжечек, и не Сименон вовсе, а Маринина, Доценко, Акунин — широкий такой жест, нате, читайте вот. Дал понять, что до Сименона и тем более Ле Карре я не дорос.

Интеллектуал!

Я и не уклоняюсь — пусть повертятся, пока мне еще кое-что выяснить надо. Есть еще немного времени.

Правда, заискивание их меня уже доставать начало. Умные-то умные, а вот достоинства ни на грош. А ведь еще ничего, собственно, не произошло, все как прежде, я ни намеком не дал понять, что их дело швах. Они же сами

себя выдают — своим заигрыванием со мной. Слепым надо быть, чтобы не видеть. Как кролики — лезут прямо в пасть удаву.

Мой закуток, когда они заглядывают ко мне, наполняется гнилыми парами страха. Страх гнездится в глубине их глаз, выбрасывается через поры кожи. Даже жалко их иногда.

Можно, конечно, забыть все, благо никаких больше посягновений не было — Трунов, похоже, так и сделал. Ему некогда и неохота заниматься «ерундой», как он сказал. Только вирус если и не дает о себе знать, не проявляется никак, то это вовсе не значит, что его нет. Просто затаился и готовится к новой атаке. Ждет удобного случая.

Только, думаю, до этого не дойдет.

Либо они — либо я.

Верней, мы, то есть контора наша во главе с Труновым. Без меня ему все равно не устоять, раз уж за него принялись. Да я и не отделяю себя. Мне и слов никаких не треба. Трунов пусть занимается своим делом, а я буду своим. Сколько я ждал этого момента, вот-вот, казалось, случится — и тогда... Тогда и я пригожусь. Сумею расплатиться за доброту. Даже по ночам снилось: погони там, взрывы, перевернувшиеся машины, автоматные очереди... И мы с Труновым. У него лицо испуганное: что делать?

Ничего, прорвемся...

Он помог мне, я помогу ему. У меня даже в гороскопе написано: верность. Не за страх, а за совесть. Такие, как я, не предают.

И пусть они сколько угодно меня обхаживают, все равно без толку.

Ниночка на скамеечке после работы, глаза на мокром месте. Платочек беленький прикладывает. «Константин Миха-алыч...» Слезы ручьем...

Что такое?

С Радием поссорились, тот говорит, что она ко мне равнодушна. Три дня уже дома не ночевал. У них такое впервые. Конечно, бывают кризисы, особенно в начале семейной жизни, да только...

Ну-у, артисты! Я-то тут причем? Или она мне польстить хочет, что парень ее ко мне приревновал? Ищет лазейку в душу?

Милая, да я ж все про тебя знаю, и про того (тоже гусь), кто тебя пристроил к Трунову, и как ты ему рога наставляла, и вообще все, так что грош цена всем этим твоим женским маневрам. Смешно даже... Ну, играй, играй, совсем немного осталось. Лодыжка у тебя крепкая, как у деревенской, а душа... Гнили в вас много, избалованные, легко вам жизнь достается — а все почему? А потому, что страдания не знали, так чтоб мир рухнул и ты под обломками, из-под которых надо выбираться. Трудно выбираться. И жить потом, познав эту тяжесть, мучительно и сладко — другая всему цена. И жизни, и смерти.

Радий: «А если я ее разлюбил?»

Курим на этот раз «Бонд», красно-белая пачка. На столике пятизвездочная «Гянджа», тарелки с лобио.

Ему кажется, что он ее разлюбил. Или даже не любил. То есть сомневается, что любит.

Глаза набрякшие, румянец исчез, под глазами мешки. В офисе почти не разговаривают — отчужденные оба, не смотрят друг на друга, проходя мимо.

«Может же человек ошибиться?» Еще бы... Только не в таком случае: женщина, которая плетет у тебя на глазах интригу, кого-то водит за нос, пусть даже ради тебя, разве можно ей потом доверять?

Я смотрю на его кислую, побледневшую мину и внезапно огорошиваю: «Слушай, признайся честно, чего тебе понадобилось в бухгалтерском компьютере?»

Высоко поднятые брови, плохо сыгранное недоумение (под ним растерянность): «Какой компьютер?»

Ладно, еще по глотку — и по домам. Ничего, перемерется — мука будет.

В какой-то момент мне их действительно вдруг жаль стало: запутались ребята совсем, ой, запутались... Сами не понимают, что творят. Везде наследили, а теперь еще и промеж собой. Что-то неправильное в них. Кривое.

Трунов отмахнулся, когда я ему про них намекнул: да брось, зачем им?

Тогда я и подумал: а может, и в самом деле — пусть их... Сами себя же и накажут — за все. Уже наказывают. Так что, глядишь, и без меня обойдется, каждый сам кует свою судьбу.

Теперь, когда они приходили на службу и ко мне заглядывали (каждый по отдельности, несчастный), я смотрел снисходительно, как бы причастный к высшей силе. Не ведали они, что их уже накрыла тень, а я это видел отчетливо и мог только посожалеть о загубленных зря молодых жизнях.

Так бы, может, и сошло все на тормозах, если бы не случай.

В метро я ехал, и вдруг вижу в соседнем вагоне — они, Радий и Ниночка. Вместе. В обнимку. Вот те на, думаю, нешто все наладилось? И так ведь бывает: иной раз, кажется, из мельчайших осколков все восстанавливается. Ладно, пускай. Худой мир, как говорится, лучше доброй ссоры. Даже любопытно стало, как теперь будет. Выходит, не прав я был, что вирус, он и самого человека съедает — стоит только поддаться.

И что вы думаете? В офисе — все по-прежнему: продолжают дуться друг на друга (то один, то другой поплачется мне в жилетку), не общаются почти и вообще как чужие. Особенно при мне. И с работы уходят в разное время, вроде как чтобы не вместе.

Что ж, нельзя не отдать должное их сообразительности. Ведь все у них почти получилось: я если и не поверил до конца, то был близок к этому.

Теперь, когда их нет, я иногда думаю: высшую силу, как не крутись и не изощрайся, все равно не объедешь, на каком-то витке она свое возьмет, хоть ты семи пядей во лбу и хитрости в тебе немерено.

Ушлые были ребята, сладкая парочка...

Опекун

Они стоят рядом — С.В. и Т.Т. Оба улыбаются, С.В. самодовольно и уверенно, Т.Т., пониже его ростом, старенький, в какой-то смешной доисторической шапке пирожком, с большой седой бородой, смущенный, очки проволочками зацеплены за уши (вечно сломанные дужки).

Будто из другого века.

Фотография не очень старая, но уже чуть пожелтела, да и не очень четкая. Вроде как свидетельство их близости.

Так и свидетельство?

Сфотографироваться вместе — в чем проблема? Сунуть кому-нибудь в руки аппарат — вот и снимок. Т.Т. не откажет, он никому не откажет, такой интеллигентный. Только бы не огорчать или не ставить в неловкое положение. А кое-кому, даже из тех, кто тоже побывал у него в учениках, можно бы. Разные, многие теперь высоко летают, очень высоко, но вот

чтобы с каждым фотографироваться — это напрасно. Можно ведь и репутацию испортить.

Загадочная фигура, этот С.В.

То есть известно, что тоже у Т.Т. учился, но не как все, то есть не был его выпускником, а просто брал уроки перед поступлением в вуз (не он один), но вот что ему от Т.Т. нужно — непонятно. Из всех учеников, пожалуй, только он единственный и общался с Т.Т. последние годы, с тех пор, как тот совсем ушел из школы и переехал жить на дачу, отдав свою двухкомнатную квартиру кому-то из родственников.

Дача не бог весть, но жить можно, отопление газовое, печку топить не надо, и вода горячая есть (газовая колонка). Клозет теплый. В общем, не намного хуже городской квартиры, зато воздух, природа, тишина. На старости лет самая благодать. Выйти по утрам на девственно чистый, искрящийся на солнце снежок или на согретую летним ласковым солнышком травку перед домом — наслаждение!

Т.Т. же если что и нужно теперь, то только покой и еще раз покой. К тому же и мыслится тут отменно. Т.Т. что-то такое пишет, то ли мемуары, то ли что... В Москву совсем перестал ездить, разве только по острой необходимости, в поликлинику или в сберкассу, да и то С.В. взял на себя большинство бытовых забот — зайти куда-то, книгу привезти или что, благо доверенность есть и на колесах. И продукты таскает, хотя Т.Т. еще не такой беспомощный, магазин в поселке есть, теперь с этим куда проще...

Только ведь про все может забыть, включая еду, так, зажевать на ходу что-нибудь простенькое, и ладно. Много и не требуется, и всегда после смерти жены, за ним приглядывавшей, жил аскетом, в быту непривередлив, не привык себя баловать. Другие интересы у человека, другая философия жизни (поколение)...

Что же касается учеников, большинство в люди выбились, кто ученый, кто практик, а иные ударились в бизнес или политику, есть и знаменитости. Достойные люди. И все-все ему признательны, как никому. Умел он создать соответствующую атмосферу, что не только соперничество, но и взаимопонимание, сотрудничество, взаимовыручка.

Школа, одним словом.

Правда, надо сказать, последнее время, с тех пор, как он совсем отстранился от преподавания и переехал на дачу (лет десять), подзабыли малость о нем. Верней, нет, не подзабыли — помнили, но у каждого свои дела, заботы, время такое, что не задремлешь, крутиться приходится. Уже и дети собственные выросли, а у иных и внуки. Когда перезванивались (изредка) или встречались (еще реже), то непременно вспоминали Т.Т. (как без этого?), кто что знал, тем и делился. И всем известно, что живет он почти безвыездно на даче, пописывает вроде, прибаливает (возраст), но в общем молодцом, и хорошо бы навестить...

Собственно, вся основная информация шла, как выясняется, именно от С.В., которого никто толком не знал, да и по возрасту моложе всех. Вот он-то и решил всех обзвонить (откуда только телефоны надывал?): дескать, Т.Т. занемог и хотел бы собрать кое-кого из своих бывших воспитанников.

И прежде старик, оказывается, интересовался ими, а теперь вот изъявил желание повидаться. Ничего удивительного, сколько уже стукнуло ему (чуть ли не семьдесят), лета к сентиментальности клонят, а для любого учителя ученики всегда очень много значат, особенно если своих детей нет.

Так и представлялся по телефону: С.В., ученик Т.Т., помните такого? Привет вам от него.

Еще бы не помнили.

И все-таки неплохо бы разобраться, почему, собственно, С.В.? И почему никто о нем ничего не слышал, ни от самого Т.Т., ни вообще? Были ведь любимые ученики, на которых возлагались надежды. И, надо сказать, многие оправдали (чутье). Были и просто милые его сердцу школяры, даже не по причине одаренности и перспективности, а просто. Никто, однако, в таких близких С.В. не помнил, а ведь некоторые (несмотря на дружбу) даже ревновали Т.Т. друг к другу и наверняка бы знали о новом его любимце.

Загадка.

Конечно, времени прошло довольно много, всякие события могли заслонить, не до того. А тут вдруг объявился, и такая активность! Причем именно на закате жизни Т.Т., хотя именно теперь старику, наверно, это особенно и нужно. Помочь даже просто физически. С.В. же находил время и силы ездить два, а то и три раза в неделю к нему на 43-й километр.

Впрочем, ездил и ездил, может, у них действительно установились достаточно близкие отношения, ближе, чем у кого бы то ни было. Якобы С.В. даже записывал его воспоминания, а Т.Т., надо сказать, было что вспомнить: дореволюционный университет, лагеря, увольнения, восстановления... Интересно. Хотя мемуаров этих (про лагеря и пр.) нынче пруд пруди, да и неудивительно, если полстраны через них пропустили.

В общем, типичная российская жизнь, печальная и всяко-разная, не столько жизнь, сколько выживание, что тогда, что теперь, хотя Т.Т. в конце жизни несколько раз награждали, даже заслуженного дали, только ведь дорого яичко к Христову дню, да ему это, похоже, не нужно — проехали.

С.В. же, оказалось, вел картотеку, где все ученики Т.Т. (с фотографиями, которые он где-то откопал,

причем не только школьными, но и более поздними). Кому-то он по телефону сообщил, что они часто сидят с Т.Т. на крыльце и разговаривают о жизни. Видно, Т.Т. действительно сильно изменился и постарел, раньше-то был довольно молчалив и не любил отвлеченной трепотни («Болтун — находка для шпиона» — любимая поговорка). То есть мог, конечно, и поговорить, но неохотно и в основном по делу. Впрочем, к старости, известное дело, многие, даже самые неразговорчивые неожиданно становятся довольно болтливыми.

И все-таки...

Неужто и впрямь такой бескорыстный? Не верилось почему-то. Наверняка что-то ему от Т.Т. нужно было.

Кто-то высказал предположение: дача... Не мог ли С.В. иметь какие-то виды на дачу Т.Т.?

Простое такое объяснение, для нашего дикого времени ничуть не удивительное. Люди бьются за металл, за жилплощадь, за все, что хоть какую-то имеет ценность и что можно ухватить в собственное владение. Прихватизировать. Кто-то, однако, может достичь этого с помощью способностей и творческой инициативы, а кто-то подковерными методами, интригами разными и хитростью. Впрочем, с С.В. эта версия быстро отпала, поскольку дача принадлежала, как оказывается, не Т.Т., а какому-то ученику, временно обретающемуся за границей. С.В. тут ничего не светило.

Не исключалось, что таким образом, через Т.Т., надеялся он выйти на нужных ему людей (для чего-то) именно среди учеников (тот депутат, этот академик, а тот еще кто-то). Чем больше версий, тем загадочней становилось присутствие С.В. возле Т.Т.

Впрочем, что ему стоило воспользоваться близостью этого замечательного ума для подготовки, поло-

жим, собственной докторской? Такое ведь не раз бывало. Скучно, но тоже не исключено. Хотя это как-то перестало увязываться, когда оказалось, что С.В. писал докторскую (все-таки писал) совсем в другой области. Конечно, и это не отменяло полезной близости Т.Т., даже если и в другой области: идей у старика не занимать.

Как ни крути, а было что-то в опекуновстве С.В. если и не впрямую лукавое, то во всяком случае заинтересованное. Не просто же так? Все это чувствовали, хотя и назвать точно причину пока не могли. На месте, наверно, это могло бы проясниться быстрее.

С.В. и Т.Т. встречали их на крыльце дома, на возвышении, но даже, несмотря на это возвышение, седовласый Т.Т. показался им маленьким и совсем усохшим, особенно рядом с дюжим розовощеким С.В.

Т.Т. опирался на палочку и, склонив голову набок, близоруко шурился сквозь толстые стекла очков на медленно подходящих к дому бывших учеников. Процесс этот напоминал какой-то неведомый ритуал: Т.Т., приглядываясь и постепенно узнавая, называл подходящего к нему по имени и фамилии (память!), и тот, смущенно приподняв плечи, крепко жал ему руку или обнимал, ощущая слегка затхлый запах одинокой старости.

Запах безнадежности и печали.

На лице же С.В. светилась такая лучезарная и, можно сказать, просветленная улыбка, словно его самого только что наградили орденом. Он гордо возвышался рядом с Т.Т., в полкорпуса повернувшись к нему, но взгляд, в котором и вправду светилось не совсем понятное торжество, был обращен к подходившим, скользил по лицам, узнавая и не узнавая (вряд ли он мог знать всех в лицо, хотя тут были известные фигуры, не раз появлявшиеся на экранах ТВ). То ли он так

искренне радовался, что организованная им встреча удалась (в этом не было сомнения) и Т.Т. не в кровати (хоть и слабенький), а вполне в силах стоять и даже выдерживает всю тяготу приветствий и объятий, всю переживательность ситуации. А главное — что ему удалось сделать приятное Т.Т., тот и впрямь рад был видеть когда-то вылетевших из под его крыла, из гнезда его школы птенцов, давно уже ставших важными птицами.

Важные-то важные, но ведь прилетели же по его зову.

Все это, конечно, замечательно, однако было во всей этой, по общей оценке, удавшейся встрече, с дружеской выпивкой (даже Т.Т. пригубил, хотя ему категорически запрещено), воспоминаниями, взаимными признаниями и сожалениями об упущенном, саморекламой и самоумалением, в общем, как обычно бывает на таких встречах, да, было в ней нечто смущающее и настораживающее. И это нечто крылось именно в фигуре С.В.

Чего он хотел, чего добивался, собирая их всех около дряхлого, усталого, больного, тяжело дышащего человека, их бывшего учителя, на короткий миг вынырнувшего из уже относящей его куда-то в неизвестность потока жизни? Что означала эта его победная улыбка?

Ну да, он рядом с Т.Т., тогда как они все пришлые, хотя и многим обязанные. Очень многим. Он как бы сливался, совмещался отчасти с Т.Т., который частенько поворачивался к нему, как бы спрашивая, то ли и так ли он делает, не исказил ли чью-то фамилию, не ошибся ли в имени, в общем, все ли происходит правильно.

И, надо сказать, задевало — ведь он, Т.Т., учитель, всегда казался им если и не идеалом, то все равно

недостижимым образцом, человеком, на которого они все, кто бы чего ни достиг, невольно оглядывались, чьи интонации и взгляды впитали в свой душевный строй, даже если не всё принимали и с чем-то (со многим) не соглашались. Как бы там ни было, Т.Т. все равно оставался чем-то особенным (при всех своих человеческих свойствах и даже слабостях). Все это чувствовали. И вот невольно С.В. оказывался здесь самым значительным лицом, что многим не нравилось (по какому праву?). Ну, помогает он Т.Т., и отлично, так сложилось, а могло быть иначе. Мог бы и каждый так, а если и не каждый, то некоторые точно могли бы. Ничего в этом такого.

Глядя на фотографии с той встречи, многие испытывали почему-то тягостное ощущение, а потом, вспоминая тот день, убеждались в этом ощущении еще больше. Настороженность настроенностью, связанная с С.В., — это одно, а было и еще нечто, труднообъяснимое и тоже неотрывное от С.В., но и отчасти и даже в большей степени от Т.Т. Старый он был на фотографии, и вид какой-то бомжеватый, не такой, как когда-то, во времена их юности, и запах был (всплывал) старческий, будто архивной сырой пылью или подвалом жилого дома попахивало. Чужой дом, все чужое, хорошо хоть не казенное...

Печальный такой вид, словно человек одной ногой уже не здесь. Живой, но как бы уже и не совсем. Одной ногой где-то...И у каждого чувство если не вины, то чего-то очень горького. Никто ведь не виноват, что он старый (все стареют) и неухоженный (со многими бывает), все подходят к этому рубежу (а иные и не доходят), с большими или меньшими потерями, но все равно неизбежно, что ж делать?.. И им, и каждому то же предстоит, может, еще и хуже. Никому не уклониться. У Т.Т. хоть ученики, постарше,

помладше, разных лет (есть и совсем молодые, вроде С.В.), и все его помнят, все признательны ему... Многим ли из них такое суждено?

С.В. рядом на фотографии (победно улыбается). Ну да, удалось ему все устроить. Что говорить, молодец, конечно, что не оставляет Т.Т. (зачтется ему), только стоит ли уж так гордиться?

Впрочем, может, он чему-то другому улыбается? Просто от молодости, от силы (все впереди)? Так, да?

А только все равно гордиться не надо! Не надо гордиться!..

Втроем

Только ему уходить, как у нее опять приступ.

Сколько раз уже так: едва ему предстоит что-то приятное, для души, встреча какая-нибудь или даже деловое свидание (однако с еще чем-то увеселительным или даже без), у нее сразу что-нибудь не так, сердце или почки, или просто общее состояние, и даже иногда срочно приходится вызывать скорую.

Правда, бывало это и после, особенно если он приходил поздно, часов в двенадцать ночи или даже в два, оказывается, она не спала, волновалась («Почему не позвонил?»), и если он молча проходил к себе на диван, то громко вздыхала, а в середине ночи, когда уже пятый или какой там сон, начиналось — и надо было продирать глаза, искать лекарство, наливать воду, мерить давление и т.п.

Ей действительно тяжело: в лице ни кровинки, губы обметаны, под глазами темные полукружия, и взгляд (одни глаза, без лица) — затравленный.

«Хорошо тебе, у тебя все в порядке...»

Ну да, конечно, лучше, чтобы у него было не в порядке...

«Нет, я не это имела в виду...»

Третий месяц уже она с инсультом (частичный паралич), и он должен постоянно быть при ней (если не на службе) — принести, подать, поддержать, в общем медбрат, что ж делать, раз так случилось, все под Богом, сегодня она, а завтра, кто знает, может, и он (лучше не надо!). И у него, случается, побаливает сердце, особенно после бессонной ночи, только вряд ли было бы лучше, если б и он тоже. Двое больных, особенно лежачих, — ох!

Да, и у него что-нибудь барахлит, бывает, он старается не придавать этому значения, нельзя расслабляться, но иногда и просыпаться не хочется: резкий запах лекарств, неизвестность будущего, ее жалкое состояние (беспомощность), дать попить из чашечки с носиком (меньше проливается), подставить судно, покормить с ложечки, лекарства...

Что же делать, что делать...

Тяжко, конечно, видеть, как человек превращается на глазах в инвалида, медленно уходит, истаивает жизнь, а ведь совсем недавно, казалось, совсем молоды были (она старше на семь лет, но тогда этого совершенно не ощущалось), и кто бы думал, что так повернется.

Потом, правда, эти семь лет разницы вдруг стали давать себя знать, не в смысле здоровья, нет, в другом: она стареет быстрее, чем он. Сама как-то сказала.

Странное слово: стареет. Понятно, годы идут, но почему «стареет»? Стареть — это где-нибудь после семидесяти, ну после шестидесяти. И то зависит от самоощущения.

Он в ней этого не замечал — какая была, такая и есть. Когда вместе, рядом, не видишь (тем более если не хочешь видеть). Не надо бы и говорить — не наводить на мысль. Не провоцировать. Она же не удержалась. Но дело даже не в этом.

Если она стареет быстрее, то он, как более молодой, имеет, значит, и больше возможностей. То есть больше соблазнов его подстерегает, особенно если он без нее. Где-то *там*, где он без нее. Стоит выйти за порог.

Ну да, если кто-то стареет, а кто-то нет (или стареет не так быстро либо не так заметно), то кто не стареет — на коне.

А разве можно быть все время вместе?

Ревность. Самая натуральная.

А теперь у него еще больше этих самых возможностей, поскольку он в основном не дома, а где-то (на работе). Но бывает, что и зайдет к кому-нибудь (как без этого?) или с кем-то повстречается из старых приятелей (глоток вольного воздуха). Ему нужно. Чтобы без запаха лекарств. Без щемящей жалости. Без вины — что ты здоров (относительно), а кто-то (человек) болен.

В остальном же только время и терпение, хотя тоже неизвестно, восстановится ли все, будет ли человек (Господи!) как прежде.

Эк ведь: человек! А прежде кто?

Жена, любовница, подруга... Не то.

Просто близкий. Имя. Лицо.

Недуг отменяет частности, оставляя главное (а в главном — ущербина): человек. Вообще. А это уже медицина.

Когда его нет, с ней медсестра Надя. Молоденькая, лет двадцати трех, не больше. Светлые, чуть ры-

жеватые волосы (челка, хвостик, перехваченный резинкой), млечное, как у многих рыжеволосых лицо, на носу припудренные веснушки. Личико простое, чистое, голос негромкий, немного вкрадчивый.

Ласковая.

Свитерок светлый, брючки в шахматный квадратик, халатик белый — на всякий случай (надевает для процедур).

Им ее порекомендовали (за кем-то уже ухаживала), и вправду милая. Все делает прилежно, не в чем упрекнуть, никогда ничего не забудет, сама ищет, что бы еще сделать, как помочь.

А главное, с ней просто — разговаривать (все понимает с полуслова), встречать, провожать, договариваться. Уже не раз выручала его, когда было необходимо. И всегда с охотой, без этого противного — что вроде как одолжение (или с расчетом на дополнительную мзду). Если может, то может, а если не может, то непременно постарается, и уже не раз было, что ей удавалось. Даже обед сготовит, хотя это в ее обязанности не входит, и они вдвоем едят на кухне, она как бы и за ним ухаживает (попутно).

Да, иногда они вместе обедают или пьют чай, с Надей, прикрыв плотно дверь в комнату больной. Вот же, молодая, можно даже сказать, юная девушка — и такая самоотверженность. Не в деньгах же только дело, хотя и они на многое могут подвигнуть? Все-таки нечто большее тут, натуральное, не вымученное, настоящее. Ласковость. Заботливость. Внимание.

И не только к больной, но и к нему, здоровому, будто он тоже. Больной не больной, но требующий особого внимания. «Вы обедали сегодня?» «Что-то вид у вас сильно уставший, пошли бы отдохнуть, я все сама сделаю».

Приятная, обволакивающая такая забота, и опять же бескорыстная, теплая. Редкое явление в наше эгоистическое время. И он вдруг чувствует, как устал и как ему хочется отдохнуть, но он уже вроде и отдохнул — благодаря ей. То есть физическая усталость осталась, а вот с души часть груза как бы спала, теплая такая убаюкивающая волна, освежающий ветерок, в дрему и сон клонит. Если бы еще и прохладную ладонку на голову положила, то совсем как в детстве. Он и не предполагал о возможности такой заботы: болеть некогда, думать о себе некогда, вообще все некогда, а тут вдруг...

Надя чай заваривает так, что он красный, как петушиный гребешок. И вкус чая — настоящий. И сердце после чашки (принесла свою, большую, с красивой золотистой розой) такого чая бьется сильно и ровно, в голове удивительная ясность, в душе умиротворенность, словно все в жизни уравновесилось и утихло.

Действительно чувствуется, как спадает напряжение жизни, и что там, в комнате, тяжело больной человек (жена), тоже не так давит и мучит. Все-таки под присмотром: близкий человек (муж) рядом, и Надя, тоже не совсем чужая, как-то естественно вошла в их жизнь, что он чувствует ее присутствие как необходимость, а если ее нет, то сразу ощущение пустоты.

Она большей частью молча лежит, но глаза ее живут как бы совершенно отдельной от лица жизнью, в них страдание и некая упорная мысль, именно к нему будто бы обращенная. Словно просьба, которую она не может или не хочет высказать словами, а как бы силится передать на расстоянии. От усилия этой мысли в краешках глаз у нее собираются слезинки и потом медленно скатываются по щекам, оставляя влажный бледный след.

Любая болезнь погружает человека в одиночество, и чем тяжелее недуг, тем глубже и неохватней это одиночество, тем неодоливей оно. Он это чувствует, видя ее затравленный, загнанный внутрь взгляд, которым она пытается разглядеть что-то в себе (в нем), имеющее отношение к болезни и к тому, что ее ждет. Еще в ее взгляде упрек, который тоже обращен к нему (или судьбе, или к ним обоим), вечный упрек больного к здоровому, ибо как ни близки люди, болезнь неизбежно отделяет и отдаляет их друг от друга.

Когда он выходит из комнаты, то ловит на себе этот полный тоски и обреченности взгляд, а возвращаясь, видит не радость, а отчужденность, словно они расставались надолго, на много-много дней и месяцев.

Раньше такое тоже бывало: он уезжал в командировку или в дом отдыха, и с ней обязательно что-то случалось, из-за чего ему даже приходилось возвращаться: то она ломала себе ногу (не нарочно же), то могла чем-то отравиться (грибы), то теряла ключи и не могла войти в квартиру, то еще что-нибудь... И он, только-только начинавший адаптироваться к новым условиям и, так сказать, к новой степени свободы, сломя голову летел назад.

Теперь же, уходя и возвращаясь, он всякий раз испытывает чувство вины. И влажный взгляд, обращенный к нему, и невысказываемая, но вполне прочитываемая мысль в этом взгляде лишают его спокойствия.

Странно, но именно Надя (и пожалуй, только она) способна восстановить равновесие. При этом девушка не совершает ничего особенного, просто ее отношение ко всей ситуации настолько естественно и просто (как дважды два), что даже и сомнения не возникает, что может быть по-другому. Ну да, человек болен, жалко человека, но ведь все болеют, а некоторые очень серь-

езно и даже безнадежно, а бывает, что и с очень сильными мучениями, никто, увы, не застрахован.

Приветливо и ласково улыбается она, входя в комнату больной, ободряюще улыбается, когда делает необходимые (не самые приятные) процедуры. Увы, такова ведь человеческая природа, уязвимая для всяких недугов. У кого она крепче, у кого слабее, но подвержены все, независимо от заслуг и статуса. Все-все. А если кто и не болеет (или почти), то все равно не избежать общего человеческого удела, потому скорбь не должна заслонять реальности, печаль отнимать радости, и вообще все должно быть естественно, без судорог и отчаяния.

А главное, странной властью обладает эта девушка. Ведь всего этого она, понятно, не говорит, однако выходит именно так, как если бы она это говорила. То есть он понимает, что так и должно быть, как она велит этой тайной своей властью и невольно, даже с радостью подчиняется: чувство вины исчезает...

Говорить же она могла про что угодно: погоду, собак и кошек, которых особенно любит, телевизионные передачи, только что прочитанный детектив или женский роман, все вызывает у нее интерес и какие-то свои суждения, но важно другое: все это лишь оболочка, а внутри, в самой сердцевине, на все налагающий свою печать, — этот покой, даже кротость по отношению к жизни и всем ее невзгодам. Болезнь, ну что ж, да, болезнь, значит, надо лечиться, надо принимать как есть... Что толку расстраиваться? Лучше от этого все равно не будет, правда же?

Простой такой подход, но в нем мудрость. Верней, даже не в нем, а в той естественности, с какой она его демонстрирует.

Собственно, все, что происходит, — в порядке вещей, поскольку к этому шло и, наверно, по-другому

быть и не могло, ведь тайная власть (можно ведь трактовать и так) Нади, совершенно естественная, — это и есть власть жизни, внутри себя чрезвычайно простой. И стремящейся к равновесию, верней, к уравниванию разных начал.

Короче, в какой-то миг он вдруг обнаруживает, что торопится домой, причем торопится даже с каким-то приятным чувством, радостью не радостью, но и не с тоской, без желания (тайного) свернуть в сторону, притормозить на каком-нибудь углу, засмотревшись в витрину магазина или на афишу кинотеатра, взять бутылку пива покрепче (а то и две) или шкалик коньяка и медленно тянуть из горлышка, примостившись на скамейке неподалеку от дома и куря одну сигарету за другой. Что ему не надо преодолевать, пользуясь для этого любыми уловками, некий барьер, тоже естественный, поскольку жизнь стремится отделить от себя все, что связано с необытием или даже только намеком на него, обузданием и ограничением.

Так вот, он спешит домой, потому что... ну потому что там она, медсестра Надя, двадцати трех лет (на тридцать лет его моложе), с вязаньем в руках (поблескивающие спицы быстро-быстро мелькают), умиротворяющая такая домашняя сцена, чайник булькает на кухне, тихо наигрывает музыка по «Орфею» и даже, чудится, меньше пахнет лекарствами, почти совсем не пахнет, жизнь вытесняет нежизнь (а болезнь и есть нежизнь)...

Как ни горько сознавать, что происходит нечто непоправимое, чудесное, печальное, восхитительное, тревожное, загадочное, дивное, оно и происходит. И все понимают это и ничего не могут изменить. И никто не думает о будущем. У Нади в глазах какой-то особенный блеск и малиновый перезвон в голосе («Пора делать укол»), у него тихая скорбная нежность

в лице, но в то же время и решительность («Принести что-нибудь?»), и две влажные серые полоски на бледной коже, замкнувшийся в себе взгляд и усилие обращенной к нему (к ним) мысли...

Их — трое, сомкнувшихся в противостоянии-согласии (двое плюс один).

Они втроем.

Не сказали

В том смысле, что слова — опаснейший инструмент, которым пользоваться следует очень осторожно.

В нашем случае эти слова еще не произнесены. Вопрос, перед которым встали в тупик герои рассказа, — произносить ли их? Они ведь всегда врасплох, всегда как гром среди ясного (или неясного) неба. Они печальны, эти такие в общем-то обычные и вместе с тем обжигающие (или, напротив, обдающие холодом) слова, к ним никогда нельзя привыкнуть, за ними неодолима правда сего мира — что все живущее в нем конечно, даже человек.

Кай смертен, все люди смертны, следовательно, Кай — человек?

Кай — это вроде как мы все. Псевдоним смерти, которая ждет всех, даже тех, кому этот общий итог земных странствий и забот кажется несправедливым (особенно по отношению к ним). Что же касается бессмертия души, то этот вопрос мы оставляем в сто-

роне для отдельного обсуждения, поскольку сюжет у нас несколько иной.

Так вот, три брата внезапно узнают о смерти родного дядюшки, брата их любимой престарелой матушки. Матушка как раз сильно прибалывает (возраст), не встает с постели и каждый день сообщает живущему с ней младшему (Валериан), что ночью чуть не умерла — так ей было плохо. Она вообще последнее время (года три) часто думает о смерти (и чувствует ее приближение), а потому вечером принимает снотворное, чтобы ночью не просыпаться (ночью мысли особенно прилипчивы и тоскливы). Если же ей все-таки не удастся уснуть или она просыпается, несмотря на снотворное, то она думает и о смерти, и о жизни, и о них, своих сыновьях, которым отдала всю себя, и о других родных людях, в первую очередь о младшем любимом брате, то есть о том самом дядюшке.

С братом они очень близки, несмотря на то, что он жил в другом городе (где и умер), она, пока были силы, нередко ездила погостить к нему в Ригу (брат всегда встречал ее), а когда стало тяжело (сердце), то вместо него — его дочь с мужем. Он тоже, пока был здоров, навещался к ней, и тогда его обычно встречал кто-нибудь из племянников, из трех братьев, на машине или без, и дома для него мать держала семиструнную гитару, на которой в их семье только он и умел играть.

Странно, но там, в его городе, у него почему-то не было гитары, и он чуть ли не сразу, едва обменявшись с сестрой новостями, еще пахнувший поездом и дорогой, накинув опять же специально для него висевшую в шкафу темно-зеленую пижамную куртку, усаживался с этим музыкальным инструментом на кушетку в ее комнате (тоже специально для него) и начинал импровизировать.

Он мог сидеть так долгими часами, не вставая, перебирать струны, низко склонив к ним голову, словно прислушиваясь к чему-то там, за звуками, за мелодией, только ему слышимой, но иногда на него находило настоящее вдохновение, и он заполнял их небольшую квартирку бурными аккордами каких-то лишь ему известных пьес (возможно, только сейчас сочиненных). У него красиво получалось, даже за стеной, и братья прислушивались (хотя иногда и злились, когда мешало).

Еще дядюшка учил их всяким техническим штукам, поскольку был в этом большой дока, у себя в Риге он работал в каком-то КБ, матушка показывала им даже вырезку (пожелтевшую) из тамошней газеты, где про него было написано, какой он талантливый изобретатель и сколько у него разных патентов, заинтересовавших даже зарубежных специалистов.

Вообще же дядюшка был немногословен, сумрачен, постоянно сосредоточен на чем-то своем, каким и должен быть настоящий ученый или изобретатель, а потому рассеян и непривередлив в быту, так что матушка зашивала ему прорванные карманы и дарила носки (дядюшка давно был разведен и жил один, отдельно от семьи дочери), он же чинил им сломанные механизмы вроде замков, светильников, газовой плиты и пр. и придумывал разные приспособления для обустройства квартиры, чего их отец в силу своей гуманитарности (историк), увы, не умел и был в этом плане перед дядюшкой полный банкрот.

В чем, однако, отец и дядюшка были похожи, так это в пристрастии к шляпам. Обоим нравились шляпы с полями, они хвастались ими друг перед другом и подолгу (как иные качество водки) обсуждали их достоинства, оба умели сделать, где надо, изящные вмятины и так изогнуть поля, что сразу становились похожи на актеров из какого-нибудь вестерна.

Отец (покойный), даже больше, чем мать, любил слушать игру дядюшки на гитаре, причем лицо у него при этом почему-то сразу становилось грустным, может, оттого, что сам он с детства хотел научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, скрипке или фортепьяно, но так и не получилось (что-то постоянно мешало).

Короче, дядюшка был в их семье свой, самый близкий, хоть и жил в другом городе, и теперь, когда отца уже не было в живых, для матери он был олицетворением прошлого, столпом их довольно разветвленного рода (хоть и младше ее), из которого почти никого не осталось (из их поколения) — война, болезни, годы, жизнь, одним словом. В общем последний из могикан.

Да, так вот дядюшка умер.

Как об этом сообщить матери, если та и без того слаба (мысли всякие печальные, в том числе и о смерти)?

Все-таки удар, переживание — больное сердце, уже столько всякого вынесшее, может и не выдержать.

Когда позвонили — с печальным известием — из Риги (дочь дядюшки, то есть двоюродная сестра), снявший трубку Валериан (младший) сразу прикрыл ее рукой, словно мать могла услышать. Услышать она, конечно, не могла (и вообще стала глуховата), тем более в другой комнате, но ведь иногда и слышать не надо. Между тем она сразу что-то почувствовала, шаги по коридору — заглянула в комнату Валериана (чутье): кто звонил?

Это ему, Валериану. А у самой взгляд — недоверчивый. Словно он от нее что-то скрывает.

Брат сразу напрягся. Нельзя сообщать! Ни в коем случае!

А как — не сообщать?

Если близкий уходит, то вовремя узнать (и тем более участвовать в прощальной церемонии) почему-то особенно важно, словно принимаешь на себя часть его смерти. В лицо ей (смерти) заглядываешь, ощущаешь ее рядом, и оттого кажется, что даже как будто помогаешь тому, кто ушел. Поддерживаешь. Что он вроде как не один там, за чертой. Что ты возле, со своей любовью и памятью. Это для нее, матушки, особенно важно — знать, что она рядом, помнит и думает, даже надрывая свое бедное сердце (отдавая его как жертву).

Хотя, с другой стороны, когда живой думает о мертвом как о живом (брат говорит), то вроде и смерти нет, как был он живой, так и остался. И это хорошо — думать о мертвом как о живом, продолжая его существование в реальности. Добавляя ему жизни.

Плохо, однако, другое (тоже своя логика) — что достигается это путем обмана (для матушки, не склонной к иллюзиям, это почти как предательство). Человек уже прекратил свое земное пребывание, с ним уже все произошло или происходит, что следует за остановкой сердца и дыхания, а об этом еще не знают и тем самым мешают ему перейти рубикон, удерживают его на пороге, причиняя если не страдание (какое там страдание?), то что-то в этом роде. И матушку это наверняка бы удручило.

Братья взвешивают, прикидывают так и этак.

Вот они предварительно готовят матушку: дескать, дядюшка очень сильно болен и вообще там, в Риге, в этом ближнем зарубежье все не слава богу, русскоязычных там ущемляют и многие — неизвестно кто — хотят оттуда уехать... А потом уже сообщают. И все равно чревато. Сердце-то слабое, возраст, болезни...

Нет, нельзя!

Но морально тяжело: ведь они тем самым лишают матушку возможности последней связи с братом,

последнего «прости», пока небытие еще не окончательно (хотя уже окончательно) разделило их неодолимой стеной. Впрочем, что мы знаем о человеке? Не исключено вовсе, что даже не чувством, а чем-то еще, более глубоким, но с чувством связанным человек способен пробиться в неведомое. Родство и любовь — здесь столько всего, что и не объять.

Единственное утешение, что матушка, как комсомолка былых годов, даже в преклонных годах осталась чужда (в отличие от сыновей) всякой эзотерики. Только ведь теория теорией, а именно оно, чувство, да и слабое сердце сами подсказывают нечто, от разума ускользающее — вот тут-то и кроется для заботливых братьев загвоздка.

Как быть?

Они думают день, другой, они звонят в Ригу и советуются с двоюродной сестрой (которая сожалеет, что они не смогли приехать на похороны — слишком все быстро и неожиданно, а нужны загранпаспорта, нужны визы, нужны деньги), советуются с другими родственниками, более близкими (ближе дядюшки не было) и более дальними. Кто-то считает, что говорить не следует, кто-то — что все равно это неизбежно, так что и тянуть ни к чему. Потом будет только хуже — матушка только сильнее расстроится (это братья понимают), что ее вовремя не известили, то есть фактически отстранили, отодвинули, а для старого человека это особенно болезненно — чувствовать, что его отстраняют.

Во всем своя логика, но, представляя, как изменится лицо матушки, как отхлынет от него кровь и оно станет совсем белым, цвет в цвет с наволочкой ее подушки, или даже серым, как пыль на ее серванте, братья не могли решиться. Никак.

День прошел и другой, и третий, и вдруг стало все равно.

То есть можно спокойно не говорить.

И дядюшки нет, впрочем, его давно как бы не было (ближнее зарубежье — все равно что дальнее): в таком возрасте тем более не поездишь...

А что его вообще нет, то чтобы понять это, сильно надо задуматься, остановиться, вникнуть (для этого время нужно, которого и так катастрофически не хватает).

Может, и правильно сделали, что не сказали. В конце концов, есть-нет, все ведь относительно. Нет человека, а он все равно как есть (можно и наоборот).

Стоики говорили: «Мудрый не знает закона».

Вот-вот...

Завсегда

Я вижу этого человека на каждом своем выступлении. Если хочется, пусть слушает, почему нет? Правда, нельзя сказать, что он очень внимателен. Я редко замечаю, чтобы его взгляд был направлен на меня. Нет, обычно он смотрит куда-то в сторону и кверху, словно замечтался или думает о чем-то своем, не имеющем связи с моим выступлением. Если честно, то иногда меня берет сомнение: а слушает ли вообще?

И тогда возникает вопрос: зачем приходит?

Если бы не его внешность, я, пожалуй, и не обратил внимания, сидит и пусть сидит, слушателей обычно много (а в прежние времена еще больше), есть и постоянные. А он еще в самый первый раз произвел на меня впечатление.

Для многих лекторов — привычный прием: выбрать кого-нибудь из аудитории, наиболее симпатичное и осмысленное лицо, и потом обращаться только к нему, выстраивая весь ход выступления в зависимо-

сти от реакций именно этого слушателя. И действительно — способствует.

А в тот раз я просто не мог оторвать от него взгляд. Возможно, это было связано еще и с тем, что мое выступление проходило в молодежном клубе и слушателями были в основном молодые люди — от семнадцати до тридцати, и вот среди совсем юных лиц — белый, как лунь, с огромной белой бородой, высокий и статный старик с благородным, словно вырубленным из камня лицом (что-то знакомое).

Замечательное, надо сказать, редкой одухотворенности лицо, словно сошедшее с полотна Эль Греко или Рембрандта! Такими изображали обычно ветхозаветных пророков, косматых и бородатых, с горящими глазами, обращенными в только им ведомое будущее (или в себя).

Ну что все о лице да о лице?

А вот и то... Стоило мне его увидеть и поразиться, как тут же со мной что-то произошло. Вообще-то я, как всякий опытный лектор с неплохо подвешенным языком (и неумеренной болтливостью), умею держать аудиторию и даже в известной степени манипулировать ею, то есть заводить и вести в нужном направлении, там, где надо, интриговать, а там, где надо, шутить или, наоборот, драматизировать. Сам процесс говорения всегда доставлял мне удовольствие, а тем более когда твое слово находит горячий отклик. Сколько раз бывало, что я увлекался и почти забывал об аудитории, в то время как она заморожено следила за фиоритурами моего голоса и прихотливыми зигзагами моей мысли.

О, это несравненное наслаждение — единство с напряженно внимающей аудиторией, словно ждущей от тебя какого-то последнего слова, последнего жеста, способного разрешить все вопросы.

Кажется, я рассказывал им об утопии. О стремлении людей к золотому веку, об идеализации будущего, о дистопиях Замятина, Хаксли, Платонова, Оруэлла. И получалось, что жажда гармонии и справедливого мироустройства, без Бога или с Богом, не важно, оборачивалась в итоге подавлением не только свободы, но и личности, прокрустовым ложем для любых человеческих начинаний и проектов, вообще для жизни. Коммунизм и все эти «города солнца» принесли столько человеческих жертв и страданий, что о справедливости и счастье в свете этих идей может говорить только сумасшедший или фанатик (что, собственно, одно и то же).

Тут и не надо особенно изощряться в доказательствах — над этим уже основательно поработали не самые худшие умы, можно было пользоваться их метафорами, вроде «скотного двора», «котлована» и пр., достигая с их помощью почти художественной убедительности.

Конечно, я прибавлял много и от себя — мы все были задеты этой жаждой, не мы, так наши родители или деды, многие отдали дань не только жажде, но и вере в возможность осуществления утопии. Это как вера младенца в реальность сказки или древнего человека в миф, а ведь в каждом из нас живут такой младенец или древний человек, история оплетает нас паутиной атавизмов и рудиментов, никуда от этого не деться. В разных ситуациях активизируется что-нибудь более или менее архаическое, сквозь одно, как на палимпсесте, проступает другое, заполняет сознание тенями прошлого, заставляет жить по своему закону, и тогда люди превращаются в зомби, маршируют колоннами и боготворят кумиров, не замечая их монструозности.

Конечно, есть люди, которые сильнее истории и потому либо подталкивают ее в том направлении, в

каком, по их мнению, она должна течь, либо идут, наоборот, наперекор течению (и те и другие часто становятся мучениками), но и они, сами того не осознавая, нередко действуют в угоду тем призракам, что порождают в их душе вдруг пробудившийся, подобно уснувшему вулкану, какой-нибудь мезозой.

Настроение, помню, у меня было бодрое и вместе с тем довольно мрачное (как сказала бы жена, «вредное»). Как ни странно, но именно так и бывает: чем пессимистичнее мысли, тем бодрей себя чувствуешь, какая-то легкомысленная веселость появляется, а остроты и шутки так и распирают. Я чувствовал даже нечто вроде вдохновения — именно потому, что как раз накануне выступления угрюмо думал, что человечество все равно ничему нельзя научить, жизнь кончается смертью и возлюбленный нами прогресс несет вместе с комфортом и кажущейся легкостью безумный темп и перенапряжение. В конечном счете все скатывается к абсурду и познание, увы, только умножает скорбь.

Не слишком оригинальные и духоподъемные мысли, но что делать, если они все равно приходят и с ними не так-то просто справиться. В том же, что излагаешь, даже совершенно противоположном по смыслу и настрою, сразу появляется какая-то дразнящая едкость, почему-то особенно нравящаяся слушателям. Иногда я, чтобы привлечь внимание и понравиться аудитории, искусственно вызываю ее в себе — и, надо сказать, действует безукоризненно, словно отвечает каким-то коренным умонастроениям публики, молодой особенно. В отрицании и сомнении почему-то гораздо больше привлекательности, нежели в позитивном — не мной замечено.

Помню жадно глядящие на меня глаза слушателей, их раскрасневшиеся от возбуждения лица и как

легко мне было выкладывать перед ними один за другим тезис и антитезис, как аккуратно и броско, словно шары в лузу, ложились выводы, искрились шутки и остроты, как элегантно звучала ирония — песня была, а не лекция.

Слушатели улыбались, похохатывали, в иных, наиболее удачных местах раздавались аплодисменты, что еще больше подстегивало и раззадоривало меня, особенно в скепсисе по отношению к человеческой природе, к ее парадоксальному или даже, точней, нелепому устройству, так странно и необъяснимо сочетающему добро и зло, красоту и уродство.

И все бы замечательно, если бы не лицо этого «патриарха» (так я сразу его окрестил) с белоснежной бородой и легко струящейся вокруг головы волнистой белой гривой.

Впрочем, даже не столько в лице дело. Просто он ни разу не улыбнулся, не выказал внимания — ни намека... Как сидел с задумчивым невозмутимым видом, так и оставался.

К слову, о невозмутимости или, скажем иначе, безучастности. О покое. Тоже ведь искусство. Мы все тормозимся, суетимся, горим (если ты гореть не будешь, если мы гореть не будем...) и думаем, что так надо, а правда (или истина) — она в чем?

Если вы подумали, что сейчас прозвучит ответ, то ошибаетесь. Этого не знает никто, а если скажет, что знает, — не верьте... Точки зрения могут быть разными, это так, тут нужно смириться, предоставив им существовать, корректируя по ходу процесса или, по необходимости, вступая в полемику. Единственная точка зрения — это конец.

В невозмутимости же — своя правда. Это тоже ответ на вызов жизни, как вода — ответ огню, тепло — холоду. Невозмутимость сродни безучастности самой

жизни, безмятежности вселенной, равнодушию мироздания. Тишина ночи, покой горных вершин, бездна звездного неба — вот что, вероятно, близко этому состоянию...

Впрочем, слова тут бессильны.

Меня всегда окликала эта глубь. В самые кризисные минуты своей жизни я ощущал ее зов: тишина в разрывах страха и трепета, страсти и азарта (как внезапная синева между темными грозowymi тучами) манила меня, но всегда оказывалась недостижимой (покой нам только снится).

Впрочем, это все лирика. С тем человеком было иначе, хотя его лицо (как будто знакомое) и оставалось отстраненным, будто он сидел не на лекции, а где-нибудь в скверике на скамеечке.

Пенсионер с ликом тибетского отшельника.

Абсолютно уверен: то было одно из лучших моих выступлений. Тогда я еще не предполагал, что этот господин станет завсегдатаем чуть ли не всех моих докладов, но обращался именно к нему — в надежде, что он хоть разок улыбнется или одобрительно кивнет, или хоть как-то отреагирует на какую-то интересную и важную мысль, которую я с таким воодушевлением и, не побоюсь показаться нескромным, артистизмом излагал.

Распаяясь все больше, я стремился к отклику (любому) с его стороны, как пылкий любовник стремится вызвать в равнодушно отдающейся ему женщине ответную страсть. Не скрою, во мне говорил инстинкт власти, который присущ любому профессиональному оратору, — во что бы то ни стало завоевать аудиторию.

Тогда мне этого так и не удалось.

Все мое пенящееся славословие свободе и демократии, которыми человек — ради своего достоинства — не должен пренебрегать, хотя свобода куда более об-

ременительна, чем рабство, а бегство от нее во все времена человеку столь же свойственно, как и стремление к ней, весь пафос, на который я был способен, чуть приперченный иронией и легкой усмешкой в адрес человеческой слабости, — все это почти поэтическое творчество пролетало мимо него, как неточно пущенный снаряд.

А ведь других-то мне удалось зажечь...

Потом, после лекции, выложившись на полную катушку и чувствуя себя выжатым как лимон, разочарованный и раздраженный — вместо удовлетворенности, на которую имел полное право, я поймал себя на недружелюбной мысли, что господин этот, вероятно, из тех, кто верой и правдой служил благополучно почившему режиму (хотя среди них редко встречаются с *такой* наружностью), а теперь ищет если не доказательств своей правоты, то еще чего-то, что могло бы оправдать его верноподданничество и сервиллизм.

В этом смысле я был на высоте, поскольку не дал ему никакой зацепки, в противном случае он бы попытался поставить меня в тупик каким-нибудь каверзным вопросом или подковыристой обидной репликой. Его безучастность вполне можно было расценить как мой успех — если не завоевать, то хотя бы нейтрализовать.

Вероятно, мне хотелось бы так думать, но убеждать других подчас куда легче, чем самого себя. Тут риторика, увы, не работает. Тем более что вполне могло стать как раз наоборот: господин мог оказаться совсем из другого теста — скажем, из старых диссидентов или, что еще более подходило к его величественной осанке, из тех, бывших, которых-то и осталась совсем горсточка. Иным из них, хлебнувшим на своем веку, просто на диво удаётся сохраниться, и вот он пришел, чтобы послушать-проведать, чем нынче дышат более молодые.

В конце концов, могло же ему что-то не понравиться?

Моя ирония, например. Или мой азарт. Цвет волос или форма ушей. Энтузиазм слушателей...

Да мало ли?

Разумеется, все это были домыслы, но я никак не мог от этого избавиться. Я злился на себя, на него, но поделаться ничего не мог.

И это можно было считать его победой — я комплексовал, как мальчишка.

А с чего, собственно? За тем, о чем я рассказывал и что пытался донести до публики, стояли великие мыслители и художники, опыт человечества за многие века, и даже те идеи, которые рождались в ходе лекции, если вдуматься, были не столь уж оригинальными — у них тоже были свои истоки (вряд ли можно на этой ниве произвести что-то сверхновое), так что тут я был защищен на все сто.

Странно, но я не воспринимал этого старикана просто как старикана. Есть ведь и такие, что на склоне лет, даже держась за стенку, тем не менее ходят куда ни попадя, на всякие лекции, собрания, литературные вечера — лишь бы не оставаться в одиночестве. И там тихо дремлют, кляя носом и даже всхрапывая...

Что ж, понять можно — никому не хочется выпадать из жизни. Эти умные старики греются у чужого огня — и пусть греются! Им можно посочувствовать. А их воля к жизни заслуживает только уважения: они хотят быть в гуще жизни и даже принимать участие, несмотря ни на что...

Между тем в любой аудитории они все равно кажутся белыми воронами, словно от них исходит стылый старческий запах, а их активность воспринимается лишь как чудачество (чем бы дитя не тешилось). Их *опыт* и *знания*, в которых никто и не думает усомниться, все равно оказываются ненужными. Все хорошо вовремя.

В преклонном возрасте интерес к интеллектуальным вещам обычно гаснет, уступая место самым простым аксиоматическим истинам и ценностям. Когда в затылок дышит небытие — не до игры в бисер. Даже не до политики, хотя та и затрагивает самые непосредственные интересы.

Если с чем и ассоциируется *достойная* старость, то только с мудростью — а вот она-то как раз не боится одиночества и тесных стен и питает сама себя. Она выше сиюминутного...

Стараясь не смотреть на «патриарха», я тем не менее боковым зрением видел его. Удивительно: и на других моих лекциях, даже если он сидел далеко (хотя обычно предпочитал садиться поближе) и его загораживали головы прочих слушателей, лицо его все равно оказывалось у меня перед глазами. Спокойное, немного сумрачное лицо человека, знающего про жизнь и без подсказок.

Отчасти даже лестно было, что этот импозантный старец ходит на мои выступления, словно прилежный школяр. Значит, что-то привлекало его, что-то он хотел узнать или услышать — и не от кого-нибудь, а именно от меня.

Только что?

В прежние жесткие времена первой мыслью было бы: человека *послали*. Хотя *посылают* обычно сереньких, незаметных, а этот... Да и кому теперь нужно?

Может, я даже отчасти завидовал этому человеку. Достойная старость — великое дело. В чем, как не в ней, отражается жизненная мощь человека. И дело даже не в облике (все-таки второстепенное), хотя и в нем многое, а в неуступчивости времени и энтропии, все превращающим в руины. Сколь угодно распускай хвост, но не за горами час, когда время и тебя потребует к ответу. И тут-то многое может проясниться.

Чего-чего, а представить себя старым я совершенно не могу. Подростком или древним человеком (питекантропом) — пожалуйста, а стариком — нет, даже тогда, когда усталость валит с ног, а утром нет сил подняться с постели. Можно, конечно, тешить себя иллюзией, что это как-то минует (вместе с болезнями и беспомощностью), что все произойдет мгновенно и безболезненно, тогда как на самом деле...

Лицо этого человека гипнотизировало меня, словно в нем крылось что-то очень важное, некая возможность или даже обещание (где я мог его видеть?). Прекрасно, что такие лица существуют — причем именно в старости. Если не тебе, то хотя бы кому-то...

Таких людей нужно беречь, как национальное достояние — как берегут картины и вообще памятники искусства. Как свидетельство добротности человеческой природы, которой, увы, слишком редко удается гармонично осуществиться в полной мере.

Вот только зачем ему тогда я?

Даже привыкнув к его постоянному присутствию, я тем не менее продолжал чувствовать свою зависимость. Он *один* как бы представлял значительную часть аудитории (едва ли не большую) — именно в силу своего незаурядного облика и странной манеры держать себя.

Нет, я уже не стремился пробить брешь в его невозмутимости и тем более убедить его в чем-то, все и так было понятно — мне хотелось, как ни странно, понравиться ему, заслужить его одобрение. Даже единственный приятный взгляд мог бы вдохновить или просто успокоить меня.

Едва только входя в аудиторию (с несвойственным мне беспокойством), я искал его взглядом, находил, и тут же меня охватывало волнение, я подбирался, ошетикивался и был готов ко всякому.

Даже одеваться я стал иначе — фривольную форму вроде свитера и потертых джинсов сменил единственный в

моем гардеробе темный строгий костюм, а на шее появился галстук, правда, на резинке, а не завязываемый узлом (особый аристократизм).

Я стал строже в выражениях и меньше хохмил, видя, что мое остроумие не достигает цели, как прежде. Я тщательнее подбирал слова, аргументы и исторические примеры, меньше стал «красоваться» и всячески избегал патетики. Я вообще говорил теперь гораздо тише и спокойней, иногда совсем тихо, так что из зала сотовали, что им не слышно.

Все это происходило как бы само собой, без специальных на то стараний с моей стороны. Я даже сам удивлялся таким произвольным переменам в себе, находя в этом приятную новизну: человек должен меняться, иначе жизнь становится пресной.

Впрочем, не трудно было догадаться, с чем (верней, с кем) связаны так или иначе подобные метаморфозы, а вот это уже отнюдь не радовало: зависимость есть зависимость, даже такая затейливая. Толкуя о свободе и самостоянии личности (помните у Пушкина?), об идеалах свободы в душе человека, об инстинкте свободы, если угодно, я сам...

Нет, не радовало.

Не знаю, как бы долго это еще продолжалось (впо-ру было заболеть манией преследования), если бы не тот случай.

Собственно, ничего особенного, разве что новое для меня лично. На очередной лекции мне вдруг стало нехорошо. Боль в груди и стесненное дыхание, а главное, как бы мгновенная потеря сознания, полная пустота, в глазах темно и только белесые искорки — такого со мной еще никогда не было.

Все бывает в первый раз, но от этого, как вы понимаете, не легче. Видимо, я сильно побледнел и даже пошатнулся, лекция была прервана, я сидел возле кафедры, с

которой еще минуту (или сколько?) назад уверенно вещал, и держался рукой за грудь. Мне тут же принесли стакан не очень свежей, похоже, водопроводной воды, и я долго пил ее мелкими глотками, медленно, словно выкарабкиваясь из какого-то отвала, приходя в себя.

И вот тут случилось действительно неожиданное — передо мной вдруг вырос «патриарх», вынул что-то из бокового кармана пиджака и, наклонившись, протянул мне. Сквозь мутноватую пелену перед глазами неправдоподобно близко проступило внимательное, сочувствующее (так мне показалось) лицо, множество мелких и глубоких морщинок, белая окладистая борода, бледные стариковские губы.

«Выпейте, полегчает», — впервые услышанный чуть дребезжащий голос прозвучал глухо, но был мягок и снисходительно-доброжелателен.

Я осторожно взял лежащую на его широкой ладони белую таблетку и, положив в рот, сразу ощутил резкий сладковатый мятный привкус. Ну, конечно, валидол. Да, всего лишь валидол, но после него мне и впрямь стало легче. Боль за грудиной отпустила, осталась только смурная тяжесть в голове и легкая тошнота, как при похмелье.

Врача вызывать не пришлось, но продолжать лекцию сил у меня, увы, не было. Да и о чем бы я говорил, если вся моя забота была теперь там, возле судорожно трепыхающегося сердца?

Вот, собственно, и вся история.

Больше я этого старикана не видел. Так и осталось загадкой, кто он был и с какими вопросами приходил ко мне. Что ему вообще было нужно?

Выступаю я теперь гораздо реже, с некоторым страхом (не произойдет ли снова?), но мне порой не хватает его присутствия (после валидола особенно), словно обнажилось какое-то важное пространство, которое должно было быть заполнено именно им.

Впрочем, это уже ерунда, известно ведь, что именно из пустоты (отсутствия) и рождаются призраки.

Разыгравшаяся же так внезапно стенокардия и, как выяснилось чуть позже, прогулянный микроинфаркт к делу вообще не относятся.

ΦΑΤΑ-ΜΟΡΓΑΝΑ

В потемках

Если вы встречаете женщину, в которую влюбляетесь с первого взгляда или внезапно понимаете, что это именно *ваша* женщина (что в общем-то почти одно и то же), а она между тем — с другим мужчиной, то дело плохо. Хотя, впрочем, для кого-то, не исключено, и хорошо — ревность только распяляет чувства, а чувство в его высшем развитии и напряжении и есть не что иное, как страсть, а страсть — не что иное, как полнота жизни. Пусть даже толкает на всякие непредвиденные поступки, на какие в другое время человек, казалось, вовсе и не способен.

Правда, тут и до драмы не далеко (если не до трагедии), что, собственно, и понятно: женщина — ваша, однако — с другим. Нечто несообразное, неправильное, мучительное, несправедливое и обидное до глухого, со стоном в недрах души страдания.

Именно так, между прочим, и случилось с нашим героем.

Роковая, если так можно выразиться, встреча произошла на даче приятеля, куда Саня с еще одним другом приехали в прекрасный позднемаяский вечер — в воздухе ароматы цветущих яблонь, еще каких-то цветов, дым от углей разведенного прямо на участке костерка и жарящегося шашлыка. Кто когда-то обонял сей великолепный коктейль запахов, никогда его не забудет — столько в нем всего сразу для размягченной весенней свежестью души.

Там, у костерка, они (хозяин и гости, в числе коих и Саня) тихо сидели — попивали красное вино, закусывали медленно созревающим шашлыком, покуривали, беседуя вполголоса, — словом, вкушали весеннюю предночную благодать. И вдруг из тьмы за забором — негромкие голоса, а затем две фигуры, парня и девушки, парень высокий, с длинными, чуть завивающимися у концов темными волосами (Саня, впрочем, в него и не вглядывался), а вот девушка...

Тут-то сразу, еще она даже не вышла толком на свет, так что и разглядеть пока было трудновато, а он, не поверите, затрепетал мгновенно, всматриваясь в облакавшую ее полутьму, — и разглядел: стройная легкая фигурка, ржаные короткие волосы, носик небольшой, приятная открытая улыбка — вся разом и высветилась.

Парень оказался старым знакомым приятеля, вроде как художник, вдруг решивший навеститься со своей девушкой в гости к Павлу (имя приятеля). Девушка же, впрочем, как позже выяснилось, была вовсе и не его, а сама по себе, но именно в ту ночь она оказалась с ним (значит, все-таки его). Так тоже бывает — его и не его, но для Сани-то — все равно испытание. Еще какое!..

С того самого мгновения Саня краем глаза не выпускал девушку (Наташа) из поля зрения — как она

сидит на бревне, чуть наклонившись, отчего ее лицо то озаряется внезапно прорвавшимся из-под углей язычком пламени, то вновь темнеет, как она ладошки зябко тянет к теплу или снимает осторожно зубами сочащееся соком мясо с шампура, как улыбается чьей-нибудь шутке или смотрит задумчиво куда-то перед собой, длинные ресницы изредка вздрагивают...

Порой его взгляд перехватывал ее (или случайно пересекался), и тогда внутри все обмирало, сердце словно проваливалось, а потом начинало бешено колотиться, и он, не отрываясь, смотрел, смотрел или, наоборот, отводил глаза, потому что девушка — чужая, а смотреть *так* на чужую девушку — неприлично. Но иной раз ему не удавалось оторваться, и тогда в глазах девушки (пока еще неопределенного цвета) появлялось что-то вроде вопроса, она его явно выделила (чувствовал) и потом время от времени на Саню мельком, словно случайно, поглядывала — с любопытством.

Короче, контакт есть контакт — чуть ли не с самого начала. Саню это волновало, даже говорить совсем перестал и так, молча, словно затаившись, сидел. Будто парализовало его. Только вино пил в большем количестве, чем прежде, отчего в голове некоторое кружение и покачивание. Меж тем, что-то и еще происходило в нем — вроде как предчувствие судьбы. Непоправимость надвигающегося.

А что, собственно, надвигалось?

Ночь надвигалась, верней, это они погружались в ночь — все глубже и глубже, в ночные весенние ароматы и шорохи, в мерцание звезд и всякую прочую лирику, костерок догорал, угольки алели, лица, чуть подсвеченные багрово, все больше уплывали во тьму, голоса расплывались, а они все сидели... И вдруг... Саня обнаруживает, что рядом — никого, он один си-

дит, уткнувшись носом в дотлевающие угли, а все куда-то подевались.

Но главное — исчезла и девушка, вместе с тем парнем, с которым приехала, настолько исчезла, что ему аж нехорошо стало — не трудно ведь догадаться, почему исчезла. Саня вспомнил, что приятель повел их (ее и того самого парня) в дом — устраивать, как он сказал (ага!), на ночлег. Какую-то комнатку им выделил гостеприимный приятель, совершив тем самым чуть ли не предательство по отношению к Сане: потому Саня, может, и остался у костра, хотя им с другом тоже полагалась комнатка — в мансарде, куда его, между прочим, тоже хотели проводить. Только Саня, упрямый, уперся и никуда идти не хотел, обидевшись (с пьяными бывает) на приятеля за вероломство, а заодно и вообще на весь мир. Нет, в самом деле, *его* ведь эта девушка была, точно, а ушла (о подлость!) с тем самым парнем, которого Саня знать не знал и знать не хотел.

Итак, угольки дотлевали, звездная сонная одурь царила над миром, да и сыровато стало, так что Саня вынужден был подняться и, размяв затекшие члены, двинуться слегка пошатываясь к темнеющему в глубине сада дому. Впрочем, и еще что-то такое, невнятное (мысль не мысль), двигало им, отчего, приблизившись к бревенчатому срубу, начал он перемещаться как-то украдчиво, словно таясь, и не пошел почему-то внутрь, а свернул в сторону и стал медленно, стараясь не производить никаких звуков, обходить дом.

Окна, метра два от земли (так просто не заглянешь), были темны — в глубокий сладкий сон, казалось, погружен дом, лишь Саня аки тать в ночи крался куда-то и неведомо зачем в чуть подсвеченных фонарем с улицы потемках. В том и беда — не верилось ему в сон, напротив, мерещилось что-то за окнами (за одним из них), может, даже звуки, не ис-

ключено, стоны, вроде как ужасное — насилие не насилие, но все равно жутковатое, а главное, непоправимое — там, в темной глубине зазаконного пространства, *его* девушка с другим...

Не ужас разве?

Так он бродил вокруг дома, ноги давно промокли от росы и озябли, хотя ночь была сравнительно теплая. И весь он продрог, даже зубы полязгивали. Однажды почудилось ему: белое мелькнуло в окне, которое выходило в сторону улицы, нежное, немужское.

Впрочем, мало ли что почудится в лунном серебристом свечении, да еще при некотором кружении головы и сердца? Девушка стоит у окна, по ту сторону стекла, волосы распущены, как у русалки, в потемках — как в мерцающей глубине озера, вглядывается в весенний сад, а сад — тихий такой, весь в изумрудно-серебристой дымке и яблоневоm аромате. Вроде как одна стоит, будто ждет кого, будто подозревает, что этот кто-то (Саня), очарованный, бродит вокруг, мучимый то ли желанием, то ли любовной тоской, то ли несправедливостью мироустройства, где роковые несовпадения метят в самое сердце.

Только, видно, и в самом деле пригрезилось — ни звуков, ни шевеления, замерло все в предутренней дреме, а его (вот терзание-то!) все не оставляло — вроде как скрип кровати, ритмичный такой, скрип-скрип, будто кто в ней качается, как на качелях, или другого качает, или вместе с другим, и скрип этот (Саня сторожно прислушивается) его то в жар, то в холод швыряет.

В какое-то мгновение он не выдерживает и, как альпинист, начинает карабкаться по стене, чтобы в одно из окон, то самое, что в сторону улицы (фонарь), все-таки попытаться заглянуть — его не смущает неблагоприятность этого действия, он просто не

думает об этом, поглощенный видением: девушку его там, в потемках, держит в объятиях (в плену) *некто*. И некто этот кажется ему чуть ли не демоном, вороньи крыла над ней распластавшим. Ну да, девушку спасти надо — любой ценой! — вот какой идеей одержим Саня.

Карабкаться-то он карабкается, но неловко — ноги то и дело соскальзывают с влажных от ночной росы бревен, никак не дотянуться ему, а когда все-таки дотягивается, держась за выступающий наличник — настолько, что уже, кажется, можно заглянуть (и заглядывает, правда, ничего так и не углядев — не успев), тут-то наличник с оглушительным хрустом отделяется от стены, а Саня неуклюже скатывается на землю. Далее следует стремительный рывок в глубь сада, заячье петляние по грядкам, забор, какие-то ветки в лицо, тьма, тьма и тьма.... В ужасе мерещится ему, что хлопает открываемое окно и топот, топот — будто кто ломится вслед, догоняя, сопя и тоже треща ветками.

Что же это за ночь такая, чертыхается Саня, весь взмокший. В такие вот чарующие головокружительные ночи и совершаются всякие ужасы, о которых потом пишут романы и снимают фильмы. Сердцебиение все не унимается, а страх разоблачения леденит душу.

Девушка эта вовсе не к добру тут появилась, и ржаные ее волосы, и поворот головы, и смуглая нежная кожа, и все остальное, при мысли о чем у Сани вдоль позвоночника пробегает мелкая дрожь, а кровь бросается в голову — всего этого, ему принадлежащего, теперь уже точно не видеть, как собственных ушей.

А что, собственно, он там, за стеклом, хотел увидеть? В чем удостовериться? Что девушка эта блаженствует под ласками другого, то есть изменяет ему? Так сказать, *de facto*, устроенная на ночлег его же приятелем. Жутко, жутко!.. Он вот тут, на росистой траве, сам мокрый, всего в нескольких метрах, а там, там...

И вновь мерещится Сане за темным стеклом что-то белеющее, смуглеющее, Господи, так же и с ума сойти недолго...

Ну и кто виноват? А никто!..

Даже этот высокий парень, похожий на демона, с длинными, чуть завивающимися у концов темными волосами, он тоже не при чем. Так уж случилось, что Наташа эта вышла откуда-то из недр Саниного существования (там она, похоже, и жила), а тот, другой, этого просто не знал, не мог знать. И что теперь Сане делать, если девушка, воплотившись, тут же оказалась в чужих руках?

Нет, правда, за что ж это его (ее) так? И что теперь?

Хоть бы кто подсказал!

От костра уже почти ничего не осталось, только узенькая струйка сизоватого дымка все еще сочится из-под почти потухших углей. Дом по-прежнему мирно спит, и девушка эта, вероятно, спит, согреваемая чуждым теплом покоящегося рядом мужского тела.

Один Саня все сидит на бревнышке, засунув руки в карманы куртки и чувствуя себя совершенно потеряннным — только какие-то видения время от времени прокатываются волнами в мутной и тяжелой с недосыпа (с перепоя) голове.

Рассвет уже занимается, легким туманом окутывая деревья, время тянется бесконечно, и нет у Сани иного выхода, кроме как встать и побрести прочь, по тропинке вдоль улицы — к станции, к электричке...

На этом бы и кончить эту печальную историю, однако еще несколько слов напоследок.

Нет, не тот Саня человек, чтобы вот так исчезнуть, оставив принадлежащее ему по праву, в коем у него нет ни-

каких сомнений.

С девушкой той, Наташей, имеется в виду, все у них в итоге сладится — уже несколько лет они вместе и, надо признать, вполне благополучно, только вот временами Сане не спится ночью, он встает в потемках, пьет воду из-под крана или просто бродит, как привидение, по квартире, а потом вдруг задает разбуженной им и потому недовольной Наташе странный вопрос:

— Таишься?

— Что-что?..

— Таишься? — спрашиваю.

— Почему это? Просто сплю.

— Просто сплю — это не интересно.

— А таиться интересно?

— Конечно, вроде как ждешь чего-то необычного. Вроде как в засаде. Вроде как опасность.

— Не хочу никакой засады и никакой опасности! Спать хочу...

— На самом деле ты именно в опасности. Наступление ночи всегда связано с опасностью. Темнота, неизвестность, крадущиеся шаги...

— Ну ты и придумашь.

— А тут и придумывать нечего. Даже сны — в них тоже опасность, ты же не знаешь, что с тобой происходит, когда видишь сны. Может, ты соединяешься посредством их с другой реальностью, может, через них в твою жизнь, в твое подсознание проникают духи или какие-то неведомые силы. Может, ты просыпаешься уже не совсем такой, как прежде, а?

— Ну и причем здесь «таишься»?

— Ну вроде как ты спряталась, притихла, не засекали... Я иду и тебя как будто не вижу. Одеяло натянуто до носа, только глаза блестят.

— А ты и шел крадучись.

— Ну да, опасался засады. Мало ли с чем можно столк-

нуться в темноте?

— Что ты болтаешь, ты же лампу включил.

— А что лампа, лампа всю комнату не освещает, только часть. Ну да, я боялся тебя разбудить, а потом вижу, что ты не спишь, глаза поблескивают в полумраке, как у кошки. Притаилась.

— Глупости, даже и не думала, просто лежу и все. Пытаюсь заснуть.

— А засыпание — это все равно что притаиться. Притихнуть, замереть, замаскироваться — вроде как спишь.

— Странные фантазии!

— Ты притаилась и ждешь, что я буду делать.

— Я и так знаю, что ты будешь делать.

— Это тебе кажется, что ты знаешь, а на самом деле даже мне самому неизвестно.

— ???

— Заросли вкрадчивой мглы, колючки впиваются в тело, скользко во мраке и шатка земля, сыростью тянет и прелью... Если прислушаться, стоны можно услышать, душ неприкаянных ропот...

— Слушай, ложись-ка спать, хватит нести околесицу! И выключи наконец лампу!

Такой вот между ними происходит ночной разговор, ну и точка, пожалуй.

Омут

Если с человеком случается что-то из ряда вон, всегда ли он в этом сам виноват?

Это, конечно, вопрос, потому что никогда не знаешь, где поскользнешься, а знал бы, то непременно соломку подстелил, точно. Но бывает так, что непонятно сам или не сам и вообще кто. Впрочем, тебе непонятно, а другим очень даже понятно, потому что люди всегда знают, кто прав и кто виноват, если не с ними самими. А если не знают, то предполагают — вполне достаточно. Можно и не знать, а чувствовать, *я так чувствую*, серьезный аргумент, потому что чувству надо доверять. Разум, лукавый, может обмануть, а чувство — оно связано с чем-то более глубинным и важным. И еще аргумент, не менее существенный: *мы так чувствуем...* То есть все, то есть большинство, а это говорит о некоей норме, наследующей многовековому опыту, традиции и прочему. Мы так чувству-

ем — это весомо. Это — как трамвай, случайно на вас наехавший.

Эдика уже недели две как не узнать, ходит как побитый. Обычно импозантный такой, статный, уверенный в себе и в благоволении к нему жизни, а тут словно подменили человека — сгорбился, лица не видно (темное пятно), лет на десять постарел, если не больше. То стайкой вокруг дивы из разных отделов — Эдик то, Эдик се... Бывает, что мужчина пользуется женским расположением (незаинтересованно, а даже если и заинтересованно, то что?), не всякому выпадает, между прочим.

И вдруг — один-одинехонек, никого рядом, а если кто и подойдет, то на минутку, почему-то глаза опустив или глядя в сторону, словно Эдика не видя. Исключительно по делу, да и то как бы мимоходом, вскользь, мимолетно. Вроде не к нему вовсе. И в комнате, где сидит он вместе со своими отдельскими, изменилось — тише, что ли, то есть, понятно, люди переговариваются, как и прежде, но скомканно, скованно, а главное — опять же мимо Эдика, будто нет его. В его углу — как бы особая зона, даже свет иначе распределяется: сумрачно там.

А что, собственно? Если просто улыбаются, флиртуют, кокетничают, то и ничего, а если всерьез, то уже плохо. Эдик-то чем виноват, если женщины к нему тянутся? И не просто тянутся, а увлекаются. Это ведь даже не от статности (хотя и от нее) и прочих физических данных зависит, но и от иного чего-то. Может, им по душе томный долгий взгляд, чуть ли не гипнотический, может, некая метафизическая, романтическая грусть в глазах, может, легкая, чуть насмешливая улыбка, красиво изгибающая тонкие чувственные губы.

Женщины ведь как мотыльки — тянутся на пламя.

Теперь вот стало известно: один мотылек сгорел. Та девушка (очень милая — видели их пару раз вместе), с которой Эдик вроде в последнее время был близок, ее, короче, уже нет, в полном смысле (в живых). Эта девушка, как это не страшно сказать, умерла, да, наглоталась снотворных таблеток, ее и не смогли откачать, опоздали.

А причиной, выяснилось, не кто иной, ну да, Эдик, — влюблена она была в него. Сравнительно недавнее знакомство — и вот...

Все теперь в курсе: она из-за Эдика над собой учинила, а значит, сильно ее зацепило, раз не захотела больше жить, когда узнала, что у Эдика еще кто-то есть, тоже недавнее (или давнее, какая разница?) знакомство. Молоденькая она была и, вероятно, верила во что-то возвышенное и романтическое, в любовь эдакую-разэдакую, какой давно уже нет, а есть — связи и отношения, и могут они быть всякими, с разными женщинами и мужчинами, причем одновременно. Она, видимо, другого была воспитания, старомодно-го, и первое же серьезное несхождение идеала с реальностью застало ее врасплох. Сокрушило, можно сказать...

Так вот, нет девушки — трагедия, катастрофа и вообще. Хорошо родители интеллигентные, понимают, что любовь слепа, другой бы папаня, не долго раздумывая, достал пушку (нынче просто) — и слез бы тогда пролилось несравнимо больше, причем не только по ушедшей безвременно влюбленной...

Извечный вопрос: кто виноват?

Вопрос, впрочем, риторический, поскольку ответ на него известен (его и не искали). Для читателя это тоже, вероятно, не загадка: если кто и виноват, то, конечно, Эдик (общее умозаключение). Любовь, по-

нятно, дело серьезное, но надо же и совесть знать. Надо хоть капельку от-вет-ствен-нос-ти (соз-на-тель-ности). Хотя Эдик, не исключено, ничего и не обещал той несчастной девушке, а просто поддался чувственному порыву (при не только полной, но и, как оказалось, роковой взаимности). Если б он мог даже предположить такое (должен был, между прочим!), то наверняка бы его как ветром сдуло, только и видели.

Но что случилось, то случилось — не поправить.

Вокруг — молчание... Словно он сам лично, причем чуть ли не насильно заставил ту девушку принять роковые таблетки.

Взгляды косые. Шепотки. Осуждение, короче.

Виноват не виноват, кого это интересует? Есть жертва, пусть даже невольная, значит, есть и виновный. Он-то, между прочим, жив-здоров (может, даже и не очень угрызаемый совестью), а другого человека (девушки) — нет!

В это «нет» все, собственно, и упиралось. Магически оно на всех действовало, как если бы вдруг в Эдике проявилось что-то демоническое. Что-то криминальное, только разве не подпадающее ни под какую статью уголовного кодекса. Но все равно близкое. Не случись трагедии, никто бы и не обвинил ни в чем: кончились те времена, когда на работу, чуть что, слали телегу: SOS, муж загулял — примите срочно меры по партийной линии. Или по профсоюзной. Или еще по какой. Под руки — и в семью, где после такого принудительного возвращения еще хуже.

Нынче человек сам решает, как жить, и что с того, что у мужика любовью — одна, пятая, десятая, даже если и одновременно. Есть ведь натуры особенно одаренные и в этом тоже. Только бы посмеивались — кто с иронией, кто откровенно одобрительно, а кто и с завистью.

Ан нате вам, вместо этого — полная обструкция, хоть с работы беги, где Эдик, между прочим, всегда считался ценным кадром (талантливый). И всё без какого-то начальственного окрика или внушения, само собой, — не стовариваясь, взяли коллеги да отвернулись. Кто просто с осуждением, а кто и с презрением. Руку перестали протягивать. Лед и отчуждение.

Ведь из-за чего все? Ясное дело: безнравственность.

Нравственный человек, он бы так, знамо дело, не поступил (то есть не стал бы встречаться одновременно с двумя), нет разве? Значит, и не было бы таких ужасных последствий. Логика элементарная.

Только можно и без логики: девушку жалко, негодяя же Эдика нет.

А вот каково самому Эдику, об этом мало кто, похоже, задумался. Если и задумывались, то совсем в другой модальности. Если ему плохо (совесть удает), то и хорошо — в следующий раз неповадно будет. Если же не очень страдает (где у человека совесть?), то пусть будет плохо — посредством общественного мнения. Попал человек в переделку по собственной, как ни крути, безответственности (а значит, и вине), то что ж, пусть расплачивается. В любом случае это все равно не сравнимо с тем, что человека *нет*.

Должно же быть хоть какое-то возмездие...

Не все, правда, так считали, были и исключения: Марина, например.

Тоже, между прочим, заметная женщина, которая до этого с Эдиком нельзя даже сказать, чтобы особенно дружна была или тесно общалась. Коллеги и коллеги, ничего больше.

Так вот, эта Марина (замужем во втором браке) по неизвестным мотивам и наперекор всем с Эди-

ком продолжала общаться, как будто ничего не случилось. И даже с некоторой демонстративностью и вызовом. Заходит он в комнату, а она ему рукой приветливо машет, или на общем собрании, встав, указывает на стоящий рядом пустой стул — давай, мол, гребни сюда... Или даже под руку его возьмет, когда вместе идут по коридору, чего, опять же между прочим, прежде никогда не делала. И когда он домой собирался, приплюснутый весь от всеобщей неприязненности (каково!), она его громко так: «Эдик, подожди, я тоже иду» — вроде как по пути им.

Они много разговаривали, покуривая на лестнице. Можно даже догадаться, о чем.

Эдик ей про ту девушку рассказывал. Про себя и про нее. Не хотел же сближения (как чувствовал), тем более что тянулся еще старый роман, вообще, если честно, ничего не хотел, но бывает так, что не хочешь, а все равно идешь навстречу — из жалости или из-за чего-то другого, даже для себя не совсем понятного. Но только вовсе не для того, чтобы сорвать цветок. Напротив, чтобы дать ему расцвести, жизнью наполнить. Ничего он той девушке не обещал, совершенно ничего. Просто у нее это вообще было, такое настроение.

Его, то есть Эдика, сразу пробило на жалость, едва только познакомились. Ну да, милая, но какая-то несчастная. Непонятно, кстати, почему — все ведь вроде у нее благополучно в жизни. И однако... Как-то очень она болезненно все воспринимала, без определенной к тому причины. Трагически. И смотрела на него так, что не по себе делалось (глаза темные, как угольки, несчастные), словно их знакомство и еще никакие в общем отношения к чему-то его обязывали.

Чужое неблагополучие, оно ведь как омут: только попади — враз утянет.

В общем, все не так, как про него думали. Добрый он на самом деле был, Эдик-то. Большой, сильный и добрый.

Та девушка это сразу в нем разгадала, несмотря на всю его кажущуюся ловеласность. И Марина, как оказалось, тоже. Никто же не знал, что у нее, у Марины, тоже проблемы, в смысле нелады с мужем (или они потом у нее возникли, уже после того, как с Эдиком, верней, с той девушкой случилось?), что душа ее резонирует на чужое страдание особенно чутко...

Иногда так бывает: совпадут две души в своих, казалось бы, совершенно чуждых любовному чувству вибрациях — и потянутся друг к другу неудержимо.

У Эдика тоже глаза были ой-ей-ей...А когда у большого и сильного такие глаза, то...

Короче, отозвалась в Марине некая струна, приоткрылся душевный, если можно так выразиться, ресурс, ранее в ее вроде бы гладкой жизни не востребованный. Есть ведь люди, которые не могут пройти спокойно мимо униженных и оскорбленных, без вины виноватых и страждущих...

Надо сказать, Эдика это сильно поддержало. Он, как видел Марину, так сразу радостно вспыхивал. Распрямялся сразу, словно забывал про несчастье. Словно луч света его пронизывал. И не то что бы он к ней, замужней, льнул (еще бы не хватало!) — не по мужски это было, а как-то по-детски, с простодушием и лаской, как бывает у детей при виде кого-то очень милого для них (мамы, например, пришедшей забрать из детского садика, или любимой собачки). Улыбался ей смущенно, вздрагивая тонкими губами, как бы преодолевая что-то в себе (плач?).

Трогательный.

Так и продолжалось довольно долго. Марина его привечала, и он к Марине нежно, чуть ли не заиски-

вающе. Цветы ей приносил. Придет она, а у нее на столе роза обалденная, будто не настоящая. Кто подарил? Все плечами пожимают (никто не видел), но все догадываются.

Ох уж!

Впрочем, розы розами, а девушки-то все равно нет, все равно нет, и сколько ни повтори это «все равно нет» — и будет «нет», а что это такое — никто не ведает. Стоит же взглянуть на Эдика, как это самое «нет» будто клеймом на нем проступает. Тайной печатью. Любая смерть ложится на человека тенью, а такая тем более.

Лучше бы, конечно, Эдику куда-нибудь перебраться в другое место, где бы не знали ничего. Скрыться, замести следы, начать новую жизнь. Может, даже в Америку уехать или Австралию. Только на самом деле куда спрячешься? Клеймо — оно и в Африке клеймо, не вытравить (разве с кожей). А главное, от себя-то самого (тень, она и есть тень) все равно не убежишь.

Собственно, так и произошло. Уволился Эдик. Уехать не уехал, но нашел другую контору, в другом конце города (все равно что в Америку), куда ему добираться гораздо дольше, но зато и меньше вероятность встретиться с прежними сослуживцами.

С прошлым.

Новая не новая, однако ж чуть-чуть другая и все более — со временем, которое, известно, все лечит, — жизнь.

А что же Марина?

Марина же по-прежнему в старой конторе, только и в ее жизни кое-что поменялось. Тот самый душевный ресурс, о котором уже говорилось, оказался таким сильным, что начала рушиться вся ее прежняя семейная жизнь. Никак не могла она избавиться от

тоскующих глаз Эдика, которые ее словно преследовали. Непременно нужно ей было их видеть — к ней обращенные, словно протянутые руки утопающего. Человеку ведь важно знать, что он нужен. Одно дело, когда просто нужен, и совсем особое дело — когда...

Омут, одним словом.

Наш сюжет подходит к концу. Так как-то само собой получилось, что маршруты Эдика и Марины в иные дни и часы пересекаются, Марина берет его под руку, и они вместе идут куда-то, в кафе или в парк, в театр или к Эдику в его однокомнатную холостяцкую квартиру, которая теперь как бы и не очень — благодаря Марине — холостяцкая.

В общем, души их по-прежнему откликаются друг другу и, смотришь, все в конечном счете образуется. Потому что жизнь есть жизнь, она тоже как омут...

Благодетели

С некоторых пор они уже не удивлялись, когда в дверь раздавался звонок, и потом жена возвращалась со знакомым длинным конвертом в руке. Белый чуть припухлый такой конверт, без всякого рисунка, с одной единственной надписью — Р.Ю., то есть ему. В конверте же, они не сомневались, тесным рядком бледно-зеленые купюры, разного достоинства и свежести (некоторые подержанные), но в общей сумме всегда ровно триста. Трудно сказать, почему именно триста, а не двести или сто или пятьсот. Что-то, видимо, было в этом числе, знаковое или даже сакральное.

Ну и ладно, дареному коню в зубы не смотрят. Хотя всегда некоторая неловкость: с чего бы?

Особенно напрягалась Тина. Так просто деньги с неба не валяются. Другие бьются, стараясь заработать хоть треть этой кругленькой и по их жизни немаленькой суммы, а тут неведомый благодетель (или благо-

детельница) осыпает их вожделенными бумажками. Не их — его. Но как бы и ее, все-таки семья.

Р.Ю., впрочем, относится к этому неожиданному подарку судьбы почти равнодушно: откуда-то у него уверенность, что так и должно быть: судьба и общество обязаны печься о своих духовных избранниках (поэты первые среди них), а уж кто выступает от их лица это уже не имеет значения. Хотя нельзя сказать, что он не испытывал совсем ничего. Когда им впервые доставили конверт и они с недоумением заглянули в него, изумлению их не было предела. Поначалу даже мелькнула мысль, и даже вполне определенно, что это розыгрыш, шутка, хотя и довольно скверная, если учесть состояние Р.Ю., который только что перенес серьезную операцию на сердце и лежал в тяжелой депрессии. Если сердце, то значит уже не будет как прежде, всего теперь остерегаться — прощай не только вольная полубогемная жизнь, но и вообще. Даже с обычными эмоциями надобно поосторожней, окорачивать себя постоянно — беречься, одним словом. А какой поэт без эмоций?

Нет, правда, если беречься и всего опасаться, что за жизнь?

Он как раз лежал с тяжелыми всякими мыслями на этот счет. Едва за сорок, а уже почти инвалид. Еще и дар только-только по-настоящему начал раскрываться, обретая зрелость и весомость, и тут, на тебе... И сколько не утешай себя, что Пушкина и Лермонтова к этому возрасту вообще уже давно не было на свете, а ты еще можешь немного поколготиться, стихи, то-се, может быть, и вина попить, женщины, ну, это ладно, а все равно как-то печально. Ведь буквально на взлете подсекло. Судьба, не судьба, без разницы, главное, что уже не так, как прежде. То был силен и свободен, а теперь жена почти как сиделка. Да и ей

каково? Сын еще не вырос, а тут муж — инвалид. Это в наше-то крутое время! И раньше-то добытчиком был не бог весть каким, а теперь и вовсе слег.

Печальные стихи рождались, и в больнице (на скорой увезли), и по возвращению домой. Щемящие. Пусть читатель поверит на слово. Тем более что когда их в газете опубликовали, много звонков было. Все-таки в России литература — больше, чем литература, а может, просто люди такие отзывчивые, чуткие к искусству и к чужой боли. Восхищались стихами, приветы передавали, теплые слова говорили, которые жена ему потом передавала. И то хлеб — жена слышит, что его творчество кое-что значит, — хоть какая-то компенсация за те тяготы, какие ей теперь с ним предстояли.

Нет, грустно, грустно...

И тут этот неожиданный конверт.

Зеленые.

Сумма.

Долго рассматривали с женой на просвет, шупали, мяли, сгибали, чуть ли не на зуб пробовали... Нет, не фальшивки, все настоящие, хрустящие, звенящие, шероховатые — как положено.

А еще — записка. «Желаем скорейшего выздоровления и новых творческих свершений». Подпись неразборчивая.

— От кого это? — строго спросила Тина.

Р.Ю. недоуменно пожал плечами.

— Неужто не знаешь? — недоверчиво переспросила жена, догадывавшаяся о разных романтических увлечениях мужа (только влюбленный имеет право на звание человека).

Правда-правда, не знает, а вопрос, вернее, тон, каким тот был задан, Р.Ю. счел обидным (особенно в его положении) и молча повернулся к стене.

Поначалу те деньги так и оставались в конверте (на всякий случай): мало ли, во что это может вылиться, потом ведь, не исключено, и отдавать придется. Пожелание творческих успехов, конечно, настраивало на более оптимистический лад, но ведь и оно могло быть всего лишь иронией и шуткой, а деньги...

Ох уж эти деньги! Конечно, они им просто позарез нужны: лекарства импортные дороги, а врачи выпи-сывали именно их. Вообще все дорого. Тем не менее конверт пролежал некоторое время в верхнем правом ящике письменного стола Р.Ю., готовый к употреблению. Востребован он был лишь месяц спустя, когда в дверь снова позвонили и точно такой же конверт с точно таким же содержимым снова оказался у них в руках. Единственно, что в по-прежнему анонимной записке было теперь поздравление с праздником Святой Пасхи и пожелание здоровья и душевного мира.

Чудеса продолжались, и они решили, что таинственный спонсор в конце концов имеет право остаться неизвестным. Ведь так или иначе, но было понятно, что неведомый благодетель до глубины души растроган стихами Р.Ю. и потому готов к подобного рода подаркам. Готов, и отлично! Триста долларов были обменены на родные деревянные и благополучно истрачены на первоочередные семейные нужды (в первую очередь, понятно, на лекарства для Р.Ю.). На следующий взнос был приобретен мобильный телефон, по которому жена во время своего отсутствия (магазины, аптеки и пр.) могла легко узнать, все ли в порядке дома и как он себя чувствует.

Чувствовал же Р.Ю. себя неважно, но тем не менее особой тревоги состояние его, слава Богу, не внушало. Нужно было время, чтобы здоровье его вошло в прежнюю колею, а для этого требовались в первую очередь покой, свежий воздух и беззаботность. Сле-

дующий вклад в это праведное дело — восстановление здоровья Р.Ю. — был внесен только через три месяца, и в приложенной записке ему было рекомендовано съездить в санаторий, путевка куда, оформленная на его имя, и была вложена в конверт.

Санаторий так санаторий, дело действительно нужное, к тому же и более накладное. Жена Тина, правда, несколько покривилась: уж очень авторитарно вел себя неведомый спонсор. Вроде как других мнений и быть не могло. А если бы Р.Ю. не захотел, например, ехать в этот санаторий, что тогда?

Выходило, в сущности, что ими, то есть Р.Ю. (как, впрочем, Тиной) манипулируют. Диктуют, что делать. Но это промелькнуло мимолетно, поскольку все-таки преувеличение: никто их особенно ни к чему не принуждал, а путевка в санаторий как раз очень кстати, в семейном кругу эта тема уже не раз поднималась.

Вернулся Р.Ю. окрепший, с хорошим цветом лица и немного смущенной улыбкой. Оказывается, в санатории поэт наконец-то встретился со спонсором. Им, как правильно и подозревала супруга, оказалась женщина, сравнительно молодая (Р.Ю. помялся: лет тридцать пять-сорок, разве у женщин поймешь), жена крупного предпринимателя (они там пробыли вместе с мужем два дня, субботу и воскресенье). Причем предприниматель был вовсе не отечественный, а транснациональный (живущий то там, то здесь, но базировавшийся в основном в государстве Люксембург).

Это, впрочем, ничего не значило, потому что сама женщина была просто дама, очень милая (Р.Ю. сказал это без малейшего оттенка любострастия) и большая поклонница поэзии, русской в первую очередь. То есть написанной на русском языке, независимо от

происхождения (русского, татарского или еврейского) ее авторов. А главное (в данном конкретном случае), пользующаяся большим авторитетом у мужа, который, собственно, и является (с ее подачи) меценатом и их благодетелем. В эти два дня они втроем довольно много времени провели вместе, гуляли по лесу, катались на их «БМВ» и, естественно, много говорили об искусстве (о поэзии, естественно, больше всего) и о жизни.

Надо признать, женщина выказала большую тонкость, просила Р.Ю. почитать свое, и тот, разумеется, не мог отказать (даже если был не в настроении), хотя в основном из прежнего, опубликованного, потому что после того «больничного» цикла его производительность резко упала, что-то не клеилось, но он, впрочем, и старался, оберегая сердце, не напрягаться. Значит, еще не вызрело, а насилием тут, как ни тужься, ничего не достигнешь. И она (они — муж в том числе) слушала, а перед самым отъездом вручили ему точно такой же, как и прежде, конверт, где поэт нашел, помимо суммы в двести долларов, записку: «Спасибо за приятно проведенное время. Желаем скорейшего выздоровления и новых стихов».

А еще говорят (Р.Ю. набылся), коммерсанты — дикие. Лишний довод против огульных обвинений и обобщений. Ведь мало того что откликнулись, еще и почти что стипендию назначили, на которую не надо было подавать заявку, а значит, и не выступать в роли просителя, что, конечно же, для гордости любого поэта (и не только) несколько болезненно. А тут, можно сказать, по собственной инициативе (по собственной ли?) просто взяли на содержание. Даже если и временно, но ведь облегчили же жизнь, нет разве?

Настолько удивительно и даже неправдоподобно (скажи кому — не поверят), что можно (без особых преувеличений) счесть подлинным чудом. А если

глубже вдуматься, любое чудо — оно не просто так. Чья-то мудрая и добрая воля распространилась и на Р.Ю. с семьей, приняла их под свое покровительство, не дав сникнуть во мраке тяжелого отчаяния. То есть благодетели их действовали как бы по высшей указке, Провидение их направляло, вот о чем Р.Ю. думал и чем с женой поделился.

О, это было почти откровение!

Да-да, кто-то, справедливый и милостивый, вдруг разглядел страдание Р.Ю. и простер над ним свою всемогущую длань, чтобы помочь ему выкарабкаться, принял под свой могущественный патронаж. Выходит, Р.Ю. теперь был не один (жена не счиатается), с ним был Некто, кому он должен был ежечасно возносить молитву благодарности.

Он и возносил. И жена Тина (она и прежде, впрочем) это делала.

Однако было и другое, что несколько беспокоило Р.Ю., и с каждым днем все больше. В отличие от здоровья, которое постепенно восстанавливалось (он даже стал по утрам заниматься легким джоггингом, чего прежде никогда не делал), сколько ни пытался (а он все-таки пытался), стихов у него не получалось. Так, выскользнет какая-нибудь одинокая строчка («В струе воды лобзанье губ...») — и все, дальше не шло. Обрывалось.

Все, что образовывалось вслед за этим, либо было похоже снова на первую строчку стихотворения, либо вообще ни на что не похоже, а о том, чтобы продолжить дальше и вообще речи не шло. Он даже начал подумывать, не перейти ли ему вообще на жанр моностиха: в конце концов, любое начало известных шедевров ничуть не хуже целого стихотворения и вполне может существовать как самостоятельное произведение. Ну например: «Я встретил вас — и

все...», «Средь шумного бала случайно...», «Я полюбил науку расставаний...», «Снег идет, снег идет...»... Нет, в самом деле, неплохая же идея. Хотя одно дело уже признанные шедевры, другое — его однострочия.

Тут он сразу впадал в сомнения.

Пытался он строить как стихи и благодарственные молитвы — не получалось. Словно иссякло в нем. Чтобы как-то оживить, он помногу раз перечитывал те три стихотворения, которые были опубликованы в газете после операции и принесли ему столько теплых откликов, не говоря уже о великодушном денежном вспомоществовании, коим они продолжали пользоваться. Он перечитывал их (как бы чужими глазами), они ему нравились, где-то неподалеку даже начинало бродить что-то вроде вдохновения, но... напрасно.

Ничего хоть сколько-нибудь похожего не рождалось, так что зря он тискал в пальцах карандаш и тыкал им в белый тетрадный лист. До обидного. К тому же возникало неприятное чувство, что деньги, которые ему продолжали передавать почти каждый месяц, реже — в два, он просто не оправдывает. О нем (и его семье) заботятся, а он не отрабатывает. Даже если говорил себе, что в принципе вовсе и не обязан, поскольку не просил.

Так или иначе, но благодетели продолжали его лелеять. Дважды дама звонила ему (однажды из Амстердама, другой раз — из Парижа), интересовалась самочувствием его, а также нет ли чего нового (в смысле стихов). На последнее он смущенно мялся, отвечал, что пытается, и потом весь день ходил подавленный.

Вроде как просто звонила, из доброго расположения и бескорыстного интереса к его личности (беседы в санатории), а между тем невольно (или намеренно?) напоминала, что он-таки поэт и деньги ему дают

не просто, а для сохранения его дара (не только здоровья). От него вроде как ждали не банально нормального физического функционирования, а некоторым образом творческих результатов. Давали понять, что лафа может и кончиться, тем более что и состояние его (физическое) получше.

«Все в воле Божьей...» — сказал он в ответ на ее пожелания здоровья и творческого настроения. «Правда? — с неожиданным сомнением спросила она. — Вы уверены?».

Р.Ю. даже растерялся, не ожидав такого поворота, и сразу не нашелся, что ответить. Не столько даже сам вопрос, сколько еще что-то насторожило в ее голосе. «А вы думаете иначе?» — осторожно поинтересовался он. «Не знаю, наверно, вы правы», — промолвила благодетельница, и в еще минуту назад ласковом приветливом голосе почудилась Р.Ю. охлаждающая нотка отчуждения.

Впрочем, какое это имело значение?

А вот и имело.

Ни в этом месяце, ни в следующем конверта больше не приносили. Жена интересовалась: где же субсидия? Что-то давно не поступало ничего, а это, как ни странно (вовсе не странно), быстро дало себя знать на семейном бюджете: рацион стал как-то победнее, планировали купить новую зимнюю куртку самому Р.Ю., лыжи сыну Грише да и Тине нужно было поправить один зуб — выходило в общем довольно ощутимо. Р.Ю. пожимал плечами: мало ли, и у спонсоров тоже бывают проблемы. И вообще их элементарно может не быть в городе. Хотя, и Тина права, не обязательно быть в городе. Раньше же получалось.

Да, раньше получалось, а теперь не получается. Всегда что-то бывает впервые. И потом, никто ведь не обязан. Захотели — дали, захотели — не дали. И

так Р.Ю. уже сколько пользуется чужим благорасположением. Надо и честь знать.

И то правда — попользовались.

Рассуждая так, Р.Ю. тем не менее чувствовал, что отсутствие регулярного конверта не только беспокоит или расстраивает его, а действует очень удручающе. Может, даже не столько в конверте было дело, сколько в чем-то ином, более серьезном (хотя и конверт тоже серьезно). Ну как если бы его любила женщина, преданно и самоотверженно, а потом внезапно разлюбила. Сразу пустота вокруг, да и в душе, особенно, пожалуй, в душе. Любовь ведь возвышает, делает избранным, и когда лишаешься ее, то будто падаешь неведомо куда, земля уходит из-под ног.

Тут поделимся сокровенным: собственно, Р.Ю. только тогда и почувствовал себя Поэтом (с большой буквы), когда выяснилось, откуда конверт и что его оценили и признали. Не важно, что обыкновенные (раз *его* признали — значит, уже не обыкновенные) бизнесмены. Ведь за ними было еще нечто, высшее и направляющее, для коего он тоже небезразличен. Нельзя не видеть в обычных житейских вещах (а это и есть обычное дело — дать человеку денег) их более глубокой, так сказать, метафизической подоплеки. Все это (не только поэты) чувствуют, но мало кто почему-то осознает.

Р.Ю. осознавал.

Загадка только, почему так все внезапно оборвалось (может, не навсегда?). На какой-то странной, невнятной, отчасти даже тягостной ноте (тот разговор по телефону) оборвалось. Да и не поправился он еще окончательно...

Нет, не поправился!..

Фата-моргана

Брата не было уже две недели, а Сева по-прежнему не мог зайти в эту комнату.

Как бы не мог зайти, потому что, разумеется, заходил, но только когда никого в квартире не было. С некоторых пор (взросление) он стал очень послушным — выполнял все, что велят. Это не значит, что он делал все, о чем просили родители. Мог и заупрямиться. Но если просили чего-то не делать — наперекор не шел. И не только потому, что уважал чужое нежелание (больше, чем желание). Но и потому, что в любом запрете присутствует (такая мысль) тайная правда, нацеленная на сохранение равновесия жизни.

Но мы сразу оговорились: он *как бы* не нарушал. На самом же деле это почти невозможно — не нарушить. Все всегда нарушают, даже самые стойкие. Хотя бы однажды. По одному нарушению на один запрет. Запрет просто предполагает нарушение,

заинтриговывает, подталкивает к нему. Если не нарушить, то хотя бы вплотную приблизиться. Если запрет — грань, то так и тянет заглянуть за нее, хоть краешком глаза. Хоть чуточку, ну самую малость переступить.

Сева не спит в той комнате, где брат, хотя в их комнате трое — родители и он, а в его углу, за платяным шкафом, очень тесно. Кроме того, родители постоянно слушают радио или включают телевизор. Они могут заниматься совершенно другими делами или даже разговаривать, звук радио им не мешает (умение сконцентрироваться), а если и мешает, все равно не выключают — вместо этого пытаются перекричать музыку или диктора, в крайнем случае сделают чуть-чуть потише. Под этот шум трудно заниматься, но Сева постепенно адаптировался. Теперь ему по силам.

Родители полагают, что если у него есть угол (маленький такой закуток) — однотумбовый письменный стол и кушетка, — то и печалиться не о чем, вполне достаточно, они так тоже жили (у отца и такого закутка не было, он в детском доме воспитывался, а теперь, между прочим, — кандидат физико-математических наук). Отец считает, что спартанские условия только способствуют умению сосредоточиться, сконцентрироваться, отключиться, если надо, от внешнего мира. И вообще скученность способствует теплу в доме и правильному воспитанию, потому что всё и все на виду, никакой отъединенности, что может вести к зарождению порочных склонностей. А на миру, как известно, и смерть красна.

Так вот, они все на миру (отовсюду равномерный свет, ни тьмы, ни тени), а брат значит все-таки не совсем, потому что у него отдельная комната, кото-

рую ему уступили родители, отгородив Севе угол в собственной (распределение красок как у Рембрандта: часть скрыта во мраке). Это из-за того, что у брата (взрослый) появилась невеста (из Сыктывкара). Они учатся вместе в институте, невеста до этого обитала в общежитии, но теперь переехала к ним, брату с ней теперь почему-то нужно жить вместе, хотя она вполне могла бы оставаться в своем общежитии, а встречаться где-нибудь еще, в кино или — в хорошую погоду — на бульваре.

Но родители почему-то придерживаются другой точки зрения: брату обязательно нужно пожить вместе с ней у них, в тесноте и скученности, чтобы пройти процесс грубой притирки в более трудных (спартанских) условиях, однако, именно в силу этого и более полезных в воспитательном плане.

Сева не совсем понимает, почему жизнь в их квартире — более трудные условия (хотя теперь для него самого это отчасти так), чем жизнь в том же общежитии или, скажем, в снимаемой комнате. С другой стороны, для найма комнаты или тем более квартиры нужны деньги, а их у брата и его невесты (как и у родителей) нет. Но родители желают своим детям добра, и потому готовы стеснить себя, чтобы личная жизнь одного из сыновей могла наладиться. Да и как им (брату и невесте) лучше познать друг друга, если не в совместной с родителями жизни? Уклад другой, нравы другие, привычки — тут поневоле раскроешься более полно, а там станет ясней, надо ли им связывать свои жизни более прочными узами.

Вот почему родители решили ужаться и теперь живут вместе с Севой в большой комнате, хотя для них, конечно, это тоже ошутимое неудобство (привычки разные). Ничуть, наверно, не меньше, чем для него. Правда, домой они приходят с работы только вечером, и весь день после школы он один в целой

квартире, которая — в отсутствие других обитателей — кажется ему гигантской. Но квартира что, самое главное — это, конечно, комната, где живут брат с невестой. Верней, жили. Теперь они уехали вместе в экспедицию, в комнате никого, но и Севе тоже туда доступа нет.

Как бы нет.

Интересно, что запрет исходит даже не от брата (хоть и поругивались, но в целом сосуществовали достаточно мирно), а именно от родителей. Брат ничего на этот счет Севе не говорил, в конце концов, совсем недавно это была и Севина комната. Сколько он помнит себя, столько помнит и эту комнату с небольшим эркером, где на подоконнике глиняные коричневые горшки с цветами, которые они с братом постоянно забывали поливать (а теперь забывает невеста, вызывая недовольство матери), старым полированным шкафом и стеллажом из десяти чешских книжных полок, поставленных друг на друга. И вид во двор на громоздящиеся возле черного хода в магазин ящики из-под помидор и прочих овощей и фруктов, на пасущихся на крыше серо-кирпичной трансформаторной будки напротив голубей, на пыльные кроны тополей...

Теперь в комнате произошли некоторые изменения, правда, не такие уж значительные. Главная перемена — новая отличная тахта, низкая, широкая — взамен той, на которой раньше спал брат (такая же раздолбанная, пошатывающаяся, поскрипывающая кушетка, как и у Севы). Не кровать, а спортплощадка (в полкомнаты). Аэродром.

Севе почему-то кажется, что главный предмет запрета (всегда есть главный и неглавный, более тайное и менее) — именно эта раскидистая кровать, иногда аккуратно застеленная (отцовская школа), иногда, на-

оборот, вся перекрученная, со сбившейся на пол простыней и полувывлезшим из пододеяльника одеялом.

В остальном с тех пор, как невеста поселилась у них (белая полупрозрачная фата и белоснежное платье с кружевными оборками), мало что изменилось. У нее есть имя — Рената, красивое, редкое имя, да и сама ничего, хотя не на Севин вкус — слишком чернявая, с усиками и коротким узким носиком. Однако ему почему-то легче не называть ее по имени. Она — некое особенное существо (девушка или женщина, лет двадцати, но при этом невеста — важное уточнение). Поэтому Сева почти ни разу не назвал ее по имени с тех пор, как она с ними.

Это создает некоторую неловкость, но что поделаешь? Удастся обойтись и без имени — с помощью «эй» или «послушай». Да, собственно, это и необходимо — не так часто возникает такая необходимость. Если на то пошло, не так уж часто они с ней и встречаются, хотя живут теперь в одной квартире. «Привет», «пока», «как дела» — и все. Нормальные отношения. А сказать «Рената» почему-то язык не поворачивается. Это она для брата Рената (иногда он ее еще «зайчиком» называет) и для родителей, а для Севы — кто? Белое свадебное платье и только (даже если она в джинсах или юбке).

Если бы она была женой, тогда проще и понятней, материальней, что ли, а невеста — нечто призрачно-туманное. Сколько раз они уже сидели все вместе за столом на кухне, но он все равно не мог смотреть, как она ест (между прочим, как все люди, ложкой и вилкой, и жует точно также). Если бы ее не назвали братниной невестой, он бы, наверно, и относился к ней иначе, но тут... Вроде бы обычная девица (чернявая и с усиками), но как с ней обходиться — непонятно.

Севе, в общем, наплевать, чем они там занимаются в комнате за закрытой дверью. Однажды случайно (забылся), не постучавшись, туда заглянул и увидел: Рената (невеста) лежит на боку, подперев голову рукой, на этой их широченной тахте — колени поджаты, а ноги обернуты подолом длинной серой шерстяной юбки (для тепла), и книгу читает, а брат за их общим (когда-то) с Севой столом что-то пишет. Мирная такая, почти идиллическая семейная картина — он даже комнаты не узнал, будто в чужой дом заглянул.

Брату в этом смысле подфартило — по причине его старшинства и невесты: теперь комната — его (родители даже не сказали, что временно), и Севе ничего не остается, как смириться со своим зашкафным существованием, осваивая иной вид из окна (те же голуби плюс ветви вымахавшей аж до шестого этажа березы). Иногда, правда, вспыхивает обида, что в твоей комнате — совершенно чужой человек, даже не родственник (обычно там селили наезжавших из других городов родных — их у отца и матери немало по необъятным просторам родины, на Новый год нередко съезжались к ним, а Севе с братом стелили на раскладушке и на сдвинутых стульях).

Все бы ничего, но только вдруг Сева понял, что комната для него кое-что значит и что запрет входить туда, во всяком случае в отсутствие брата, сильно его задевает. Поэтому, когда никого нет (родители на работе), он осторожно прокрадывается туда. То есть открывает и входит, но все равно что прокрадывается (запрет). Теперь там пахнет совсем иначе, чем когда они жили вместе с братом. Аромат женских духов (мать духами не пользуется), предметы женской косметики на столике возле большого овального зеркала (тоже новая вещь), сережки, небрежно брошенный на стул голубой ситцевый халатик...

Сева морщится. Брата теперь здесь меньше, чем когда-то. Книги, старая радиола «Сириус», все, что было их общим имуществом. Женский чуждый дух.

У Севы ощущение, что часть его прошлого вдруг провалилась куда-то, но вместе с тем возникло что-то другое, некая тревожная новизна, — ему трудно примирить эти два чувства. Как бы ни было, его постоянно тянет зайти в комнату брата (правильней сказать: невесты), он мнетя возле двери, оглядывается настороженно, помня про родительский запрет, но все равно нажимает ручку и оказывается внутри.

Гулькают за окном голуби, солнечные лучи золотят вьющуюся в воздухе пыль — странная, будто воскресная тишина, хотя обычный будничныи день. Всегда почему-то кажется, что здесь как-то особенно тихо — может, от его собственной настороженности, от опасения, что вот-вот кто-нибудь застигнет из родителей (а то вдруг невеста или брат).

Вообще-то ему нечего бояться: мало ли что понадобилось в этой комнате, ничего особенного — зашел и зашел. Однако запрет есть запрет, значит, родители что-то такое имеют в виду, раз именно ему туда нельзя. Иногда даже начинает мерещиться, будто от него что-то там прячут такое, тайное. И связано это, несомненно, с появлением невесты.

Ладно, когда она с братом здесь, но теперь-то их нет — можно бы запросто снова переселиться в освободившуюся, пусть временно, комнату, чтобы не мешаться друг у друга под ногами. Но родители проявляют какую-то удивительную *щепетильность* (такое слово), будто Сева мог там что-то *набедокурить* (трудно представить — *что* бы).

Однажды отец заглянул в комнату и увидел его там, на краю новой широкой тахты, застеленной красивым бежевым пледом (невестиным). Сева просто

присел (на самом краешке), без всяких тайных намерений, ностальгически ощущая себя в знакомом продышанном пространстве, словно в колыбели (приятное ласкающее чувство), однако отец почему-то вдруг напрягся весь, даже покраснел от волнения, словно застал его за чем-то неподобающим, и строгим, непривычным, чуть ли не срывающимся от возмущения голосом спросил: «Зачем ты здесь?» Как если бы это было какое-то святилище и Сева мог осквернить его. Чего вдруг?..

Да, у Севы случаются порой приступы любопытства, когда он вдруг начинает лихорадочно рыться, например, в отцовских архивах, бумагах, письмах, фотографиях или разных прочих вещах, включая и одежду. Это вполне объяснимо: от них веет незнакомой, но тем не менее близкой, отчасти даже родственной (отец же!) жизнью, которую Сева не может (как сын своего отца) полностью отделить от себя. Он как бы узнает ее, чужую (с металлической холодноватой отдушкой), словно сам был участником тех или иных событий, знаком с никогда невиданными людьми, а в отцовском пиджаке и рубашке с галстуком чрезвычайно похож на него в молодости (больше, чем брат) и кажется сам себе намного взрослее. Вроде как он — отец (или отец — он).

В конце концов, ничего такого уж постыдного в этом любопытстве нет: он ничего не берет без разрешения, не шпионит, а просто рассматривает предметы (вступает с ними в контакт), ожидая каких-то новых ощущений.

Но здесь, конечно, другое. Комната влечет его даже не столько своим уютом, сколько памятью. Здесь он болел воспалением легких, складывал кубики, лепил из пластилина, играл в солдатиков, стрелял из рогатки по голубям...

Здесь было *его* место, он привык к нему, а теперь чувствует себя лишенцем. У человека должна быть своя ниша, а он вдруг из нее выпал и там почему-то разместились чужая женщина.

Рената.

Когда он возвращается из школы, то ловит себя на чувстве, что в той комнате хотя и никого нет, но все равно кто-то есть. Там происходит некая жизнь, которая забрана у него, а теперь еще и закрыта. Он топчется перед дверью, видя полоску дневного света из-под нее. А вечером оттуда просачивается электрический свет, словно включена лампа, хотя там никого нет. Только торчит в двери ключ, повернутый на один поворот — даже не от Севы, а чтобы не распахивалась от сквозняков или, возможно, как символ запрета.

Но ведь это не обычный запрет — в нем есть загадка, отчего еще сильнее подмывает нарушить. У Севы отняли не просто прошлое, но и будущее, с ним не посчитались — почему же он должен тогда беспрекословно исполнять чужую волю, даже если это воля родителей?

Вся полнота жизни вместе с комнатой (воспоминания и надежды) перешла к брату, Севе же не оставили ничего, кроме закутка за шкафом. Когда он думает об этом, ему становится жаль себя, в нем поднимается волна протеста, и он поворачивает ключ.

Тут бы можно ввести мотив сна — беспроигрышное разрешение психологической коллизии: герою снится, как он проникает в комнату или продолжает жить там — жалкие потуги воображения, никуда, собственно, не ведущие. Или что он влюбляется в невесту брата, как бывает у младших, всегда немного завидующих старшим, а там ревность, обиды,

подсматривания-подглядывания и пр. — тоже достаточно достоверный вариант. Или он — в знак протеста — уходит из дома, бросает школу, уезжает в какую-нибудь дальнюю археологическую или геологическую экспедицию (как брат с невестой) и там лелеет свою тоску по покинутому привычному жилью, пока со временем (которое лечит) обида не рассосется.

Но все происходит по-другому. Из экспедиции брат возвращается почему-то один, без невесты — что-то между ними там, судя по всему, случилось. Экспедиция — тоже трудные условия, тоже грубая притирка, тоже на свету и на миру, в скученности и дискомфорте (на то и экспедиция). Там, впрочем, нет ни родителей, ни Севы, но зато есть другие люди. Это здесь, дома, можно наложить запрет, и Сева, послушный, будет (как бы) следовать ему, а там, на неведомых просторах, никто никому не указ и запрет не запрет. Там завывание ветра и песок в глаза (степь). Это здесь Рената — невеста (фата), а там — кто?..

Однако Сева так и живет в своем закутке за шкафом, каждый день встречаясь с братом, который остался одиночным обитателем комнаты (в ожидании невесты?), и почему-то вспоминает довольно часто Ренату — причесанную или слегка разлохмаченную, в косметике или без, в халатике, в юбке либо в джинсах... В принципе она ведь была вполне нормальная, приветливо улыбалась ему, сталкиваясь на кухне или в коридоре, и даже его косая, не слишком доброжелательная ухмылка в ответ да еще взгляд исподлобья ее не смущали. Вроде не слишком претила ей эта жизнь на миру, которая Севу, если честно, достает крепко.

Если же копнуть поглубже, то Сева даже скучает по этой Ренате, из-за которой что-то необратимо изменилось в их с братом бывшей комнате (его по-

прежнему тянет туда, и никто теперь не запрещает). И вообще без нее в их небольшой квартирке стало как-то пустовато.

А с братом у него нормальные отношения (даже если они иногда ругаются и ссорятся): в конце концов, брат — старший, умный, Сева относится к нему с почтением, хотя и старается не показывать этого. Чтоб не зазнавался.

В принципе же человек не должен зависеть от места и вообще зависеть, человек свободен, а уж что кому померещится или упадет в голову — тут никто не виноват...

Питомник

Замечательное свойство — любовь к животным, собакам там или кошкам, или к тем и другим (как и ко всякой прочей живности), что немало говорит о характере человека, о свойствах его души — в лучшем, разумеется, смысле.

Анна любила животных — и в детстве, и теперь, когда жила с мужем, выдающимся, можно даже предположить, отчасти гениальным человеком (в сфере бизнеса). И муж тоже их, животных, любил, с детства, когда, по его словам, чувствовал какое-то ошеломительное, детству, в общем, не особенно свойственное одиночество (один у родителей). Впрочем, что удивляться: гениальность, увы, жизнь не облегчает...

Так вот, животные (собаки и кошки или даже морские свинки и домашние крысы) ему это одиночество скрашивали, верней, создавали иллюзию неодинокости и благосклонности к нему мира (животные — олицетворение мира, первоначально природного, а

потом и всего прочего), и он эту любовь ценил едва ли не больше, чем карьеру и профессиональный успех, который ему, слава Богу, сопутствовал, и не просто ценил, а еще и испытывал благодарность — по-своему высокое чувство, в мире, увы, так мало значащее.

В самом деле, если животное человеку помогает жить (а именно так часто и бывает, потому что в кругу себе подобных попробуй, однако, найти такие бескорыстие и преданность), то только совсем охладевший душой человек не будет испытывать к ним теплого признательного чувства. Гениальный муж Анны в этом смысле проявлял себя с самой что ни на есть человеческой стороны, что Анне в нем было очень близко. Ведь от гениальности порой веет такими разреженными горными высотами, что впору задохнуться, а тут она черпала воздух и, больше, родство душ (основа любви).

Почему мы с этого начали? А потому, что в доме у них всегда было много собак и кошек, много — не две-три, что вполне достаточно даже для семьи обеспеченной, но действительно много (не будем называть количество — в разные времена по-разному), так что Анне приходилось туговато, особенно после напряженного рабочего дня. Понятно, что за животными надо ухаживать — кормить, поить, вычесывать, следить за здоровьем и тому подобное, и когда Анна возвращалась домой, вся эта орава влюбленных в нее зверей встречала ее радостным разноголосым воплем, теснясь в их, прямо скажем, немаленькой прихожей.

С одной стороны, приятно, когда тебя так встречают, даже и животные. Человеку нужно внимание, особенно в наше судорожное время. Детей у Анны и Бориса не было, и, естественно, часть нерастраченной потребности отцовства-материнства распространялась у них на братьев наших меньших. Когда еще

только начинали жить вместе (Борис был обычным младшим научным сотрудником), а не таким большим человеком, как теперь, то у них и тогда в их малогабаритной однокомнатной квартирке обитали собака и две кошки.

Но в Борисе, похоже, жила страсть — не мог он пройти равнодушно мимо бездомного животного. И если то проявляло к нему хоть малейший интерес и тем более симпатию, то он тут же делал из этого вывод, что оно не должно оставаться бесприютным и его персональный человеческий долг — взять животное на свое попечение, обогреть и обиходить. Надо сказать, ему было безразлично, большая собака или маленькая, пушистая или короткошерстная, с длинной или короткой мордой (равно и кошки, хотя собакам он отдавал предпочтение), нет, тут он особенно не эстетствовал. Хочет собака жить с ними, пусть живет, не жалко. И по мере приближения к вершинам успеха и расширения финансовых возможностей, животные тоже прибавлялись, заполняя их значительно увеличившуюся жилплощадь.

А что же Анна?

Как уже было сказано, она с пониманием относилась к этой мужниной страсти-странности, отчасти и сама была такой, потому что человек не должен замыкаться на себе, а животные — та недостающая часть природы, которая нужна для нормального самочувствия.

Конечно, нелегко, все-таки она тоже работала от звонка до звонка (на телевидении), а потому после возвращения домой ей хотелось прилечь, посмотреть интересную киношку или даже просто почитать книжку, уютно закутавшись в плед под мягким желтым светом торшера. А вместо этого, в дождь, снег и ветер приходилось выводить на прогулку всю свору,

тянущую в разные стороны поводки и натирая нежную ладонь до грубых кровоточащих мозолей.

Утром, правда, это брал на себя Борис (вечером он возвращался поздно), что давало возможность Анне немного понежиться в теплой постели. Но кормежка и уборка квартиры все равно оставались на ней — Борис не успевал, да и не хотел — ему и без того, по его словам, хватало. Не убирать же было невозможно — в противном случае в квартире появлялся совершенно невыносимый запах псарни (с кошачьей отдушкой).

Были, разумеется, и еще неудобства, например, по части одежды: Анна — красивая женщина, все время на людях, так что хотелось хорошо выглядеть, приодеться, то-се, а что ни одень и сколько ни чисть, даже и специальной щеткой, сколько ни стряхивай с себя — все равно собачьи шерстинки, так и ходишь, малоприятное ощущение.

Но Анна тем не менее мирилась — в жизни ведь всегда чем-то приходится жертвовать. А радости от животин, что ни говори, много, приласкать и самой приласкаться к какой-нибудь Моське, прижать к себе или самой прижаться, по шкурке кудлатенькой провести ладонью, в глаза карие преданные собачьи или загадочные зеленые кошачьи заглянуть — столько в них внимательности и ласковости, что на душе сразу теплей.

Они не раз это обсуждали с Борисом, объединяясь гармонично в совместном пристрастии. Хотя каждое новое приведенное (или принесенное) в дом существо вызывало у Анны поначалу если не протест, то некоторую оторопь: как-никак, а дополнительное бремя. Иногда ее даже охватывал страх: ладно, две-три, еще можно вывести за один раз, но четыре-пять — уже сложно, и если гулять, то в два-три приема, а это уже время и вообще.

«Ничего, — утешал исчезающий из дома на весь день и до позднего вечера Борис, — как-нибудь справимся. Ты посмотри, какой хорошенький, глазки умненькие, ушки симпатичные, наверняка в нем кровь кокера, не оставлять же. Видно, что потерялся, ухоженный, вон как смотрит, ну что, парень, будем дружить?»

А потерявшийся мнимый кокер (типичный дворový метис) признательно сопел и вилял хвостиком, норовя завалиться на спину и демонстрируя пыльное желтое (или серое) брюшко.

«Ишь как лижется!»

Все это замечательно, но не хватало ни времени, ни сил.

Иногда питомцы начинали хулиганить, носясь друг за дружкой по квартире, виснуть на шторах, когтить (или грызть) мебель и рвать обои, такой гвалт и бедлам поднимался, что звонили рассерженные соседи снизу (или сверху), и Анне (главным образом, хотя иногда и Борису) приходилось выяснять отношения.

Между тем Борис продолжал устремляться к финансовым вершинам, ему удавалось, за ним приезжал большой черный автомобиль, к которому со временем прибавился еще один, следовавший по пятам, времени ему ни на что не хватало, и даже животные в доме перестали прибавляться, поскольку Борису негде их было подобрать — в общественном транспорте он уже не ездил, да и по улицам города тоже не ходил...

Ну и слава Богу! И без того столько их было, что Анне забот хватало выше крыши. Она уже не работала в прежней своей конторе, поскольку доходов Бориса им было более чем достаточно. Поначалу ей было скучно сидеть одной дома, она маялась, звонила подружкам по телефону, но постепенно привыкла — звери ведь как люди, а иной раз даже и понятливей, с

ними тоже можно разговаривать, и они не спорят, не критикуют, а только внимают преданно и, при определенных модуляциях хозяйского голоса, виляют хвостиком. Иногда они встают и подходят, чтобы ткнуться влажным темным носиком в руку или лизнуть теплым шершавым языком.

Анне вдруг стало этого вполне достаточно, а в прочее время она находила какое-нибудь занятие — прибрать, связать себе какую-нибудь вещицу, посмотреть телевизор или видео, послушать музыку, прочитать книжку. Уединенная, но вполне наполненная жизнь.

Правда, иногда тоска нападала и хотелось чего-то совсем другого, более яркого и разнообразного. Но она быстро развеивалась от бесконечных забот с подопечными, которые, чувствуя состояние хозяйки, всячески умели ее развлечь. Не обязательно им было ходить на задних конечностях, достаточно — как-нибудь лечь, на бок, на спину или на живот, положить каким-нибудь особенным образом голову или так сложить лапы, хвост поднять (или опустить), что умильно и невозможно глаз оторвать.

«Смотри, смотри, — часто говорили они с Борисом (когда были вместе) друг другу, — Томми улыбается», а Томми (рыжий недоколли) в это время игриво скалил во всю пасть свои небольшие острые зубки и, похоже, действительно улыбался.

«Ты погляди, погляди, — говорили они часто друг другу, указывая на какое-нибудь забавное проявление питомцев. То сибиряк Мурзик устраивался под боком огромного сурового мастино Филиппа (он же Филя), напоминая идиллическую картинку из какой-то детской книжки, то лопухий полукокер Бадди как замороженный сидел перед столом с оставленным на нем пирогом, то аккуратист и забияка немецкий овчар Джус с отеческой нежностью вылизывал котенка Прошку, в общем, не соскучишься.

Теплей на душе, истинная правда.
Отпускало.

А что же Борис?

По мере роста их капитала и соответственно возможностей он, надо заметить, обнаруживал некоторые новые склонности.

Ладно, их питомцы перешли на импортный корм и проблем насытить всю ораву не было («педигрипал» и «китикет» в их доме не переводились), но иногда он заезжал на рынок и привозил оттуда (обычно сам, не перепоручая это шоферу) большущие куски вырезки, а то и целую коровью ногу, устраивая любимцам гастрономический разгул и праздник живота. Азартное урчание и фырчание смачно жующих бок о бок питомцев вызывало на его умном лице самозабвенную довольную улыбку.

И животные ему ответно выражали свое полное восхищение и любовь, бросаясь всем звонколайным скопом наперегонки к двери, едва учуя приближение хозяина (а чуяли они его, едва только автомобиль подруливал к дому). Забавно было и то, как ревниво оттирали они от него Анну, стоило ей с Борисом выказать друг к другу, так сказать, неформальный интерес.

Тут же громадные Филя или Джус начинали дефилировать мимо, стараясь протиснуться между ними, как бы случайно задевая Анну боком (иногда даже весьма чувствительно), и тем самым раздвигая их на некоторое расстояние, Мурзик (или Прошка) начинал скрести диван, привлекая недовольное внимание хозяйки, а полукокер Бадди вставал на задние лапы и начинал проситься на руки, чего обычно никогда не делал.

Анну это не то что бы обижало или злило (все-таки она прикладывала немало усилий, чтобы живот-

ные пребывали в чистоте и сытости), а просто, ну в общем непонятно что... вроде ревности.

Борис же любовь питомцев принимал спокойно и как должное, объясняя Анне, что дело даже не в том, что он их кормит (Анна это делала чаще, чем он) или балует всякими деликатесами, а в том, что он для них — вожак, они и относятся к нему, как к вожаку. Не то что бы это ему льстило, а просто, скорее, занимало как природный парадокс: животные воспринимают человека не как Бога, а как вполне своего, только вроде особой породы. И потому Борис, случилось, забавлялся, встав на четвереньки и весело кувыркаясь с братьями меньшими на персидском ковре или (если дело было за городом) на зеленой травке.

Странно было видеть полнеющего (сидячая банковская жизнь), уже не совсем молодого человека в таком приземленном виде, но, с другой стороны, это придавало ему своеобразное очарование — не съела мужика сухая дотошная цифирь, есть еще порох в пороховницах. Анне нравились такие неожиданные эскапады мужа, в них была прелесть детского озорства — свидетельство, как она считала, чистоты души и оригинальности натуры.

И потом, что ни говори, главное — именно через животных находили они какую-то взаимную крепкую нежную связь, в любви к ним — нечто глубинно обшее, объединяющее в союз, выстоявший и в годину испытаний (социальных), и в периоды искушений (кто им не подвергался).

Именно в окружении животных они, можно сказать, чувствовали себя больше людьми (и в то же время частью природы), нежели среди своих двуногих собратьев. Причем не просто людьми, а, что немаловажно, людьми защищенными — не ожидая от мельтешащих вокруг зверей ни подвоха, ни подлости. Кто-кто, а зверь своей привязанности не изме-

няет — тут уж наверняка и безошибочно, можно жить спокойно.

Обычно в какой-нибудь из выходных (которых у трудоголика Бориса почти не было), когда им хоть недолго (кроме ночи) удавалось побыть вдвоем, они гуляли по какому-нибудь парку или просто сидели обнявшись на диване, попивая из бокалов любимое Анной «Токайское» (настоящее). Иногда ставили легкую музыку (расслабляющую), которая ненавязчивым фоном сопровождала эти тихие и, увы, столь нечастые минуты душевной близости, иногда (гораздо реже) ходили в театр или в гости.

Питомцы словно чувствовали важность этих мгновений, располагаясь вокруг хозяев и замирая в разных забавных и трогательных позах, устремив на своих богов преданный взгляд. Они действительно вели себя так вкрадчиво и, даже можно сказать, предупредительно, с таким тактом, словно все понимали. Умиротворение пробегало свежим ветерком по их распластанным в дремотной неге телам, и лишь изредка кто-нибудь, не удержавшись, начинал шумно чесать себя за ухом или, клацая зубами, ловить в шерсти какое-нибудь зловредное насекомое.

Впрочем, любви это ничуть не мешало. Вся атмосфера дома была ей наполнена до краев, и может, именно в эти минуты всеобщего единения супруги чувствовали себя по-настоящему счастливыми.

Тогда и Анна забывала про случавшиеся у нее во время отсутствия мужа удушающие приступы тоски и одиночества. А Борис говорил, прижимая ее к себе и нежно поглаживая по плечу: «Все-таки прекрасно вот так, на отшибе, в тишине, дома. Неужели когда-нибудь мы сможем жить так постоянно, не думая про дела, никуда не торопясь, друг для друга... Просто жить — гулять по лесу, слушать музыку, разговаривать, ухаживать за зверями...»

И Анна соглашалась, что это действительно прекрасно — ни от кого и ни от чего не зависеть, не опасаться интриг и принадлежать только самим себе (и друг другу).

«Смотри, — говорил Борис, показывая на Филю или Томми, — разве их общество не вносит в душу больше мира и тепла, чем человеческое? В зверях нет лжи, нет лицемерия, нет корысти, они настоящие, и им ничего от нас не надо, кроме любви и заботы. Ничего...»

И звери, словно понимая, что разговор идет о них и именно в самом лестном для них смысле, шумно вздыхали, шевелили ушами и приветливо помахивали хвостами.

Так и жили.

Теперь в отдельном особняке — большом красивом загородном доме в сорока километрах (получасе) от Москвы, рядом с рекой и лесом, на огороженном сплошной двухметровой кирпичной оградой довольно большом участке. На нем, как и хотел Борис, высокие сосны (чтобы как в Прибалтике) и ели, так что даже не обязательно выходить за ограду — зверям и здесь привольно. Они либо бродили по участку, принюхиваясь к разным волнующим их запахам, гоняясь (кошки) за птичками, либо играли друг с дружкой, носясь как угорелые, либо в разнеженной истоме валяясь на траве (летом) или дома на коврах.

Не жизнь, а лафа.

Да и Анне теперь было намного легче — не надо выводить питомцев на улицу. А если хотелось выйти в лес или в поле, на простор, или в ближний поселок в магазин, то она брала с собой гиганта Филю или овчара Джуса (для охраны) и бродила в свое удовольствие, зная, что и в дом никто не сунется, и что на нее — в таком сопровождении — никто не посягнет.

Что ни говори, загородный дом с телефоном и прочими городскими благами плюс природа — то что нужно (сбылась их с Борисом мечта), и все-таки одиночество нередко начинало угнетать Анну, особенно если Борис зарабатывался и даже, случалось, не возвращался домой, известив, что дела требуют его неотлучного присутствия на работе или просто поздноавто ехать, да и бессмысленно, потому что поутру все равно ехать опять в город.

Анна, даже привыкнув к этому, тем не менее скучала, телефонные разговоры с подругами (завидующими) не развеивали, старая мать Анны, которую они взяли к себе, только досаждала досужими неинтересными разговорами про каких-то ее знакомых или дальних родственников, и Анна стала почитать всякие мистические книги. Досуга для созерцания и медитаций у нее было достаточно, а к светской суете и мельтешению она давно утратила вкус, и даже их ставшие совсем редкими выезды с Борисом на вернисажи или в театр как-то не особенно ее вдохновляли.

Звери тоже скучали, когда Борис отсутствовал (по неделям, поскольку стал часто уезжать в зарубежные командировки), а когда возвращался, они, удивительное дело, уже не бросались к нему так стремительно, как прежде, словно обижаясь за долгое отсутствие. Зато к Анне проявляли все большую любовь, а однажды мастино Филя неожиданно тихо, но весьма внятно издал утробное (словно невольное) рычание, стоило Борису, за что-то рассердившись, повисить на Анну голос (даже от такого рыка стыла кровь).

Настолько это было необычно, что Борис опешил от неожиданности, а Филя, между тем, смущенно, словно сообразив, что допустил оплошность, поджал виновато толстый гладкий хвост и заковылял вразвалку в угол — вместо того, чтобы приблизиться к хозяи-

ну и попросить прощения, лизнуть или подставить мощный круп под хозяйскую великодушную ласку.

Это удивило и Анну — не то, что Борис повысил голос (в семейной жизни чего не бывает, тем более что Борис сильно уставал и нервишки у него погуливали), а именно такое странное Филино поведение.

Несколько слов о Филе.

Мастино Филипп с красными навывкате глазами и мощной грудной клеткой, громоздкий, как бегемот, был фаворитом — сквозило в нем действительно что-то очень древнее (вроде бы мастино жили еще при дворе египетских фараонов). Грациозным Филю, в отличие, скажем, от того же Джуса, назвать было трудно, но когда он неторопливо и тяжеловесно бежал на своих несколько рахитичных (что часто бывает у крупных собак) и тем не менее крепких слоновьих ногах, то свисавшая складками синевато-серая, почти сизая шкура на его шее и широкие брыли огромной, в складках и обвислостях тяжелой морды величественно колыхались — во всей стати его обозначались царское достоинство и чуть ли не хтоническая мощь.

Вообще же Филя, подобранный подрощенным щенком (то ли потерялся, то ли бросили), был застенчив и кроток, словно стесняясь своей огромности и силы, и малявкам вроде озорника полукоккера Бадди или тонколапого изящного Томми, не говоря о кошках, которые устраивали лежбище под его животом, позволял теребить себя почем зря.

Единственно кого он время от времени осаживал, так это слишком раззадорившегося во время игры ловкого и крепкого овчара Джуса (с примесью кавказца и иногда пробивавшейся наследственной злобностью), запросто сшибая того плечом — так, что тот кувыркался несколько раз через голову и тут же приходил в себя.

Странное поведение Фили в тот раз нельзя было объяснить ничем иным, как обидой — что хозяина подолгу не бывает дома. Нет, правда, звери ведь тоже умеют переживать (обиду, ревность) и вообще испытывать вполне тонкие чувства, какие обычно числятся за человеком и которые не так просто сразу распознать.

Борис подошел к Филе, присел возле него на корточки и с некоторой настороженностью (опять же неожиданно для себя) погладил стыдливо заслоненную лапой морду (эта поза застыдившегося великана всегда умиляла — точь-в-точь провинившийся ребенок).

Что же все-таки имел в виду Филя, проявив не свойственную ему агрессивность; так и осталось загадкой. Может, вовсе и не обида, а и впрямь не понравилось ему, что Борис поднял на Анну голос. Может, что-то померещилось, как бывает, когда собака обознается, приняв вдруг хозяина, одетого в новое пальто, за чужого или, наоборот, приближающегося чужого принимает за хозяина — мало ли.

Ни Борис, ни Анна не придали этому особого значения, только лишний раз убедились, как искусно умеют эти создания находить лазейку к их сразу умягчающейся душе.

Между тем в отношениях между Борисом и Анной действительно наметилось что-то новое и, похоже, не совсем ладное. Верней, в отношении Бориса к Анне. Или это просто сказывалась многолетняя усталость, которую ему не удавалось снять даже во время отпуска (десять дней в Испании вместе с Анной). Он по-прежнему часто отсутствовал по нескольку дней, но чужая в их городской, сравнительно (с чем сравнивать?) небольшой уютной квартире в элитном доме на Остоженке.

Но дело не только в частых долгих отлучках (есть ведь и телефон — и обычный, и мобильный), а в том что Борис в последнее время как-то быстро раздражался на Анну (и по телефону, и так), причем по пустякам (ей казалось), и вообще стал проявлять странную отчужденность — что распространялось даже на питомцев. И совсем странно было, когда он рассердился на Анну за то, что она подобрала в соседнем с их «ранчо» поселке какого-то замарашку — кудлатого черного с белым пса, вполне симпатичного, но почему-то не понравившегося Борису.

Бюджета он бы им точно не подорвал, так что недовольство было трудно объяснить. Раньше же ведь такого не было, и Борис точно также приводил кого-нибудь с улицы, и зверь потом отлично приживался у них, а Анне приходилось принимать это как должное, хотя нельзя сказать, что всегда ей это было по сердцу.

Как ни верти, получалось, что она фактически живет при зверях, а не звери при ней. И хотя условия вполне приличные (по сравнению с прежними) и времени у нее достаточно, круг ее жизни сужен и обеднен. Природа, книги, музыка — это, конечно, замечательно, но не всякой же молодой (и тем более красивой) женщине под силу такое отшельничество. Смирялась же, однако, ничего, да ведь и утешение было, впрочем, — тот же Борис, участвующий в их общей жизни, несмотря на занятость. Они вместе были, даже когда он отсутствовал (она чувствовала), а теперь его не было или почти не было, холодок сквозил, даже разговаривать почти не разговаривали — не только обо всем вообще, как прежде, но даже и о питомцах, которые были тут же, рядом, живые и здоровые, игривые и ласковые, в общем — как обычно, и это почему-то особенно действовало на Анну.

А это «что-то», вмешавшееся в отношения Бориса и Анны, допустим, было вовсе не что-то, а кто-то — вполне тривиальный расклад (ниже интеллектуального уровня Бориса и душевных достоинств Анны) — другая женщина, из тех, кто ходит длинными стройными ногами возле чужого счастья, а потом раз — и крадет его (вроде случайно), потому что таков уж наш мир, и не мы это придумали. Потому что таково сердце человеческое (женское и мужское), падкое на новизну и всяко прочее, не то что, например, собачье или лошадиное.

Борис оказался такой же, как и все, да и что мы, собственно, от него хотели? — должны же быть хоть какие-то радости в каждодневном напряженном существовании, ну и вот.

Анна оказалась в стороне, хотя Борис поначалу сильно из-за этого переживал. Он, впрочем, ничего не предпринимал такого, что могло бы Анне причинить еще большую боль, но и оставаться прежним, то есть кривить душой, тоже не мог. Да и не знал он пока сам, как все будет складываться и чего он хочет.

Разброд в мужской (или женской) душе — дело тонкое и не очень веселое, и странно было бы, если бы Анна этого не подметила по дерганности и раздражительности, а то и агрессивности Бориса. Даже истеричности в некотором роде.

Замечали это и питомцы. То Борис сидит на высоком крыльечке дома и курит сигарету за сигаретой, то Анна пускает слезу где-нибудь в большой напиханной всякой электроникой кухне или в других недрах роскошного дома, с книжкой в руках или тоже с сигаретой (хотя Борис просил не курить в доме). То Борис кричит, что ему надоела эта тушенная с фасолью капуста, от которой у него изжога, и можно бы хоть разок сварить ему любимой рисовой каши (не шашлыка же просит). То Анна на два часа зани-

мает обвешанную зеркалами ванну и неведомо что там делает — то ли читает, то ли...

И четвероногие, чувствуя раздрай между хозяевами, неприкаянно слоняются по территории — то к одному подойдут, то к другому подлезут, но больше все-таки к Анне — вроде как ближе она к ним, вроде как именно она (вместе с ними) страдающая сторона. Уедет хозяин, то есть Борис, и останутся они одни, как сироты, и Анна — как сирота, больно же. И нечем утешиться тоскующей душе — ни за птичкой вспрыгнуть на дерево (упорхнула птичка), ни косточку, прикопанную на всякий пожарный возле забора, погрызть (нет той сладости в косточке), ни даже поиграть в догонялки (нет того азарта)... Разве порычать друг на дружку, а то и подраться слегка — для разрядки. Только вот слегка тоже не получалось, потому как вдруг вспыхивала дотоле неведомая злобность — и не только у овчара Джуса, но даже и у нежного недоколли Томми (о котках не будем) и полукокера Бадди. Только великану Филе пока удавалось сохранять невозмутимость (плюс вялость), да и позволил бы кто себе порычать на него!

Между тем, заметим, тон задавал, как ни странно, именно тот самый кудлатый заморыш из поселка, которого не так давно привела с собой Анна. Еще не осознавший в полной мере весь семейный расклад и субординацию и вообще отличавшийся явным легкомыслием, он затевал всякие интриги то против соразмерного ему полукокера, то против пользовавшихся благорасположением Фили котов Мурзика и Брони, а то и норовил сунуть не в меру любопытный нос в чужую миску (даже и Фили). Еще он скалил желтые зубы — так, как никто их не скалил из старожилов. Не просто злобно, а обиженно-злобно, с какой-то тайной ехидцей. Он скалил их на почтальона, на со-

седей, на котов, на полукокера и на недоколли, и непонятно было, что у него на уме.

Но главное, что он себе позволял — это поднимать верхнюю губу на хозяина, то есть на Бориса, причем делал это как бы исподтишка, слегка отворотив морду в сторону, чтобы слишком явно не бросалось в глаза. Чего в нем точно не было, так это пиетета (разве что только к Анне, ее он действительно боготворил и готов был угодничать бесконечно, забыв про всякое достоинство и общественное мнение).

Странный был, недобрый какой-то пес, даже Анна это чувствовала, но выгнать уже не могла — в конце концов ничего он дурного не делал, разве что рыскал по всей усадьбе, словно искал что-то (но это, вероятно, по причине непривычки и множеству всяких малознакомых запахов).

С Борисом же у них вышла просто-таки несовместимость. Странно, что и тот в присутствии этого пса, которого даже не хотел называть по имени (Грей), чувствовал себя как-то не в своей тарелке, чего у него никогда и ни с кем не бывало. Короче, раздражал пес, а в и без того нервном состоянии Бориса это вовсе лишнее. Пес ли в том виноват, состояние ли, нелады ли с Анной, но загородный дом для Бориса, похоже, потерял свою привлекательность — неуютно ему в нем было, и появлялся он здесь все реже, ссылаясь на занятость или ни на что не ссылаясь, а наведавшись, проводил некоторое время в своем кабинете и потом торопился вновь исчезнуть.

В один из таких краткосрочных приездов Борис с Анной (ее предложение) и всей собачьей командой вышли, несмотря на довольно поздний вечер (смеркалось), в ближний лес — прогуляться, как в лучшие времена. Да и погода славная — ранняя осень, воздух прозрачен и свеж, листьями палыми пахнет.

Собаки радостно устремились на простор и лишь время от времени подбегали к хозяевам -- удостовериться, что те на месте и никто не потерялся.

Разговор тем не менее не клеился. Борис резко отвечал на самые обычные вопросы Анны, словно она досаждала ему, а когда та стала упрекать его в холодности и недоброжелательности, сказал, что слишком устал и не намерен сейчас выяснять отношения — будет лучше, если они молча послушают шуршание листьев.

— Нет, не лучше, — возразила Анна. — Нельзя же делать вид, словно ничего не происходит, это уже невыносимо.

— Чего ты от меня добиваешься? — спросил Борис.

— Я уеду, — сказала Анна. — Уеду отсюда, я не хочу здесь больше оставаться.

— Хорошо, ты уедешь, и что дальше? Куда ты денешь всех этих лопоухих? — поинтересовался Борис.

— Можешь нанять человека, — сказала Анна. — Я не обязана работать прислужницей. Я хочу жить нормальной жизнью.

— Что ты называешь нормальной жизнью? — спросил Борис.

— Да, нормальной, нормальной!.. — повторила Анна и заплакала.

— Ты же знаешь, что никуда не уедешь, ты не бросишь их, — нервно сказал Борис и протянул к Анне руку, чтобы приобнять ее и, не исключено, даже утешить (ему вдруг стало жаль ее), но жена резко отпрянула, словно он собирался ее ударить, и плач перешел в рыдания.

— Уеду, уеду, — повторяла она сквозь всхлипы.

Борис снова протянул руку, неловко...

И тут (крещендо) в сгустившихся сумерках, подобно электрическому разряду, — длинная тень, ткнулась

тупо в Бориса, от неожиданности (или от удара) он оступился, провалился в темноту, в траву, в бездну, а дальше и еще тени, и вовсе невообразимое, хруст веток (или чего?), глухое свирепое рычание и сопение...

Невозможный такой, противный здравому смыслу, а также всему доброму и вечному финал.

Спальный район

Когда живешь в центре, любой район за пределами, скажем, Садового кольца уже начинает казаться не просто далеким, но и загадочным, как лес или другой город. Выходишь из метро в конце какой-нибудь, скажем, «красной» или «зеленой» ветки и обнаруживаешь, что действительно будто бы неведомо где. Вроде и дома те же да не те. Москва — чисто условно. Белые современные строения, не сказать, чтоб слишком красивые, немереные пространства, деревьев и прочей растительности почти нет, даже машин мало и солнце над головой — яростное.

Ощущение, что место — посередь пустыни, а вовсе не на семи холмах. И как в пустыне солнце здесь белое, и дома тоже кажутся особенно белыми, может, пока еще от новизны, не задымленные. И людей почему-то мало — то ли все на работе, а работа в центре, то ли еще где...

Разве что вечером забурлит, закружится жизнь — народ начнет возвращаться, поток из метро...

А днем почти никого, редкий прохожий встретится на огромных просторах. Магазины, однако, открыты, продавщицы скучают, смотрят на белое солнце и белые дома, стоя возле дверей (внутри душно), на сероватые от пыли чахлые кустики и, возможно, им кажется, что где-то совсем неподалеку лениво плещется и вздыхает море, и вот-вот долетит оттуда легкий бриз, принесет йодистые запахи водорослей.

Только ветерок, увы, приносит лишь тучу пыли, рассеивая мимолетное бирюзовое (о море в Гаграх!) видение, и тогда начинает мерещиться за домами вовсе не море, а совсем противоположное — пустыня, зыблущиеся барханы, раскаленный добела струящийся песок.

Море — хорошо, пустыня — плохо.

Странно, но кажется, что и люди здесь какие-то другие. В движениях смуглых продавщиц томная замедленность, девушки сладко потягиваются, поднимая руки и выставляя на ничейное обозрение крепкие груди, расчесывают длинные волнистые волосы, подкрашивают глаза или губы, нехотя перебрасываются словами.

Также медлительны и редкие покупатели — они словно задремывают перед витриной, тупо вглядываясь в выставленный там вполне обычный ассортимент продуктов, и кажется, что попали они сюда случайно, забрели от нечего делать — вот так постоять-поглазеть, имитируя процесс выбора. Но даже если и покупают что-то, то купля-продажа происходит все в том же замирающем режиме — вроде как ничего и не надо.

Нет, это не Москва.

Оказавшись в этом районе, Гарик чувствует себя не совсем в своей тарелке, как если бы действительно

попал в другой город. Он беспокойно оглядывается по сторонам, с удивлением взирая на все эти белые дома и светящуюся даль за ними, заслоняется ладонью от летящей в лицо пыли. Он поправляет темные очки, чтобы белое солнце не слепило глаза, а песчаные кристаллики не засорили их. С этим новым необжитым (им, Гариком) пространством что-то надо немедленно делать, чтобы пустыня не поглотила случайного путника, каковым он себя ощущает здесь.

Собственно, это могла быть даже и какая-то другая планета — словно из лемовских фантастических романов, Марс там или иная, и там бы тоже время текло по-другому и клубились пылевые смерчи.

Веселое и тоскливое чувство потерянности обычно подступает к горлу Гарика, когда тот попадает в новое место. Поэтому он просто не может не познакомиться с какой-нибудь его миловидной обитательницей. Это не столько хобби или охотничий донжунанский инстинкт, как может показаться, сколько психологическая необходимость. Другой город должен быть как-то приручен, а что для этого лучше всего? Разумеется, обзавестись здесь новым знакомством, с девушкой или женщиной — верное средство для адаптации и познания нового места.

Да, девушки для Гарика — вроде спасительной бухты или лоцмана в этом незнакомом волнующемся или, напротив, штилевом море. Появление на горизонте симпатичной аборигенши воспринимается им с надеждой и трепетом, как обещание если не спасения, то самообретения.

Дело в том, что в новом для него месте Гарик перестает чувствовать себя самим собой, у него самопроизвольно зарождаются совершенно нелепые вопросы вроде: зачем он здесь и что это за чудное место, куда занесло его Бог весть какими путями (даже если

у него в сумке командировочный лист или бумага, которую ему надо передать в некую контору (по работе Гарику придется заниматься и этим). Так что ему срочно нужно подтверждение, что он — это именно он, а не кто-то другой.

К тому же в любой женщине (а особенно красивой) всегда есть, по твердому убеждению нашего героя, нечто от гения места (*genius loci's*), как если бы она, положим, была нимфой здешних лесов (которых нет) или наядой здешних водоемов (в метафорическом смысле), а значит, и сближение с ней означает приобщение или даже природнение к окружающему пространству. Именно в этом смысле материнское начало, какое мужчина ищет в женщине, получает свое подлинное значение — как влечение именно к матери-природе.

Завязывается все с того, что Гарик спрашивает у первой же привлекшей его внимание девушки (женщины), предпочтительно блондинки, как пройти (куда ему нужно), даже если он уже сам сориентировался, и в зависимости от степени приветливости/доброжелательности ответа, следует (или не следует) продолжение.

Приветливость для Гарика — свидетельство правильности его выбора, то есть душевной доброкачественности, открытости миру и новым впечатлениям. Гарик очень ценит подобное отношение — улыбку и ясность взгляда, подробное неспешное объяснение и терпение в случае его непонятливости (взаправдашной или чуть-чуть симитированной).

Обычно он самым дотошным образом выпрашивает про поворот налево или направо, разные указатели и всякое прочее, что не даст ему сбиться с пути. И если тест девушкой успешно пройден, то Гарик в конце концов предлагает ей проводить его (если она,

конечно, никуда не торопится) до пункта назначения, поскольку он все-таки опасается заблудиться (тонкая усмешка) и потеряться (трагическое выражение лица).

Ну да, пыльные бури могут застить глаза, закрутить-завертеть, и в горле уже пересохло, жажда мучит, а белое солнце пустыни жарит всюю, и одиночество подкрадывается тихими крадущимися шажками, готовое вот-вот сжать свои липкие шупальца.

Надо сказать, чаще всего он встречает отзывчивость и человеколюбие (хотя и не всегда). Там, где жизнь течет неторопливо и размеренно, где нет нервных перегрузок, как в центре (постоянный шум, пробки, дым неочищенных выхлопов, спешка и нервы, нервы), где сонное облако над белыми домами не разрывают молнии автомобильных сирен, там и отношение к человеку более сердечное — без судорожной оглядки на часы и топтание на месте.

И вот уже только минуту назад стремительный Гарик вдруг затормаживается, взгляд его темных глаз становится тягучим и ласковым, походка не то что вальяжной, но какой-то слегка раскачивающейся, как у моряка, только что сошедшего с палубы корабля. Он идет рядом с девушкой, положим, ее имя Лола, на ней белая юбка и голубая блузка, легко постукивающие об асфальт красные, слегка запыленные босоножки. Он рассказывает, что вчера ночью видел Лолу во сне, так бывает, люди сначала, как бы это правильнее выразить, сближаются и только потом знакомятся, и сейчас сон как будто продолжается, нет, он не какой-нибудь там мистик, но все равно от тонких связей никуда не уйдешь — правда, как так могло случиться, что он встретит здесь, на краю света, именно Лолу, а не кого-то еще? И что вообще судьба его забросит сюда, в этот неведомый край с

белыми домами и пыльными ветрами. Если бы не Лола, он точно бы потерялся среди барханов, волны бы захлестнули его уютное суденышко или оно бы непременно разбилось о скалы.

Ничего, что девушка посматривает на него с некоторым изумлением, Гарик сам верит в то, что так и было, он берет загипнотизированную девушку под руку и ведет ее по указанному маршруту, там в соответствующей конторе Гарик делает дела, а девушка меж тем терпеливо ждет его на улице, поверив, что он без нее точно отсюда не выберется, и потом они идут в какой-нибудь указанный той же Лолой кабачок.

В небольшом сумрачном зальчике никого, кроме сонного, разомлевшего в духоте и безделье бармена. Гарик заказывает кофе с мороженым для девушки и кофе с рюмкой коньяка для себя — культурная жизнь, почти как в центре, разве что только над всем висит морок неподвижности и праздности, да и людей нет (это настораживает). Люди, где вы?

Гарик теребит пальцы девушки (тонкие и длинные, на одном серебряный перстенок), вроде как изучает линии судьбы. Кофе жидковато, коньяк резковат (явно подделка), но Лола аккуратно, с некоторым даже педантизмом слизывает мороженое с ложечки, проводя то и дело языком по неброско покрашенным пухлым губам. Она и в самом деле чувствует себя так, словно давным-давно знает Гарика, он ей нравится, сквозь знойное марево и усыпляющее дыхание пустыни (шум волн) до нее долетают (помимо негромко мурлыкающей в кафе музычки) его странные, непривычные слова про пустыню и одиночество, про воспаленное солнце в неодолимое тяготение одного человека к другому.

Медленно ползут минуты — время словно остановилось. Немного взбодрившиеся после кофе Гарик и

Лола начинают позевывать, сначала не часто и скрытно, прикрывая ладонями рот, но постепенно все откровенней и беззастенчивей, даже с некоторым завывающим стоном.

Слова, которые Гарик выталкивает теперь с некоторым усилием, уже не кажутся Лоле, такими уж необычными. На них тоже словно образовался пыльный серый налет, и девушка с некоторым удивлением всматривается в сидящего перед ней невысокого, круглоголового господина средних лет в синей тенниске и светло-голубых джинсах, то и дело касающегося ее руки и перебирающего ее пальцы (кто это?).

Гарик уже почти все знает о ней: студентка местного медицинского училища, живет с родителями, отец каждый день мотается в другой конец города на фабрику, где уже бог знает сколько лет инженерит, возвращается поздно вечером, чтобы наскоро поужинать и лечь спать, а утром снова пилить в другую степь; мать — продавщица в здешнем универсаме, в отделе верхней одежды.

Лоле нравится их район (он такой белый!), хотя иногда и скучновато. Но если никуда не надо ехать, как, например, отцу, то здесь вполне сносно. Ее подружкам тут тоже нравится — до училища два шага, Дворец культуры с дискотекой, клуб с кегельбаном, еще кое-какие культурные заведения... Им хватает. А главное, здесь так спокойно, так тихо, что порой забываешь, что это Москва.

Может, это вовсе и не Москва, вяло тянет Гарик, может, это вовсе и не Москва, он никак не может ухватить мысль, слова буксуют, он уже заиклился на пустыне, хотя при чем тут пустыня? Никак ему не освободиться от ощущения крайней отдаленности этого места. Он смотрит в серые полупрозрачные глаза Лолы со слегка наведенными тенями и вяло дума-

ет: девушка из спального района — все равно что девушка из другого города, но это не город, это всего лишь, увы, спальный район, предположим, они могли бы пойти сейчас к Лоле в гости (пока нет ее родителей) — и что дальше?

Ничего, кроме сонливости, Гарик, к своему удивлению, не испытывает. На него это совершенно не похоже. Он любит женщин, они придают жизни остроту, здесь же, однако, что-то не так: девушка ему нравится, однако почему-то абсолютно не хочется идти к ней домой и проделывать все то, что обычно давало ему столько новых свежих впечатлений, которые потом вспоминались с грустью и нежностью или каким-нибудь другим, почти всегда благодарным и теплым чувством.

Это тревожит его: как так, девушка нравится, но желания что-то еще предпринять, чтобы узнать друга друга еще лучше и ближе, у него нет? Чашечки кофе и рюмки коньяка ему достаточно да еще вот так легко пальцами касаться девичьих тонких пальцев?

Впрочем, в таких вполне невинных касаниях тоже есть своя прелесть и даже изысканность, но все это слишком отвлеченно и бесплотно, а Гарик любит земное и плотское: при его частых разъездах по городам и весям страны только это и дает возможность не чувствовать себя совсем уж неприкаянным и беспочвенным. Даже имея квартиру в центре столицы, от бесконечных разъездов чумеешь и теряешься в пространстве, а потом теряешь и самого себя.

Гарик заказывает еще кофе и коньяк, а Лоле (кажется, ее зовут именно так) мороженое, они вяло перекидываются мало значащими фразами — о погоде, необычной для мая жаре, странной (чего уж странно-го?) малолюдности в кафе, будто знакомы уже сто лет и переговорили обо всем на свете. Гарик держит руку

Лизы (или Лолы?) близко к губам и даже касается ее, ощущая прохладную, чуть влажную гладкость кожи. Правда, делает он это, скорее, по инерции, а отчасти, впрочем, и по умыслу — как бы проверяя себя на возрастание влечения.

Ничего и в помине. Все замечательно, идеальный вариант, когда мужчине, только что познакомившемуся с привлекательной женщиной, ничего от нее не нужно. Ну совершенно ничего, разве что кроме ее присутствия (да и то безусловно) — такие вот платонические, бескорыстные, чистые отношения, способные не только разочаровать, но и внушить некоторые подозрения относительно тайных намерений мужчины.

До этого, однако, не доходит — зевки Лолы и самого Гарика становятся все более продолжительными и звучными, весенняя дистония и кофе с коньяком (Лола тоже выпила рюмку) делают свое дело и, чтобы не заснуть окончательно, надо идти куда-то, надо двигаться, они выходят под палящее солнце на раскаленный асфальт и идут рядом. Гарик даже не берет Лолу за руку и тем более не обвивает ее за талию, что непременно бы сделал в обычной ситуации. Теперь же он опасается быть неверно понятым и даже побаивается приглашения в гости — на чай или послушать музыку. Зевота не отпускает ни его, ни его спутницу. Самое то было бы сейчас принять душ, включить вентилятор, выпить холодного пива, а потом прикорнуть на диванчике.

Забыться и уснуть.

Никогда еще Гарик, тридцатисемилетний жуир, не ощущал себя таким развалиной, как если бы ему было все восемьдесят или больше. Таким пассивным и скучным. Господи, что может подумать про него Лола, которой предложено было такое многообещающее начало?

Впрочем, она и сама сомлела — то ли от коньяка, то ли от все усиливающегося зноя и закручивающейся в воздухе пыли. Белые дома вокруг — как меловые отложения, как склоны известняковых карьеров. Между тем уж вечер и на улице становится многолюдней. Люди бегут от метро во дворы и исчезают в подъездах.

Рабочий день кончился. Время отдыха.

Они медленно бредут по длинной-длинной пыльной улице, которая ведет их не куда-нибудь, а к метро — малозаметный узкий лаз под землю с буквой М над ним. Возле входа Гарик записывает (непонятно зачем) Лолин телефон в записную книжку. Да-да, ему было очень приятно познакомиться, он ей скоро позвонит, и они непременно встретятся, непременно... Слово «непременно» Гарик пытается произнести с некоторым напором, но выходит все равно тягуче и необязательно, так что если Лола и не обижается, то только потому, что и сама пребывает в какой-то вязкой полудремоте. В завершении Гарик пытается неуклюже поцеловать Лолу, но вместо этого раздражается таким сладким зевком, что ни о каком поцелуе речи уже быть не может (тревожная мысль: опои́ли их чем-то).

В метро он тоже дремлет или, точнее, спит самым настоящим, крепчайшим сном, каким, может, не спал уже много лет. Это даже похоже не просто на сон, а на сонный обморок. Ему снятся пустыня, барханы, желтое солнце в черном небе (не исключено, что это луна)...

Просыпается он от того, что кто-то сильно и нетерпеливо треплет его за плечо — конечная. Надо выходить. Он и выходит, чуть пошатываясь, с трудом вспоминая, что же это такое с ним было и где.

Пустыня, одиночество, белые дома, славная девушка Лола (телефон в записной книжке)...

Цепь

С ней приходится особенно бережно, то есть непонятно как. Если бы не знали ее уже столько лет, как будто она нам родственница, все могло бы быть проще, а тут...

Она же — с нами, но не одна, а как бы вместе с Львом, которого теперь нет и уже никогда не будет. Эта мысль кажется странной и совершенно не умещается в голове. Чтобы Льва, нашего палочки-выручалочки по части всяких автомобильных заковырок, великого инженера и вообще всяческого делателя (золотые руки), не было — нет, не умещается.

Бывало, не заводится после зимы авто или еще что — кому позвонить? Конечно, Льву. Ему не в лом вскочить в свою столетней давности «субару», им же и восстановленную, и тут же примчатся на помощь. Если кто-то совершенно чужой голосует на дороге, Лев всегда (всегда, даже если торопился) остановит-

ся, залезет под чужой капот — и машина, как правило, зафурычит. Ни разу не было случая, чтобы у него не получилось.

Каждый помнил какой-нибудь случай в этом роде, а то и не один... И все смеялись, когда кто-то рассказывал, как на одном из международных ралли Льва приняли за генерала (именно генерала) КГБ: он-то был просто переводчиком, а когда один «джип» испортился и французский механик повернул свою бейсболку козырьком вбок, как делал обычно, когда возникала нерешаемая проблема, именно Лев сказал ему: все дело в масле, там столько-то стоксов, а надо бы столько-то... Или когда при переезде какой-то очень уж глубокой и грязной лужи заглохла другая машина, опять же он посоветовал просто промыть чистой водой что-то там — и все путем... Сразу завелось. Тут уж его повысили до майора. А когда на очередном привале он починил чью-то видеокамеру, тут, естественно, его ранг сразу вырос до полковника. Ну а когда ему пришлось в какой-то момент сесть за руль, то вдруг стало ясно, что этот переводчик еще и лучше всех водит, причем именно в экстремальном режиме, — тут уж никак не меньше генерала...

Вот такой он был, наш Лев!

Авто были его коньком. Авто и стали его роком.

Уклониться от неожиданно вылетевшей на встречную полосу «девятки» (одиннадцатый вечера, темно), лоб в лоб, и ему оказалось не по плечу, вот и все... Не важно, был ли за рулем «девятки» пьяный, просто ли заснул или отвалилось колесо — Льва больше не было. Пять трупов, даже сообщение в газете: одно колесо убило пятерых...

Среди них — он.

Холодный, какой-то особенно промозглый мартовский день, морг в подмосковном городке, неподда-

леку от того места, где все произошло, черные сугробы и сизое небо... Ужасная такая несправедливость, никто не хотел верить (и у Льва в гробу на лице словно несогласие), да и теперь, спустя почти год верится с трудом.

Человек умел в этой жизни все и был не только никому не в тягость, наоборот, скольких поддерживал, на его помощь всегда можно было рассчитывать, на кого-на кого, а на него можно было положиться.

В тот роковой вечер, когда он возвращался, у Галины сердце было не на месте. Она звонила ему по мобильнику, в последний раз он даже рассердился: ну что ты дергаешь? А потом прошел и час, и два, и три — он давно уже должен был приехать, она снова звонила, но мобильник молчал. Дочь успокаивала: ремонтируется, наверно...

И только утром, после полубесонной ночи стало известно.

Так вот, о Галине.

Мы смотрели на нее и тут же рядом видели Льва. То есть даже не рядом, а в ней самой, словно она была не совсем Галина, а его отражение. Но в том-то и дело, что это не правда: она — его отражение. Вовсе не была она ни его отражением (хотя после долгой совместной жизни супруги, как известно, становятся похожими), ни его тенью.

Она была *сама*.

И Лев, с которым они, бывало, яростно спорили, а то и ссорились, ее уважал и даже, можно сказать, слушался.

В любой женщине мужчина подсознательно ищет мать или, скажем мягче, материнское начало, и он это начало, точно, находил в ней, в Галине. Хотя именно он, Лев, увел ее в свое время (отдельная романтическая история) у своего лучшего друга — просто взял за

руку (рассказ Галины), властно сказал «Пойдем!», и она поняла, что все, другого пути нет, рядом с ней именно тот, кто ей нужен. А Виктор, ну что Виктор, все в жизни бывает, перемелется и это...

Льву же она сказала, когда друзья отвернулись от него (от них) из-за Виктора: ничего, все наладится, все еще вернется на круги своя. И в этом была жизненная (женская) мудрость.

Мы старались не дать ей выпасть из нашего круга, из нормальной жизни, какая была до гибели Льва (дни рождения, праздники, встречи, походы), хотя, положа руку на сердце, она, жизнь, была уже не такая, как раньше, при всем нашем желании (Лев был первой нашей потерей, всех ошеломившей). И была поначалу мысль, что горе заставит ее затаиться, лечь на дно, ни с кем не видеться и вообще...

Мы звонили ей, приглашали на наши тусовки, интересовались, не нужна ли какая помощь. Но, оказывается, не очень хорошо ее знали, в этом смысле они и впрямь похожи: она — сильная, как и Лев, без лишних сантиментов и предрассудков.

Голос ее по телефону — такой же, как всегда, приветливо-звонкий, немного недовольный, если отрывали от чего-то важного (как когда звонили Льву за какой-нибудь консультацией или помощью, а его либо не было, либо он только что пришел и его отрывали от ужина), или, наоборот, обрадованный, если хорошее настроение и никаких особых забот.

Она вовсе и не хотела отрываться. Все-таки одна (хотя и с семнадцатилетней дочерью), одной печально...

Впрочем, какой бы самостоятельной и независимой она ни была, все равно рядом как бы присутствовала тень Льва. Общаясь с ней, каждый невольно скашивал глаза чуть в сторону, словно разговаривал не только с ней, но и с ним. «Привет, Галина!» означало

почти то же, что «Привет, Лев!», она догадывалась, мы знали это и оттого испытывали некоторую неловкость.

Если что и лечит, то — время, так, вероятно, и было: любое горе притупляется, особенно в наше шепутное время, отдаляется под бременем каждодневных забот. Тем более Галина вовсе не собиралась запереть себя в четырех стенах — ездила с нами на Кавказ, начала кататься на горных лыжах (они и раньше с Львом хотели, да все как-то не получалось, то одно, то другое, и потом Лев, хоть и любил попробовать что-то новенькое, все-таки предпочитал охоту и ралли, еще на байдарках или плотах по какой-нибудь уральской горной реке), в общем, почти все как прежде...

И улыбалась она как раньше, когда Лев был жив, не поддавалась горю (запросто же может вышибить из седла) — такая же красивая и решительная. И все реже можно было услышать от нее: мы с Львом, — как поначалу...

Ну да, другая жизнь.

Что мы, не понимали?

Тем более что была в ней какая-то особенная притягательность, чувственный такой магнетизм, который, вероятно, и Льва когда-то сподвигнул на страсть и чтобы перечеркнуть дружбу, увести Галину у Виктора (ни любимой, ни лучшего друга!). На такое ведь не из-за всякой женщины отважишься (это даже не по горной речке), тем более Лев был хорошим другом, он ведь и сам переживал из-за этой истории (вроде как предательство)...

«Не философствуй!» — так он однажды сказал Галине (та начала хныкать: ну вот, опять, дескать...), когда они во время очередного путешествия застряли на своей старенькой «субару» в какой-то топи: не философствуй! — и она, засучив рукава, по колени в грязи,

стала собирать хворост и совать под колеса, а потом толкать машину.

Он и себе в истории с Виктором, вероятно, так приказал, а может, и не приказал — само собой получилось (в подкорке было), потому что никак иначе, и действительно — что толку рассуждать или сговаривать?

Магнетизм в Галине чувствовался и тогда, когда Лев был с нами. Бывают такие женщины, от которых исходит. Но при Льве этого словно и не было. Всё, если так можно выразиться, уходило в него, поглощалось им и на нем замыкалось. А теперь цепь была разомкнута, и мы невольно оказывались в поле этих чувственных токов.

Было от чего смутиться. Тем более что она, как обычно, была очень вольна в своем обращении: ей, например, ничего не стоило вдруг закинуть руку тебе на плечо, как бы приобнимая, или положить на него подбородок; шепча, коснуться почти неощутимо, словно дыханием, губами твоего уха или кончиком носа щеки...

Вроде случайные (или какие?) дружеские жесты и касания, однако ж от них — легкая жаркая дрожь по телу. И ты в ответ тоже вроде что-то должен — приобнять ли в свою очередь или припасть плечом к ее плечу, взять за руку (горячая ладонь) или чмокнуть в прохладную нежную щеку — элементарные знаки симпатии... Даже и к прижавшемуся колену отнестись снисходительно, положив на него руку, как на приласкавшегося пса.

Ничего, в общем, особенного, но тут же — как удар током (и боль) — Лев...

Ясно, что к тебе лично все это (нежность) отношения не имеет. Не для тебя и не тебе, а — Льву, которого, увы, нет... Тебе — если не по ошибке, то по

причине близости в пространстве. По причине соседства. Дружбы, в конце концов.

Так или не так, но не одна рука, обвинившая было прильнувшую Галину за талию, можно предположить, дрогнула и отдернулась, оробев этого внезапного сильного чувства. Но даже и оробев, не могла не ощутить жара, исходящего от ядерного, пульсирующего жизненными соками женского тела.

Собираясь вместе и вспоминая Льва, мы всякий раз приходили к одному и тому же вопросу, которым, собственно, всегда задаешься в таких случаях: почему именно с ним? Только ли потому, что он всегда был на колесах, а значит, и вероятность такого исхода резко возрастала, несмотря на все его водительское мастерство? Или тут все-таки судьба, карма, еще что-то, чего нам просто не дано постичь?

Правда, однако, что он всегда куда-то торопился, всегда ему не хватало времени ни на что (может, почувствовал), так что даже сидеть спокойно не мог на одном месте, вскакивал то и дело, норовил куда-то умчаться, и Галине приходилось его постоянно осаживать: ну что ты дергаешься, словно тебя блохи кусают?

Было, было в нем какое-то нетерпение — и то сделать, и это, и куда-то съездить, и испытать что-нибудь, необычное, даже и без Галины. Та просто не успевала за ним — не карманный же, притом что и работа у него связана с частыми командировками, иной раз довольно длительными, и спорт он предпочитал экстремальный, и вообще все экстремальное. Так что постоянно быть с ним она, естественно, не могла, а его, случалось, относило в сторону — приходилось смиряться.

Надо сказать, она очень всегда за него волновалась, может, потому, что с ним нередко случались

всякие неприятности, в чем он, как правило, был совершенно не виноват. То какая-нибудь пьянь посреди совершенно пустой площади (ни одной машины больше) въедет ему на приличной скорости в зад, то байдарка перевернется среди порогов (а он без спасжилета), и потом довольно долго придется залечивать ушибы, то еще что-нибудь в том же роде — нет, не так безоблачно давалась ему жизнь, несмотря на все его умения и практичность.

Правда, не очень он и берегся, а когда часто бываешь в критических ситуациях, то ко всему надо быть готовым...

Во всяком случае, вероятно, это накладывало определенную печать на их отношения с Галиной, в том смысле, что постоянно держало обоих в тонусе (не банальная ревность, а беспокойство за другого), подстегивая, выражаясь несколько старомодно, любовный пыл.

Они постоянно будто наверстывали упущенное, да и вообще жили оба в каком-то постоянном угаре или лихорадке (хотя Галина и выглядела гораздо более спокойной и благоразумной, чем Лев), словно не могли насытиться друг другом — с того самого дня, когда он взял ее за руку («Пойдем!», посадил в машину и увез чуть ли не из загса, устроив лучшему другу большой сюрприз.

Лев аж худел за то время, которое они бывали вместе после затянувшихся разлук, иногда даже жаловался на боли в пояснице и еще больше дергался, придумывая какое-нибудь новое предприятие или приключение, тогда как Галина, напротив, расцветала и вся аж лучилась женской убаженностью, словно у них опять медовый месяц.

Между тем Виктор после того перевернувшего всю его жизнь эпизода довольно долго не мог оправиться,

хотя тоже крепкий парень. Причем не столько даже из-за Галины, сколько из-за Льва: как тот мог?

Законы мужской дружбы мы все чтили превыше всего, а тут едва ли не главный (первым делом — самолеты...) был попран, причем так легко (казалось), словно его вовсе и не было, причем кем же? — Львом, от него-то уж никто не ожидал. Тут нарушался некий неписанный кодекс, от чего вообще все рушилось и никто уже ни в чем не мог быть уверен.

А у Виктора с того дня вообще все ломалось — и с женщинами (три развода), и с работой (сколько мест поменял), пока наконец не оказался в сумрачной стране Германия женатым на какой-то немке, вполне в общем благополучно, даже и с работой.

Подобно Льву он был страстным автомобилистом (вместе классе в десятом восстанавливали какой-то драндулет и потом объезжали его) и тоже переводчик. А тут судьба снова свела — на очередных международных ралли, которые проходили через Европу и Россию, аж до Дальнего Востока, и они вдруг оказались в одной группе.

Никто не знает, как проходила эта встреча и что наговорили они друг другу на языке родных осин (женщина — не предмет для разборки, женщина — рок, стихийное бедствие), но после этого долгого путешествия по евразийскому континенту, через леса, горы, болота и степи, отношения их частично восстановились. Именно частично, не так, как когда-то, да ведь едва ли не полжизни прошло, а в случае Льва, оказалось, что и намного больше, но все равно. Вроде как простил Виктор приятеля — так мы это, с облегчением, расценили.

На похороны Виктор, однако, из своей Германии не приехал — не смог (или не захотел?). И все-таки мы знали, что гибель Льва сильно его подсекла, как много лет назад уход Галины: он ведь любил их обоих

и неизвестно еще, кто ему был дороже (Льва он знал чуть ли не с первого класса, а такие связи не слабей родственных). Лев ему, несмотря ни на что, тоже был нужен, как и всем нам, и теперь без него сразу стало по-другому.

Виктор звонил из Германии и спрашивал, как там Галина — и что мы могли ему ответить?

Да, Галина...

Конечно, все мы ощущали ее магнетизм и нежность, однако виду старались не подавать.

Да, так уж вышло, женщине под сорок без мужской ласки и поддержки, тем более привыкшей, что ее любят и сама тоже, нелегко — мы могли только догадываться, *насколько* нелегко.

А что мы, собственно, могли предложить ей взамен? Разве только внимание, дружбу, наш привычный круг, где она была такой же своей, как и прежде, вот только пространство вокруг нее неизменно сквозило пустотой, и прикасаясь к кому-то из нас, она словно протягивала к нам руку за помощью — ну что, что мы могли еще?

К тому же и Лев вот-вот должен был объявиться, где-то он задерживался...

Мать, белобрысый и Илларион

Мать его опять приходила. Приходила и плакала.

Старая, в косынке, старушка-старушкой, хотя лет, в общем, не так уж много — чуть больше шестидесяти. Что ж они стареют так быстро? Потом обсуждали: у городских женщин по-другому, иной раз и восьмидесятилетняя — а больше пятидесяти не дашь. Или вообще не дашь. Не старуха — просто пожилая женщина. Дама.

Тут же и впрямь — старуха. Может, типы такие антропологические — разные: городская женщина, деревенская женщина? Все возможно. Странно: вроде природа, воздух чистый, могли б и получше сохраняться — так ведь нет!

У каждого есть мать, понятное дело, а эта женщина была старуха, пепельного оттенка лицо, как кора дерева, морщины глубокие, сгорбленная спина —

всем ее жалко. И Иллариону, конечно, тоже. От него, собственно, все и зависело, а он не знал, что делать, никто ничего толком не мог подсказать, а он очень переживал и поэтому злился. Надо же было этому кретину, сыну Марьяны (имя женщины), так налакаться и угнать их машину, а потом еще и разбить. Взрослый мужик, под сорок, покататься ему взбрело, понимаешь ли. Ладно, пусть не «мерседес» — обычная «шестерка», «жигули», даже не очень новая, но она им верой и правдой служила, Илларион на ней в Москву мотался чуть ли не каждую неделю и ничего. Не подводила ни разу. А тут всмятку. Ну не так чтоб совсем, однако восстановление тоже немалых денег потребует: весь капот деформирован, крыло полностью менять, да и моторная часть тоже требовала ремонта. Руль не удержал спяну, ну и завалился, урод, в кювет, каково? Так и заснул там.

И что делать? Денег у него нет (небольшого рощточку, белобрысый, глазки узенькие, конопушки по всему лицу и бородавка на подбородке), если и работает, то только на сезонных работах, другого тут ничего и не найдешь, разве только на их заводике, который только-только начал давать продукцию, все эти розетки, вилки... Еще сами без душа жили и спали на раскладушках, пищу на электрической плитке готовили, но линия (немецкая) уже работала, вот-вот начнет приносить что-то, хотя пока свободных денег еще не было, все в производство, на себе сэкономили. Мужикам однако зарплату понемногу начали выплачивать, раньше те от праздности (работы нет) только сивуху лакали да чего-нибудь умыкнуть норовили. А тут — рабочие места, так что и местечко оживать стало с их появлением. Взяли с Илларионом недостроенное, уже зараставшее травой здание, готовившееся то ли под свинарник, то ли под что, но, естественно,

заброшенное, в божеский вид привели — крыша, стены, деньги появятся — и внутри отделают, в общем, все должно было наладиться.

Илларион все доводил до конца, за что брался. Мало, что у самого руки золотые и мозги варят, как надо, но еще и талант организаторский: команду собрать, увлечь перспективой, убедить, что не очередная маниловщина, как часто бывает, — дело-то реальное, действительно нужное, востребовано будет непременно, а значит, и деньги будут.

Конечно, поначалу трудно, казалось даже, не вытянут. Да и народишко местный косо поглядывал — понаехали, понимаешь, барыги хреновы, работу сулят, как же, знаем, тоже не пальцем деланы: все себе, а прочих обмануть-кинуть. Приходилось дежурства ночные устраивать, чтобы не разворовали все, даже и припугнуть, когда чересчур наезжать стали — как так, их поселок, а тут неведомо кто хозяйничает, пришельцы-чужаки.

Хорошо еще с администрацией и местной милицией сговорились, дальний родственник Иллариона здесь работал, через него, собственно, все и затеялось. Вроде как, значит, не совсем чужаки. Агитация-пропаганда: для местных выгода, работа как-никак, аванс... Поначалу немного, а там, как поднимутся, и побольше. Мужикам-то на самом деле тоже маетно — хочется же чего-то настоящего. Но ведь и поверить надо, что не кинут. Все на Илларионе, ну и свояк его подсоблял — все-таки знал здешних, мог и посоветовать что, и вмешаться...

Илларион на себе много вытягивал, даром что по гороскопу лошадь. Даже не чтоб нажиться, а просто натура такая. Шебутной. И всегда с нуля. Совершенно запущенные строения брал, которые даже на вид от-

талкивали — и доводил. Ресторан, баня, аттракционы в Парке культуры... Сам во всем кумекал, в смысле технологии, архитектуры и прочего. Единственно, чего не любил, так это бумажек. Тут он сразу нервничать начинал, дергался и смотрел на часы — потерянное время.

Конечно, и ему деньжата нужны были (а кому нет?) — дом он начал строить под Москвой, по собственному проекту, но главное — чтоб интересно. Начать, запустить, довести до кондиции, увидеть, что все работает, — это, точно, по душе. Это и есть жизнь, а деньги только средство. Да у него их никогда особенно и не было (семья и прочее). Людям из собственных записок (если были) платил — тоже бывало.

И надо ж было этому балде машину разбить! Ладно, просто покатался, тогда бы, может, и сошло. (Хорошо еще, впрочем, не сбил никого, с него бы стало.) А теперь как? Денег у него нет, работы нет, что делать — непонятно. Иллариону в Москву не на чем ездить, а на новую или даже не новую денег нет, может, чуть позже и появятся, а теперь — пусто. И вообще что-то не клеится в последнее время: то ли место не очень удачное выбрали для фабрики, то ли еще что...

Паршивая ситуация.

Илларион злой, как черт: что делать? С уродом этим белобрысым что делать? В тюрьму сажать — так мать его жалко. Ходит, канючит:

— Вы его на работу возьмите, пусть отработает.

Как же, он и делать-то ничего не умеет, руки-крюки. И станок импортный, дорогущий, пьянь подзаборная, угрожает, допусти его к нему. Или еще что натворит.

Мать — жалко!

Не смотрит Илларион на старуху (не старая ведь женщина, глаза заплаканные, горестные), а у самого в душе кошки скребут. Другой бы на его месте отмах-

нулся: не мои, мол, проблемы, пусть где хочет, там и достает. Иначе тюряга по нему плачет. Раньше думать надо было... Ему спустить, так за ним еще потянутся. Время такое — нельзя слабость проявить, сразу проблемы. И без того, впрочем.

Мать за Илларионом таскается, жалкая. Урод же вечером подстерег возле фабрики, когда тот откуда-то возвращался, и тоже прикинулся: мол, прости, добрый человек, больше никогда не буду. В первый (как же!) и в последний раз. Не вводи в искушение, могу что-нибудь над собой учинить. А сам руку в кармане держит, несколько даже угрожающе: дескать, не простишь — за себя не ручаюсь.

Илларион не из пугливых, всякое повидал, в армии служил, кровь видел. И предпринимательством занявшись, в переделки тоже попадал. Случалось, приходилось разруливать. А тут какой-то придуркошный — то ли кланяется, то ли страшает. Нет, парень, так дело не пойдет, ты ж еще чего устроишь, если тебе отвод дать. Не получится. Ты не у меня лично машину увел и разбил, а у конторы, от которой твои же земляки кормятся. Ты у них заработанное отнял, не понял, что ли? Так вот, сообрази куриными своими мозгами... И не надо про мать. Ты ее и без нынешнего совсем извел, на ней вон лица нет.

Завернул, одним словом.

Завернуть-то завернул, а как быть — все равно вопрос. К станку приставить — так у них не исправительно-трудовая колония, не до воспитательных экспериментов. Да и сколько ему без зарплаты вкалывать, чтобы должок отработать? Кушать-то все равно надо. К тому же несимпатичен он был Иллариону, даже внешне, что-то гнилое в нем. Неприятное.

Мать же продолжала ходить.

Только Илларион из конторы — она тут как тут. Стоит в платочке, личико сморщенное, руки под грудь, темное на ней все, совсем как богомолка. И сразу к Иллариону: мил человек, не дай пропасть, погибнет ведь, если его по суду... Как тень, топчется возле конторы с утра до вечера, в окно не выглянуть.

Время идет, надо что-то решать, а Иллариону не до того, дел невпроворот: канализацию, час от часу не легче, прорвало, замыкание, чуть линию не погубили, в общем, нервы сплошные. Свояк из администрации говорит: чего ты мучаешься? Отправим его в места не столь отдаленные, тюрьма по нему давно плачет, чуть раньше, чуть позже... Может, раньше даже лучше, не то, неровен час, еще бед натворит...

Тут сюжет начинает буксовать.

Свояк, наверно, прав — только что Иллариону с того? Хоть и безобразный, а все равно — гуманистический такой мотив — человек, хоть и на тлю похож, кожа бледная-бледная, как у всех белобрысых (альбинос), к тому же и мать у него. У Иллариона тоже мать, с сестрой живет, вот она — городская женщина, совсем на старуху не похожа, хотя по возрасту даже старше.

Мается Илларион, все время на эту тему сворачивает, стоит только от дел оторваться. Постоянно в воздухе висит и мозги сушит. Не по себе ему как-то. Белобрысы-то исчез, затаился, это и правильно, лучше не видеть его...

Проблема-то, однако, все равно остается, не правильно это — любое дело надо до конца доводить, оставлять нельзя (правило у Иллариона).

Но и ошибиться нельзя — потом совесть (или что?) замучает, особенно если белобрысы и впрямь учинит, непредвиденное и опять же безобразное. Мерещится Иллариону (вообще-то не свойственно ему)

что-то такое, тревожное, на себя не похож стал. А время меж тем идет, две недели уже минуло, мать белобрысого скоро действительно в тень превратится, ноги не выдержат обивать пороги.

Сюжет буксует, а напряжение растет. Все ждут, чем закончится, и автор ждет, для него тоже все пока тонет в неизвестности.

Может, лучше так и оставить, не форсируя.

Конечно, если обострять, то белобрысому запросто под вечер, уже в темноте, подстеречь Иллариона где-нибудь по пути, когда тот будет возвращаться откуда-нибудь из поселка на фабрику, с дурными, понятно, помыслами («тут-то и блеснуло перед глазами»)... Или намылить веревку, перекинуть ее в сарае через балку, табуреточку шаткую подставить, которую мать давно уже просила укрепить, потому что однажды уже чуть с нее не упала. Она на нее часто присаживается, когда разбирает в сарае овощи с огорода — картошку, свеклу... Или с матерью, бедной, что-нибудь случится: никакого ведь здоровья не хватит — переживать.

Уже близко возмездие, но никак не свершится, тут хоть кто заболит, а у нее и без того силы на исходе...

Но можно и без интриги. Вроде как Илларион все-таки берет мужика на фабрику: тот и на станке обучается, и полы моет, и еще что-нибудь ненормированно, ему даже понемногу платят, чтоб совсем с голодухи не вымер. Короче, отработывает должок и на Иллариона молится (мать велела), хотя в глубине души почему-то ненавидит его и не считает, что кому-то должен. Не звали их сюда! Глядишь, и не случилось бы ничего, не появись они тут со своей фабрикой — так бы и зарастали травой, превращаясь окончательно в руины, начатки прежнего строительства... Мальчуганы бы там в

войнушку играли, прыгали-скакали по обнаженным балкам, пока кто-нибудь не сверзился бы и не сломал себе что-нибудь (уже было).

Как блеснуло, так и погасло. Блеснуло перед глазами Иллариона, но это произошло с ним в Москве, он на субботу-воскресенье вернулся — надо же и с семьей побыть, не все же вкалывать. Блеснуло и поплыло, он как раз брился перед зеркалом в ванне, удивляясь седине вылезшей щетины. Как-то быстро стали они сесть, не только он, но и другие, его лет, с кем работал или учился когда-то, в школе или институте. Качнуло его и повело, повело налево, стал он медленно оседать и упал бы наверняка, мог бы и удариться сильно, если бы не жена, выглянувшая из кухни на странный сдавленный хрип, им испущенный. Она его и поддержала, отвела шатающегося в комнату, уложила на кровать, скорую вызвала...

В старину «ударом» это называли, теперь инсультом. Плохо, короче.

Тем все и закончилось.

Мужика того белобрысого оставили в покое, потому что когда такие дела, то еще на всякую мразь время и нервы тратить — кому надо? Свояк было хотел еще что-то предпринять, расстроенный из-за Иллариона, да мать в платочке низко на лоб, в темном, на богомолку похожая, стала появляться и у здания администрации, где тот работал, и у дома его, где за изгородью бесновался огромный Акбар, кавказец, щенком подаренный свояку каким-то знакомым. Так что и свояк махнул рукой, тем более что фабрика без Иллариона вскоре совсем заглохла, а отстроенное здание передали под свиноферму, как, собственно, и задумывалось когда-то...

Шива танцующий

Когда Шива падал, все смеялись.

Он бежал, догоняя нас, и все смотрели, как он бежит, широко разбрасывая ноги (нарочно) и тут вроде как поскальзывается или спотыкается (не зря же смотрели) и со всего размаха пропахивает на брюхе метра два. И все гогочут над его неловкостью и тем, как он делает всякие пируэты телом и потом скользит носом, поднимая тучу пыли.

Конечно, он это нарочно — и падал и скользил, причем довольно самоотверженно (ссадины и кровоподтеки на коленях настоящие), а все для того, чтобы смотрели и смеялись. Для чего ж еще? Просто хотелось быть в центре — чтобы все на него обращали внимание, особенно девочки.

Надо сказать, ему удавалось. Причем не так, чтоб обидно смеялись, а как над артистом. Одно дело — действительно падать от неловкости, другое — как клоуну на арене, зацепившись за мысок собственного

ботинка. А так он был вполне нормальный и нисколько не смешон, обычный парень, без каких-то там особых комплексов, симпатичный даже (не без способностей), зачем ему?

А вот и надо.

Он так и представлялся: Шива. Шарапов Иван Васильевич.

Ш-И-В-А.

Не случайно же!

Есть люди, которые больше всего боятся показаться смешными. Вроде как это им чем-то грозит — достоинству их или чему-то там еще. Ну да, смешной человек — вроде человек второго сорта, неудачный человек, ущербный.

А вот и неправда! Смешной человек — самый нужный человек. Создающий вокруг себя ауру неприязнательности и неамбициозности (если, конечно, согласен быть смешным). Если же без согласия, то еще смешней, но с оттенком грусти и привкусом жалкости (вроде как и впрямь ущербность).

Так вот, Шива не просто не боялся быть смешным, но даже добивался этого. Демонстрировал свою готовность и свое согласие быть смешным.

Иногда, правда, получалось несмешно и некрасиво. Например, с едой.

Если случайно (или не случайно) на каком-нибудь пикнике или застолье на землю падал бутерброд (маслом книзу) или какая другая вкусность, Шива обязательно поднимал и потом с показным аппетитом жевал, поскрипывая песком на зубах и приговаривая: «С микробами вкуснее» или «Не повалешь — не поешь».

Ему было вкуснее, а окружающим? Нет, улыбались, конечно, но как-то натянуто. А иные отвора-

чивались, с трудом подавляя отвращение... И если Шива замечал это, то неожиданно становился агрессивным, в том смысле, что паясничество его приобретало несколько даже истерический оттенок: он ронял еду на себя (или на выбранный объект), чихал, фонтаном разбрызгивая вокруг только что отпитое из стакана, короче, уже не просто смешил, а эпатировал и дразнил.

Выйти из туалета с незастегнутыми штанами (с кем не случалось?) — это ладно. А каково если совсем без штанов — вроде забыв. Нет, не то чтобы совсем голым, а — в черных сатиновых трусах (кошмарный сон) до колена и скатанными в валик брюками под мышкой. С задумчивым таким видом, словно сочинял там стихи. А он делал вид, что не замечает, и так гоголем прохаживался среди народа, будто не понимая, отчего вокруг, главным образом среди представительниц слабого пола, такая сумятица. А потом демонстративно спохватывался: «ох» и «ах»! И как же это он опростоволосился?

А вот так!

Но бывало, что доходило и до полного самообнажения — например, во время купания в бассейне или в природном водоеме. Входит в воду в плавках, а выходит без (девчоночий визг и общее веселье). Даже и в руках не держит, а именно — в костюме Адама.

Потом плавки, понятное дело, находились, но до этого народ успевал вдосталь навеселиться-натешиться, пока смущенный и торжествующий Шива вновь не нырял в воду и затем уже не представал в нормальном виде.

В своих эскападах Шива доходил до самоотверженности.

Сколько раз срывался он с дерева, причем довольно высокого, забравшись на него и изображая Соло-

вья-Разбойника. Сунет два пальца в рот, чтобы засвистеть, свистнет и тут же, еще не оборвался протяжный, оглушительный свист (искусство), долго потом отдающийся в ушах, грянется вниз с обломанной веткой в руках, сотрясая листья и сшибая сухие сучья.

Или споткнется на лестнице, покатится вниз по ступенькам, причем вполне по-настоящему — у присутствующих аж сердце замрет испуганно: вдруг убился?

И что поразительно — ничего, обошлось, разве что легкий, незаметный ушиб, прихрамывал чуть-чуть или рукой осторожно двигал, но боли своей не выдавал... Встанет, отряхнется, оглянет всех с дурацким видом: дескать, ага!.. Во как бывает...

Артист, одним словом.

Он и из лодки во время байдарочного похода вываливался в еще холодную майскую воду, опять же для смеха, и потом его отогревали горячительными напитками, и за отошедшим экскурсионным автобусом, его забывшим, гнался, крича и размахивая руками, и живот у него схватывало в самом неподходящем месте, в музее или в транспорте, и он начинал корячиться, приседая, подпрыгивая и всем своим видом показывая, до чего же ему невтерпеж, а то и выпускал не очень приятный запах (с кем не бывает?), вроде как случайно (а нас самом деле?) — короче, чего с ним только не происходило, смех и это самое...

А еще он сам умел смеяться так, что и вокруг него просто не могли удержаться. Ах, как он, черт возьми, смеялся!

Начнет ни с того ни с сего — мелким сначала таким дробным смешком, потом все азартней, все заливистей, и так под конец разойдется, что остановиться не может, голову закидывает, выставляя острый кадык, чуть ли не задыхается. И другие вслед, тоже сна-

чала мелко так, как бы неуверенно (с чего бы?), а там, не прошло и пяти минут — уже слезы платком или руками вытирают, покраснеют все аж, за животик держатся, в разных позах изгибаются... Кое-кто даже выбегает, не выдержав.

Он уж сам перестал и как бы удивленно оглядывается, а вокруг все еще волны смеха, причем народ так и не понял, с чего, только на него поглядит и вновь...

Условный рефлекс.

Но коронный номер — танец с деревом. Увидит вдруг дерево — и к нему.

Если бы вы видели, как он танцует вокруг дерева! То руками его оплетал-обвивал, то вскарабкивался на него со смешными обезьяньими ужимками, повисал на руках (на двух или одной) или даже головой вниз, раскачиваясь и показывая нос. Небольшого росточка, худенький, он и впрямь становился похож на обезьянку, и все его часто просили: Шива, станцуй с деревом.

Он и плясал, руками и ногами смешно и быстро перебирая, быстрее и быстрее, так что казалось, дерево тоже начинает двигаться вместе с ним, такое он коловращение (а не просто кругами ходил) устраивал. Просто юла какая-то, аж ветер и посвист нездешний, шум меж ветвями, похожий на чье-то тяжелое дыхание.

По-своему даже красиво (ловкость), хотя смешное редко бывает красиво, скорей как раз наоборот. От смешного до безобразного один шаг.

Но Шиве, как ни странно, удавалось удержаться от этого шага. Как ни изгибался над собой, падая, строя рожицы либо придумывая какую-нибудь очередную эскападу, каких клоунад ни устраивал, не тягивал он до безобразия. Не получалось.

Кстати, о дереве.

И что ему дерево?

Можно, конечно, узреть тут некий символ: ну что кроной в небо, а корнями в землю, и что шелестит как живое (и вправду), и что танцует вместе с Шивой, а он, получается, вроде как лесной бог или сатир, или пан, или кто...

Все можно, если б он не обычный подросток, а в таком возрасте какие ж символы? Как есть — так и есть, никакой мистики. И без того все загадочно и неизъяснимо, волнующе и страшно.

Тут не символы, а обычное половое созревание, самоутверждение, эгоизм и вообще, как известно, пустыня. Иного тянет в этом возрасте на дерево вскарабкаться (Шиву тоже) — на самую верхушку, рискуя здоровьем, но зато высоко и вдаль видно, как снизу не увидишь (и его не увидишь, сокрытого ветвями и листьями, словно большую птицу).

Стоит древо, качается, и ты на верхушке качаешься, аж дух замирает, потому что у тела, пусть пока небольшого, все-таки вес, верхушка же тонковата, накрепнется под тяжестью, а внизу листья, листья, ветки, ветки, листья, листья, земли почти не видно, чуть-чуть если, да и как бы не земля это вовсе, а что-то непонятное и тоже воздухоплавательное, пойманное в сеть ветвей и листьев, вдаль же (глубокий вдох) — воздух и небо в плывущих облаках, и верхушки других деревьев или дома, в общем — простор...

В Шиву влюблялись.

Но влюбившись, сразу начинали требовать от него той самой серьезности, которой он так старался избежать. Из-за этого отношения не клеились. Девушки хотели романтики, а романтика и смешное — едва ли не на разных полюсах. Конечно, похихикать они тоже не возражали, но когда дело касалось амурных отношений и прочего, то тут сразу становились очень серьезными и задумчивыми.

Шива хохмил и кривлялся, а они сердились и оби-
жались.

Странно: что подвигло их первоначально на чув-
ство, то потом это же чувство разрушало. Мешали им
хохмачество и клоунады Шивы — вроде как он тем
самым ставил их в неловкое положение. Они-то к
нему серьезно (взгляды там и прочее), а он им бело-
зубую ухмылку и какую-нибудь из своих забавных
рожиц. Либо что-нибудь из своих скоморошьих вы-
ходовок — то на четвереньки встанет и гавкать начнет,
то нацепит на ухо или на нос какую-нибудь прищеп-
ку для белья или занавесок, то шапку вывернет так,
что станет похож на лешего, то на ходу вдруг начнет
подскакивать-подпрыгивать, забавно вскидывая ко-
лени и выворачивая ступни, непонятно кого изобра-
жая (может, козла), с серьезным таким видом: прыг-
скок, прыг-скок...

Ладно бы, в детстве-отрочестве, тут все понятно,
самоутверждение и прочее, но он и в возрасте вполне
зрелом оставался таким же неумным и шепутным. А,
Шива, — едва о нем заходила речь, и тут же улыбка
на губах, а то и лицо просветлеет, потому как улыбка
не скептическая и не презрительная, как могло бы
быть, а вполне доброжелательная.

Стоило собраться компанией, застолье устроить,
как тут же интересовались: где Шива? Почему нет
Шивы?

Надо признать, что в компании Шива был просто
незаменим. Скучно без него. Разговоры все серьез-
ные давно переговорены, никто уже ничего не ищет,
как в юности, истину там или высокую неземную
любовь, а все равно хочется побыть вместе. С Шивой
же не просто веселей, а как-то вольготней, естествен-
ней: он сразу что-нибудь из своего шутовского арсе-
нала выкроит, пусть даже с некоторым налетом пош-

лости и тем не менее: пошлость тоже бывает нелишней, особенно если народ слишком зажался и что-то такое из себя строит — вроде как из другого теста.

Пошлость в известные минуты тем и хороша, что отрезвляет и доверительность восстанавливает, — все знают, в конце концов, откуда ноги растут и ветер дует.

Кстати, о ветре.

Действительно вместе с Шивой, верней, с его внезапными (хотя и ожидаемыми) выкрутасами возникал некий сквознячок.

Освежающий. Бодрящий. Будоражающий. (Как на верхушке дерева.)

Нет, правда, представьте себе: только что сидел вместе со всеми за столом — и вдруг нет его... Никто даже не заметил, как он исчез, и вдруг стол, на котором, понятно, напитки и яства (пусть и скромные), начинает крениться, медленно так, вот-вот все рухнет — ну, конечно, Шива...

Или какая-нибудь дама вдруг начнет ни с того ни с сего хихикать и ерзать, а потом вдруг вскакивает, как ужаленная, заливаясь полуистеричным смехом, и убегает, ах, ах, вся раскрасневшаяся, в коридор или ванную — все Шивины проделки.

Словом, сразу тонус повышался, пасмурность рассеивалась, народ веселел и раскрепощался — и все, выходит, благодаря ему, Шиве. Не все ж сидеть, уткнувшись в тарелку и сумрачно двигая челюстями.

Ага, ветерок пробежал, надо же!

Надо отметить, что он на дух не переносил серьезных разговоров, категорически не терпел. Стоило кому начать за жизнь, философское там, морально-нравственное («оральное», острил Шива) или духовное («духовитое», Шивин каламбур), понятно в об-

шем, как он тут же активизировался — хохмы сыпались одна за другой, и не просто с оттенком пошлости, но и сатурнальными всякими кунштюками: чем выше заносило беседующих в горние выси, чем суровее и категоричнее становились их голоса, тем сильнее изгилялся Шива, всячески встревая и дергаясь, словно это его лично как-то задевало.

Во время одного такого разговора (страсти, как водится, накалились, голоса почти перешли в крик) он то ли и впрямь надрызгался, то ли притворился таким пьяным, в общем, упал лицом прямо в тарелку с салатом. Сидел вроде со спокойным, невозмутимым видом, даже не встревал в разговор — и вдруг бух... Из тарелки ошметки в разные стороны.

Все засуетились сначала, может, плохо человеку, так это внезапно и натурально, не до смеха, а голова как упала так и лежит, лицом вниз, надо же... Несколькими минутами полежала, пока шум не прекратился, а потом поднимается вся в оливье — физиономия неузнаваемая, в картошке, майонезе и родинках зеленого горошка, и сквозь весь этот макияж: «О смертной мысли водомет, о водомет неистошимый!..» (тютчевские, кто не знает, строчки)...

Посмеялись, конечно, но как-то не очень натурально, вроде по обязанности — переборщил Шива, но разговор тем не менее замялся и уже в прежнее русло не вернулся, вот как.

Не все, однако, к юмору (часто своеобразному) Шивы относились по-доброму. Кое-кого он раздражал, причем довольно сильно. Может, даже не сам юмор, а что Шиву любили и всегда он оказывался в центре внимания, сбивая общий, зачастую невнятный настрой на свой карнавально жизнеутверждающий лад.

Сам Шива, как уже было сказано, улавливал с чуткостью сейсмографа это раздражение, но вместо того,

чтобы удержаться от лишних глупостей, напротив, духарился еще больше, стараясь так или иначе зацепить источник раздражения.

Подкалывал.

Можно сказать, настаивал на своем: если смеяться, то тогда уж всем. Никто не должен остаться в стороне, с занудной серьезностью глядя на заливающихся хохотом или просто улыбающихся.

Нарывался, короче.

Понятно, что иных такая его настырность просто из себя выводила: надо ж и меру знать! К тому же и шутки его бывали однообразны и плоски (тоже ведь вдохновение нужно), а это, не надо объяснять, сильно утомляет, не говоря уже про раздражение. Нетерпимость обнаруживалась (но ведь и Шива глумился). Это ведь не с деревом танцевать. Тут — люди.

Однажды выставили за дверь, встали двое и буквально под руки вывели в коридор, к парадной двери, отворили ее и... до свидания. Не так чтоб сильно, однако — туда, в неудобное лестничное пространство — как на помойку.

Нехорошо получилось.

В другой раз дама — не «ах, ах», а с разлета по щеке бамс, по другой бамс, и не шутя, а вполне натурально (в том числе и звук). Тут как не делай вид, что ничего не случилось, какие коленца отступные ни выкидывай, понятно — случилось. Дама малознакомая, непривыкшая к Шивиным шуткам, может и вообще — к шуткам, особенно такого рода (*sexual harassment*).

Бывает. Как в цирке. Не всякий номер проходит благополучно, особенно у акробатов. Да и у клоунов тоже.

Между прочим, цирк Шива любил. Куда больше, чем театр. А все потому, по его словам, что цирк — это цирк, представление, игра, праздник, а театр — пре-

тензия на отражение жизни и философию. Цирк — риск и необычность, а театр — то же томление духа, что и всякие прочие изящные искусства. Цирк — динамика, танец, отвага, все прочее — лишь имитация.

Своя логика в этом была, что говорить. А он тем более эту логику собственным поведением подтверждал. В том смысле, что тоже рисковал.

Кстати, в тот раз, когда его вывели, он ведь не ушел просто так, обидевшись. Все, значит, сидят, пригорюнившись после подобного эксцесса (не каждый же день насильственно выпроваживают человека), и вдруг стук в окно (а этаж, кажется, третий): тук-тук, вежливо, словно просят войти. Выглядывают, а там — он, Шива, на ветке близрастущего дерева (тополь), страшно смотреть, как он свесился, весь перегнувшись (и ветка опасно гнется и вибрирует)...

Крики испуганные, смех, шум-гам, а он с безмятежным видом, подобно коале, висит на ветке и в окно заглядывает из ночной темноты... Ну нет человеку удержу.

В распахнутое окно — ветерок прохладный (ранняя осень).

Держись, Шива!

Кладезь

Есть женщины, словно (или без всякого «словно») созданные для дома. Такая, кажется, могла бы составить счастье любого мужчины, хоть что-нибудь смыслящего в сладости домашнего уюта и тепла. Но именно таким почему-то, как правило, и не везет. И не то что бы их семейное счастье рушилось от каких-то там жизненных катаклизмов (бывает), а просто они даже не достигают этого счастья, вот в чем дело.

Верней, не достигают брака.

Вообще ничего не достигают — ни в служебной карьере, ни в частной жизни.

Больше того, они — при всей своей, казалось бы, предрасположенности быть матерью и хозяйкой — остаются в конце концов у разбитого корыта, тогда как другие, жившие исключительно для себя и не принесшие никому настоящего счастья — пользуются (не особенно ценя) всеми благами домашнего очага и семейных уз.

Почему так получается — Бог его знает? Будто в основании вещей заложена некая несправедливость — и то, к чему человек расположен, того он и не имеет. Словно кто-то неустанно бдит за тем, чтобы гармония не могла осуществиться, а полнота бытия отодвигалась куда-то исключительно в область недостижимого — лучше и не стремиться.

Скорей всего, с Валентиной так и было.

Впрочем, она и не стремилась. То есть, с другой стороны, кто же знает? Наверно, и она бы не прочь устроить свою жизнь по все той же затертой до пошлости схеме: муж-семья-дом, но так получалось, что всякий раз сама же и усложняла себе все, совершая необдуманные — с точки зрения здравого смысла или житейского прагматизма — поступки.

Лучшая ее подруга, уступавшая ей, можно сказать, по всем статьям, даже и в миловидности, прекрасно устроилась: дом — полная чаша, дети, муж — порядочный человек, не пьяница, работенка, пусть не слишком по душе, но зато и не особенно обременительная... В общем вроде все о'кей — ан нет, не получается, просто не по натуре эта почти идиллия, редкая по нынешним временам, — тянет куда-то, не поймешь куда. То депрессия, то дистония, то нервы...

Но именно от нее-то и приходилось чаще всего слышать: Валька, дура, сама себе все портит...

«Дура» — это, понятно, хоть и в сердцах, но ласково, потому что сочувствует, потому что обидно же: человек, можно сказать, кладезь всяческих добродетелей, а что толку? Ни самой счастья, ни вообще...

Ну, насчет «вообще» лучше не надо. Все-таки она делала то, что, по любым меркам, могло быть расценено как самоотверженность и даже самопожертвование. Первое, что, собственно, можно считать нача-

лом ее неустройства — согласилась взять на воспитание сына сестры. Годика три ему было, как младшая сестренка, любимая, но беспутная (к тому же и попить начала по своей никак нескладывавшейся жизни), растившая его в одиночку (гм!), получила шанс еще раз выйти замуж. Правда, при одном условии — без ребенка. Будущий ее муж ни в какую: не нужен ему чужой ребенок и все. Такой человек!

Ну а парнишку куда девать? Вот и попросила поддержать трехлетнего Андрюшу у себя некоторое время, пока у них любовь и все такое. Валентина согласилась, а дальше, понятно, привязанность, любовь и пр. И так получилось, что он в ее однокомнатной квартире задержался насовсем (младшенькая тут же обзавелась вторым, от уже нового своего, так что не очень даже и навещала), «ма» ее называл, хотя и знал, что она ему не мать, а всего лишь тетка. Потом, повзрослев, перешел именно на это именование: тетка... «Да ты что, тетка, совсем сбрендила?» — это еще впереди.

Все бы замечательно, только слишком она его баловала, как бывает, все из бабьей дурьей жалости (безотцовщина же, почти сирота!), во всем ему уступала... И что в результате? Все ее интересы сосредоточились на Андрюше. Ему то, ему се...

Тоже банальный случай.

Андрюша же, подросши, быстренько стал борзеть, тетку тиранил, гадости ей говорил, с гулянок являлся поздно, сначала дружков приводил, потом и подружек, отправляя в кино либо к подруге, то есть не считался с ней совершенно.

Только два года у нее и было, когда его в армию взяли, — дух перевести. Попытаться своей жизнью пожить, а может, если повезет, и устроить ее как-то. Не все же время при чужом огне греться. Так ведь

нет, ждала Андрюшу из армии, будто сулило это ей невиданно какое счастье.

Он ей и устроил.

Совсем армия парня опустила, ничего делать не хочет — завалится на диван, пиво пьет литрами, а деньги, натурально, у тетки тянет, которая перед ним стелется. Она его на одну работу устроила, на другую — с тем же результатом. Пару месяцев поработает, и все. С одной его быстро прогнали: амбиций воз, а способностей кот наплакал. С другой сам ушел, тяжко: вставать рано, да и работа беспокойная. Потом устроился куда-то вахтером, зарабатывал гроши (на пиво хватало), тем более что тетка кормила и одевала на свои деньги.

Мало того, что Валентина пестовала своего Андрюшу, она еще и у родителей постоянно на подхвате. Те проживали в железнодорожном поселке в ста пятидесяти километрах от города, отец работал на станции, мать занималась хозяйством (корова, свинья, огород), так что весной и по осени Валентину выкликали на сельхозработы, да и если кто из родителей прихварывал, то опять же она — больше некому.

Родители старые, нужно помогать. Так что и отпуск Валентина проводила не на море (хотя могла бы), а в своей Матвеевской, возле родителей.

Иные так устроятся, что с них и взять нечего, тогда как другим достается по полной. Жалко человека, что говорить. Если б Валентина совсем без запросов была, такая простая, тогда б куда ни шло. Или там уродина какая, синий чулок. Так ведь нет, и в женском плане все при ней (душа в первую очередь!), и в прочих. В курсе всех интересных выставок, на концерты ходила, книги покупала и читала, с ней и поговорить интересно, в отличие от младшей сестрицы (пустое место).

А уж что касается дома, то к ней зайти приятно — чистота и порядок (несмотря на обалдуя Андрюшу), скромно, но со вкусом, цветы в вазе, картинки на стене, оригинальные (подарок какого-то однокурсника), книги, светильники... Тепло и уютно, так бы и сидеть.

Тоже, между прочим, творчество, нет разве? Пространство вокруг себя обиходить-облагородить, не каждый, между прочим, способен.

Да, такая женщина — и одна! Несправедливость!

Пытались ее знакомить с разными мужчинами (надо же как-то способствовать), специально для нее устраивали какой-нибудь пикник, на который приглашали кроме нее еще и претендента, и — опять же таки — что? А ничего! Вроде поначалу все мило, беседа, то-се, телефон-адрес, обязательно созвонимся, ну и... И созванивались, и даже кое с кем потом встречи были, а все равно... Ломалось на каком-то этапе (пойди пойми на каком).

Не исключено, что мужчины были не те, старые холостяки... Такие свою свободу берегут, как в иные времена девушка невинность. Глупые. Хотя опять же кто знает? Может, и в самом деле чего-то в ней не хватало, изюминки какой (помимо миловидности) — женского тайного шарма, который словами не выразишь, зато мужики его шестым (или каким) чувством чувуют. Добрая-то добрая, душевная, аккуратная, домовитая, словом, замечательная, кладезь, а не женщина — только...

Руками врозь — и мычание неопределенное.

Не получается.

Между тем обалдуй ее (Андрюша) вдруг (или не вдруг) женился и к жене своей переехал, то есть к родителям ее, в трехкомнатную квартиру. Тут бы еще

разок попробовать — в кои-то веки, не старая же еще, сорок всего... Так, естественно, родители жены раздолбая Андрюши (при всей любви к дочери) быстренько, не прошло и года, попросили их поискать жилье в другом месте, потому что с таким зятем (пивные реки) кому захочется жить? К тому же тут и младенец образовался (дело нехитрое), ор сплошной, нет уж, увольте...

К кому бежать?

Естественно, к тетке... Нет, не за деньгами (за деньгами, впрочем, тоже) — за квадратными метрами. Младенцем прельстили — хорошенький. На Андрюшу в детстве похож (не такая, понятно, ряха как нынче). Угол тетке шкафом выгородили, благо комната в старом доме, с двумя окнами плюс эркер, небольшая.

Пожила, называется.

Валентина поначалу разбежалась — помогать. С младенцем понянчиться — хоть какая, а радость. Только не тут-то было. Деваха эта Андрюшина — тоже овощ. То ли из ревности, то ли из-за чего, а не дает с младенцем тетехаться. И плевать, что Андрюша на ее руках вырос (не потому ли такой, между прочим, шалопай?). В общем, оттирает Валентину, бывает, что и грубо. Дескать, не лезьте, сама справлюсь. И что ей не так?

Не то чтоб Марина эта злючка такая, но просто, видимо, поля разные, в смысле заряды. Обидно, конечно. В таком случае, известно, лучше вместе не жить, ничего путного не выйдет. Но Валентина разве решится сказать: дескать, ребята, хватит, пожировали, пора и честь знать, мне тоже пожить хочется?

Где там?

Младенца ей жалко, да и обалдуя Андрюшу... С его вахтерским заработком нормального жилья им точно не видать.

Лучше б себя пожалела!

Что еще?

Живет теперь Валентина у своих родителей в Матвеевской. В школу в поселке устроилась — математику преподавать, потом и физику с химией (пять учеников). Матери, сильно сдавшей в последнее время, по хозяйству помогает. Потом и за отцом (инсульт) ухаживает. В общем, при деле...

Иногда им Андрюша с Мариной Борика подкидывают, иногда младшенькая своих двух девиц... Летом обычно, а иногда и на зимние каникулы. Воздух все-таки, коза (козье молоко — полезное), куриные яйца...

Здесь у Валентины своя комната. Она и ее обустроила — уютно, тепло, картинки на стенах, светильники, книги, плед... Совсем как в городе. Чистота и порядок. Попытался тут к ней приладиться слесарь со станции, ничего мужик, пьющий, правда, да найди теперь другого? Тут их и вообще кот наплакал, а кто есть — все семейные. Ну да Валентина отшила — к шутам! Не очень-то и хотелось.

Конечно, она уже не такая, как прежде. Суше, замкнутее стала, смотрит, бывает, задумчиво, на вопрос не сразу ответит, иногда что-то такое мелькнет в глазах, тоскливое, словно забота какая. Но ученики любят ее, добрая она, и вообще в поселке почти своя (хотя и не совсем). Не строит из себя.

Вот и задумаешься: а может, на самом деле все правильно? Может, так и должно быть, потому что не могло быть иначе. Что-то, конечно, от случая зависит, от обстоятельств, а что-то (в основном) от самого человека. От склада. От природы. От всего вместе. Еще неизвестно, кто счастливей.

Да и что это такое — счастье?

Жертвоприношение

Все-таки он это сделал. Именно он, а никто другой. Ну да, Витя Смоленский...

Замечательный, между прочим, парень, где он теперь и чем занимается в жизни? Не сомневаюсь, что он стал большим ученым или выдающимся специалистом, с его-то потрясающей волей и силой духа!..

С виду не очень заметный, роста даже ниже среднего, худощавый до сухости, хоть пиши с лица портрет средневекового аскета: кожа смуглая, чуть в синеву, упрямый острый подбородок, впалые щеки и виски, выпирающие скулы и большие умные карие глаза, в которых могла светиться насмешка, а могла и какая-то отчаянная решимость.

Но чаще всего — упрямство, ох, и какой же он был строптивый, без всякого повода! Просто. Никогда ничего не делал без сопротивления, явного или неявного. Скажешь ему: Вить, принеси, будь добр, ведро

воды — не тут-то было! Пять минут ждешь, пятнадцать, потом с недоумением идешь сам и с удивлением обнаруживаешь его сидящим с неподвижным взглядом возле родника (пустое ведро валяется тут же). Хотя, может, это вовсе и не упрямство было, а что-то другое?

Однако Витя умел и проявить себя, почти всегда неожиданно. И не только тем, что запросто мог не сделать того, о чем просили, но и...

Как-то вечером, после напряженного трудового дня, выпив на сон грядущий завезенного в местный магазинчик пива, народ решил поразвлечься и устроил соревнования по армрестлингу. Здоровая такая забава, а ребята в отряде, между прочим, крепкие, один даже культурист.

И что вы думаете?

Сильнейшим оказался не кто иной, как он, Витя Смоленский.

Собственно, никто поначалу даже верить не хотел, думали, что случайность, что все ему поддаются по какому-то негласному уговору. Шупленький, узкогрудый, весь какой-то высохший (кожа да кости), на йога похож — где ему?

И однако — каждый новый соперник, вступавший с ним в поединок, терпел поражение. Причем не так, чтоб с сомнительным, а с вполне очевидным преимуществом Вити. Когда же поверженным оказался мощный культурист Костя, элементарно тягавший мешки с цементом, все были не просто озадачены, но и ошеломлены. Вроде как не с человеком боролись, а с Железным Дровосеком.

В самом деле, руки (и правая и левая) Смоленского были только что не железными, захват мертвым, пальцы как пассатижи — ощущалось это почти с первого мгновения, едва ваши ладони соприкасались,

обдавая друг дружку сухим жаром, а пальцы накрепко сцепливались. Какая-то прямо-таки нездешняя сила ощущалась в этих руках, в этих пальцах, и сколько ты ни напрягался, сколько ни тужился, ни багровел, упираясь не только локтем, но и ногами, и всем телом, — тщетно! Руку твою методично, даже как будто без особого усилия, прижимали все ниже и ниже, ниже и ниже, пока та, изнуренная, не падала на открытый клеенкой, слегка вибрирующий под упертыми о его поверхность локтями стол.

И правда, впечатление ошеломляющее. Неведомо откуда взявшаяся мощь в Витиных членах даже пугала, поскольку никак не соответствовала ни его конституции (тонкая узкая кость, невеликие мышцы), ни вообще облику, разве что только в узком скуластом и смуглом лице с упрямым подбородком и тонкими насмешливыми губами проскальзывало что-то загадочное.

Впрочем, армрестлинг, в коем Витя так и остался в то лето непревзойденным, хотя не раз потом многие (культурист Костя в первую очередь) пытались взять реванш, не был единственным делом, где Витя обнаружил свою незаурядность.

Было и другое.

Нельзя сказать, чтобы мы были особенно голодны, хотя в юности всегда хочется есть, молодой организм требует, а мы все-таки еще и вкалывали от зари до зари, так что под ложечкой, случалось, посасывало. К тому же и однообразная пища прискучивала: хлеб, каша и картошка, картошка, каша и хлеб... Еще иногда разваристые толстые макароны с говяжьей (или какой?) тушенкой. Пожалуй, и все. Еда незамысловатая, но вполне приемлемая. Однако нам, понятно, хотелось чего-то еще, не обязательно какого-нибудь гастрономического изыска, но все-таки...

Между тем в деревне и в ее окрестностях привольно и чуть ли не бесхозно паслась всякая домашняя живность: куры, индейки, утки, гуси, свиньи, козы, овцы... В небольшом, правда, количестве, иногда даже и единственном, но тем не менее. И естественно, взоры наши, в ком не умер еще древний охотничий инстинкт, обратились именно в ту сторону.

Разумеется, шутки, что неплохо бы пожарить шашлычок из барашка, были не более чем шутками. Но вот что касается куриного супчика или индюшачьего бульона с плавающим в нем белым мясом (да и косточкой похрустеть), то тут уже всерьез потягивало ароматным дымком и желудочный сок начинал выделяться более обильно.

Как-то сама собой сбилась небольшая группка охотников, вознамерившихся все-таки испробовать это мясо на зуб. Причем почему-то внимание сосредоточилось именно на индюшках — может, потому, что в деревне эта птица водилась в количестве, значительно превышающем все прочие виды живности. А может, и потому, что паслись они где ни попадя, так что пропажи, случись она, никто, пожалуй, и не заметил бы.

Еще одной причиной, не исключено, был и их внешний вид, не слишком, мягко говоря, привлекательный: скошенные, без гребешков головы на тучном теле с ярко красными загнутыми клювами и вспученными, будто даже злыми выпуклыми глазами. Не нравились они нам своим обликом, а поскольку предполагалось известное насилие и даже смертоубийство, то это вроде как облегчало задачу.

Индейки так индейки.

Мы вооружались довольно увесистыми камнями и залегали за бугром неподалеку от пруда, где днем обычно никого из людей не наблюдалось, значит, и

нас никто видеть не мог. Меж тем именно здесь, не подозревая об опасности, разрозненно паслось толстомясое индюшачье племя.

Высовываться мы опасались и булыжники всячески маскировали, поскольку, неровен час, кто-то из деревенских мог нас и отследить, а тогда и хлопот не оберешься. Рисковать особенно тоже не хотелось — как ни крути, а все-таки частная собственность.

Что требовалось, так это подходящий момент, когда какая-нибудь из зазевавшихся птиц забредет поближе к бугру, ну а дальше...

Что же касается самих индеек, то они, надо отдать должное их проницательности, тот бугор с самого начала, словно уловив исходящую оттуда угрозу, сразу не взлюбили. И бродили, мирно поклевывая в травке, на приличном расстоянии от него. Пару бросков это, однако, нам не помешало сделать, но, увы, безуспешно.

Да и что это были за броски? Курам (индейкам) на смех, как говорится. Ладно, промах, но даже и при попадании, скорей всего, ничего бы мы не достигли. Все дело в некотором мандраже, который невольно испытывали мы, словно опасаясь и взаправду попасть в цель. Что ни говори, живые были существа, хоть и несимпатичные на вид. Лапками передвигали, глазками-горошинками поблескивали, даже клекотали время от времени.

Забавная птица.

Так что не одна рука, похоже, дрогнула в тот момент, когда вроде бы представлялась реальная возможность. В общем, охотники из нас были те еще. И кушать вроде хочется, но вот птицу порешить, даже камнем — не получается: кишка тонка...

Вот так, лежа на травке и с волнением следя за пасущимися индюшками, но одновременно видя и пруд с нависающими над ним ветвями плакучих ив, на

скользящие по воде тени, на небо с белоснежными облаками, мы постигали науку единения с природой.

Мы любили и этот пруд, и эту птицу, и шелестящие над головами листочки дерев, разве только сами себе не очень нравились: слабаки, оторвавшиеся от естественного строя жизни. Дети асфальта, утратившие решимость и неколебимость охотников, чья добыча — жертвоприношение веселому богу полей и лесов. Даже смиренные домашние птицы, лишь и существующие, чтобы наполнить человечью утробу, нам были не по плечу — только и могли, что с вожделением и одновременно страхом наблюдать за их беспечным неторопливым снованием.

Мы не стыдились (или стыдились втайне) своей беспомощности и, поедая макароны с говяжьей тушенкой, со смехом и всякими подробностями рассказывали о своих приключениях.

В пору нам всем было записываться в вегетарианцы, в «зеленые», еще в кого-нибудь... Ничего мы не могли, что положено настоящим мужчинам, в крови которых живы эти первобытные навыки. Не лисицу или зайца и уж тем более не медведя, не глухаря или вальдшнепа, а самую заурядную жирную индейку — и ту, стыд и позор, не могли добыть.

Все улыбались, слушая наши истории (а было уже несколько опытов), и Витя Смоленский в том числе, хотя его карие глаза, как обычно, оставались грустными. Чемпион по армрестлингу, Железный Дровосек, он не участвовал в наших бесплодных, отчасти даже унижительных вылазках. В свободное время он сидел где-нибудь на отшибе, в уголке и читал «Илиаду» на древнегреческом (а может, это была «Энеида» на латинском). Привалившись к стенке или к стволу дерева, весь сжавшись в комочек, щупленький, он казался совсем маленьким, тихим и жалким.

Если бы каждый из нас не ощутил уже не раз его железную чемпионскую хватку, непобедимость его тонких, словно из металла отлитых пальцев, то впору его и впрямь пожалеть — так далек он был от наших житейских забот и волнений, от попыток доискаться в себе первобытности, дабы обрести наконец мужскую идентичность и еще что-то, нам самим неведомое.

Что-то каждый из нас (и все мы вместе) должен был завоевать, какую-то жертву принести таинственному богу природы, без которой нас могли куда-то не впустить или во что-то не произвести (обряд инициации). Какую-то невидимую границу мы пытались перейти, она нас тревожила и мучила, хотя мы и смеялись над собой и своей мягкотелостью, и смех примирял нас с собственной нерешительностью.

Так вот, главное событие, к которому автор так долго подводит это повествование, произошло почти в самом конце срока, после ночной прощальной оргии, устроенной напоследок в полях возле одного из огромных стогов сена.

Какими-то кружными путями возвращался Витя ранним сырым и туманным утром в нашу деревню. Туман стоит отметить особо: он был таким густым, что ничего не видно в пяти метрах и запросто в нем заплутать, что, собственно, с Витей и произошло.

Шел он долго и куда забрел, судя по всему, не окончательно еще протрезвевший, ему самому было неведомо. Ясно только, что дома, которые вдруг выплыли из белесой пелены, к нашей деревне не имели никакого отношения, и сколько Витя ни всматривался, ничего узнать не мог.

Представьте себе: в воздухе разлито белесое марево, сквозь него если что и узришь, то метрах в пяти максимум, а все остальное тонет безнадежно, и где-то там, меж седых мокрых клоков — серый силуэт, не-

сколько размытый, бредущего человека. И вдруг, ну да, вдруг — пурх... что-то такое, белое же (или седое), как этот туман, будто оторвавшийся от него клочок, буквально из-под ног... С шумом и клекотом.

Только Витя, маленький, шуплый Витя, чемпион по армрестлингу, и здесь оказался на высоте. Не подвела реакция: раньше чем он сам понял, что случилось, в его железных руках уже шумно трепыхалась и билась крупная птица, а секунду спустя, дернувшись пару-тройку раз (о ужас!), затихла навсегда...

А дальше...

Дальше он брел по туманным стогнам, устало присаживаясь иногда передохнуть и на привалах методично ошипывая крупную, довольно увесистую добычу, словно пытаясь таким образом облегчить себе ношу. Что ему грезилось пока он шел — никто не ведает. Может, строки «Илиады» на древнегреческом или «Энеиды» на латинском всплывали в еще гудящей от хмеля голове? И вовсе не Витя Смоленский, а хитроумный Одиссей возвращался на свою родную Итаку, где ждала его истомленная назойливыми женихами, почти отчаявшаяся Пенелопа.

Уже и солнце взошло, и туман постепенно редел и истаивал, открывая глазу вольный простор и желтеющие осенние нивы, когда шупленькая невысокая фигурка, насквозь мокрая и продрогшая, выросла в дверях кухни и с несколько смущенным видом протянула почти готовый к употреблению продукт.

Эх, надо видеть этот неповторимый королевский жест!

На обед всех ждал вкуснящий индюшачий бульон с лапшой, а кое-кому даже попадались куски белого нежного мяса.

Рубеж был преодолен, мир снова свеж и перво-зданен.

Щель

Есть такие несчастливые натуры, у которых все не ладится, постоянно с ними что-то происходит неприятное, какие-нибудь несчастья или просто неурядицы — то трамвай из-под носа уйдет (торжествующе-зловредный звон), то ливень польет, когда обычно лежащий в сумке зонт почему-то забыт, а метеосводка обещает безоблачность, то насморк и кашель, когда в руках туристическая путевка на автобусную экскурсию по Золотому кольцу или даже по Европе (в кои веки!), то...

В общем, не слава Богу, и как ни тужься, как ни подстраховывайся, все равно не угадаешь, где сорвется... Тут слово такое есть, объяснительное, — карма... Это значит, что сам человек вроде не причем, а действуют некие глубинные механизмы: то ли из-за грехов предков, то ли из-за собственных, то ли еще из-за чего...

Но главное, что это задевает и окружающих, близких и не совсем, скажем так, сослуживцев, к примеру, с которыми человек в частом соприкосновении, то есть тех, кто попадает в поле этой самой кармы, им непроизвольно тоже достается, пусть даже в совсем незначительной, подчас даже и вовсе нечувствительной степени.

Несчастьность — она как радиация, каждый получает свою дозу... Говорят, недавно наши умельцы, по трудной переломной жизни, даже изобрели электронный аппарат, который позволяет улавливать исходящие от других токи кармы (подобно содержанию нитратов в овощах и фруктах). Теперь при найме на работу можно проводить тестирование, причем совершенно незаметно: кому, спрашивается, хочется иметь на службе человека с неблагоприятной аурой?

А сам человек между тем ни сном ни духом...

Впрочем, это отступление к Т. может и не иметь прямого отношения. Несчастьность ее ничуть не больше, чем у остальных, ну разве что местами или периодами (с кем не бывает). Вылезала из такси — сломала ногу, что это? Пошла на рынок — украли кошелек. Ребенок заболел какой-то детской болезнью, обычное дело. Если все это одно за другим, то, может, просто полоса такая, и не надо обобщать. Если обобщать, тогда полчеловечества можно списать в разряд кармических несчастливцев, а это известно чем пахнет.

Тем не менее с Т. в последнее время действительно что-то творится. Бледная, круги зеленые под глазами, осунувшаяся, ну и, понятно, на взводе — слова не скажи, сразу обижается или срывается. Видно невооруженным глазом: устал человек. А если устал, то карма не карма — все из рук валится. И что с секретаршей шефа поцапались из-за пустяка (какую-то бумагу Т. не

во время передала, а может, и вовсе не передала) не удивительно, потому что та, известно, с норовом, как и многие секретарши (приближенные). Т. бы лучше промолчать и тихо удалиться, а она что-то сказала, не совсем уместное, воспринятое как намек или даже оскорбление, вот и случилось.

В результате вся контора — на ушах, потому что два раздражения или даже озлобления в ограниченном пространстве из трех комнат (фирма небольшая), одна из коих — шефа, другая (предбанник) — секретарши, третья — общая, и из предбанника неприятный, недружелюбный такой сквознячок — это уже много.

Так вот, о напряжении, верней, о Т.

Нервозность ее вдруг всем начинает передаваться, даже самым спокойным (один из коллег — йог). Между прочим, именно с йога (особая чувствительность к кармическим срывам) и начинается весь прочий сыр-бор, а ведь, согласитесь, пустяк — закрытая (открытая) форточка. Кому-то подавай свежий воздух, а кому-то между тем холодно и дует в спину. Все знают, как это бывает, поэтому не будем отвлекаться. Тем более что форточку и раньше дергали за веревочку — то туда, то обратно, просто меньше обращали внимание и старались не обострять. И вообще год (который по счету) по общему мнению тяжелый, чем дальше, тем тяжелее. Все это чувствуют.

Что же касается Т., то она оказывается в кармической щели (кажется, есть и такое понятие) — понижение общего тонуса (прежде всего душевного) и сопротивляемости организма. Она пальцами осторожно касается сонной артерии и вдруг вяло жалуется: со вчерашнего дня шея ноет, что это может быть?

Безобидный сравнительно орган — шея...

А болеть — да от чего угодно! От ветра на улице, от неловкого или резкого поворота головы, от долгой неудобной позы за столом, от той же открытой форточки (сказано же йогу!) или даже сквознячка из предбанника, где зреет обида секретарши, женщины приближенной и не простой. Может, от Вадика (сын) заразилась, у него тоже с этого начиналось, снова трогая тонкую застенчивую шею, задумчиво высказывает предположение Т., и тут все вспоминают: пятилетний сынишка Т. уже как неделю болен детской болезнью под названием «свинка». Распространенная такая болезнь, все ею, наверно, в детстве переболели.

Однако Т., выясняется тут же, исключение — ее в детстве это минуло, вообще росла здоровым ребенком. Ни тебе кори, ни ветрянки, ни этой самой свинки, только простуды да грипп, и то не так часто, как другие. Вроде хорошая наследственность, и вдруг на тебе... Ведь свинкой этой лучше как раз в юном возрасте переболеть, потому что в зрелом она не такая безобидная.

А это уже больше похоже на карму, потому что проявляется вдруг и неожиданно, будто сдвиг какой — тут и сломанная нога, и украденный кошелек, и заболевшее дитя, а в довершение всего — вспухшие слюнные железы...

Эпидемический паротит, если по-научному.

Ну да, свинка.

В зрелом возрасте этой болезнью, правда, редко болеют. Это уж если кому сильно не повезет. Как Т. — в силу как раз такой кармически неблагоприятной полосы. Сослуживцы сочувственно поглядывают. Сначала сочувственно, потом (сквознячок, неизвестно откуда) — опасливо. Особенно тревожно, с некоторым даже испугом поглядывает на нее Степан, видный парень, темные усики над пухлыми чувственными

губами, что-то ему, похоже, вспомнилось в связи с вышеназванной напастью, не очень приятное — то ли из детства, то ли вообще...

Оказывается, и Степана, счастливчика, эта болезнь в детстве тоже обошла — спортом он активно занимался, плавал и бегал, штангу толкал, короче, вел правильный образ жизни. Теперь, правда, у него еще и другие пристрастия — женщины, например, и все такое, да и понятно — спортсмен как никак, обходительный.

Впрочем, даже если человек и болел, где гарантия, что не повторится? При такой-то экологии и нервной жизни! Опять же карма...

Выйдя с еще одним сотрудником, Петром Игнатьевичем (пожилой человек), покурить, Степан его нервно спрашивает насчет... ну да, этой самой свинки (паротит). Не боится ли тот? Ведь от нее, от свинки, в зрелом возрасте... в общем, всякое бывает. Осложнения разные. «Что, и инфаркт?» — обеспокоенно интересуется Петр Игнатьевич, у которого в последнее время сердце пошаливает, отчего он и курить стал реже.

Какой к ядерной фене инфаркт, разве мужчину может волновать инфаркт, сердится Степан. Кое-что другое. И раздосадованно глядя на не врубающегося собеседника, выпаливает, как пароль: виагра, ду ю андестенд?

Так они интимно беседуют, а между тем к ним присоединяется и Т. — покурить-то хочется, особенно когда нервы и прочее. Она просит у мужчин сигаретку. Степан, такой обычно снисходительный к женским слабостям, как бы в удивлении отступает на шаг, головой неодобрительно качает с красиво вычерченным ртом и не менее красивым подбородком, качает, качает, словно забыв о просьбе Т., но

потом вдруг вспоминает и великодушно, хотя и несколько настороженно протягивает пачку «Мальборо» с ловко выдвинутой оттуда сигаретой.

«Болит?» — интересуется участливо Степан.

«Да не так что бы...» — Т. поднимает руки к шее.

К врачу бы надо, советует Степан, причем не откладывая, не теряя времени, потому что если болеть, то ее, известно, легче предупредить, чем лечить. И Петр Игнатьич согласно кивает: лучше к врачу...

К врачу, хм... Знаем мы этих врачей. Не хочет Т. да и не до того (а кому хочется?), особенно в связи с осложнившимися отношениями в предбаннике (и, не исключено, далее) — может, ничего страшного, может, так рассосется? И дым шумно выдыхает, который, извиваясь, плывет, плывет и превращается в сказочного дракончика, израстает аж тремя или четырьмя головами (образ кармы), высоту набирает, кружит над стоящими, разевая языкастые пасти, разве что пламя не изрыгает из чрева. Прочь, прочь, мерзкая птица! — Степан испуганно пятится, отмахиваясь от него, и Петр Игнатьич тоже голову отворачивает, не хочет дышать чуждым дымом.

Фы-у-у-у!!! — дует Степан, напрягая сильные тренированные легкие. И вот уже его собственный дракончик расправляет крепкие крылья, к потолку возносится и, повергая противника, уносится с ним в сумрачные недра коридора.

Минута облегчения.

Все-таки Т. надо обратиться к врачу. В конце концов, здоровье важнее. Они даже могут похлопотать за нее перед шефом, не зверь же он.

Степан, удовлетворенный собственным благородным почином, гордо исходит в комнату, чувствуя, однако, где-то над головой трепыхание воздуха (дракончик Т.). Кто знает, может, тот вовсе и не побеж-

ден, а лишь затаился и теперь выглядывает-выслеживает, может, уже и крылья расправляет, коварный, клыками ядовитыми лязгает и затхло дышит — спикировать примеривается.

Дальше все происходит по вполне гуманистическому сценарию.

Коллектив не просто сочувствует Т., но и всячески старается ей поспособствовать. Поддержать. Раз Т. нездоровится, значит, нужно идти домой либо в поликлинику, либо еще куда-нибудь, а не сидеть в душном помещении, где либо сквозит (неведомо чем), либо кислородное голодание (закрытая форточка). И главное, шеф не возражает, шеф выходит специально к Т., смотрит пристально и... велит собираться домой.

Шеф — вполне приличный, способный к разным, даже и благородным движениям души. И не обязательно вовсе заканчивать срочную работу, в конце концов, человек важнее, работу она сможет закончить и когда поправится. Зря она упорствует, никому здесь не нужен ее трудовой энтузиазм, ее горение, как-нибудь и без нее (губы у Т. вздрагивают от обиды). Нет, нет, нет, никаких разговоров, сказали ей идти — пусть идет, — шеф просто лучится доброжелательностью (в кои веки), полежит денек-другой, придет в себя, за сынишкой опять же приглядит, после болезни в самый раз.

Вот так.

Тишина в комнате.

Т., не поднимая глаз, медленно собирается, в сумочку какие-то бумажки слепо сует, еще что-то, мелкое... Выкладывает, закладывает, распахивает, наконец, поднимается и выходит.

Всем привет...

На следующий день все проясняется (Т. позвонила). Ничего в общем страшного, то есть во всяком слу-

чае не так, как померещилось. У нее самая натуральная, причем довольно свирепая — ангина. С высокой температурой, ломотой в суставах, вспухшими железами, кашлем, насморком и прочими прелестями.

Гадость, короче.

Карма не карма, но тоже не подарок.

На посту

Полупустой магазин, почти всегда полупустой, мало кто сюда заходит — многие из живущих поблизости знают, что — дорогой, в соседних можно купить дешевле. Чистый, все аккуратно, со вкусом расставлено, и — она в темном платочке и пальто, несмотря на жару, топчется возле витрины с молочными продуктами, уставилась на них, словно сто лет не ела.

Продавщицы к ней привыкли — стоит и пусть стоит, не слишком она и мешает.

Она и в другие магазины заходит и тоже стоит, глазеет. Может, любит, может, что... Кто поверит, что она хотя бы пакет молока не может купить, это всякий может, даже если совсем без денег... Но пакет молока — это не деньги, тут каждый наскребет, даже нищий (бутылки сдать), а она не похожа на нищую, на вид ей лет пятьдесят, не больше, а может, даже меньше, просто она так одевается — темный платочек, опущенный низко на лоб, как у монашенок, и

темное демисезонное пальто, хотя на улице по-летнему тепло.

Так она стоит в почти пустом магазинчике, потому что народ обычно заходит сюда вечером, после работы, а так разве кто из пенсионеров забредет да какой-нибудь случайный прохожий. Пенсионеры ее не интересуют, не нужны они ей, а вот если кто помоложе, из благополучных, в пиджаке и в галстук (она выбирает именно мужчин), *клерк*, тогда что надо, это ее...

Она видит, что человек (мужчина, молодой человек) рассматривает витрину, особенно если со спиртными напитками (напитки дороги и вообще от лукавого), но даже если и не с напитками, а с колбасными изделиями или молочными, она осторожно так, продолжая рассматривать витрину, приближается — бочком, бочком, почти вплотную, и тихо, едва слышно, как бы в пустое пространство обращаясь, шепчет: «Вы мне не подарите пакет молока...»

Опыт: подарит или не подарит? Эксперимент: услышит или не услышит?

Не слышат. Чаще всего не слышат, потому что она произносит шепотом, слова тают в духоте магазинчика, как мороженое, растворяются в воздухе... Или делают вид, что не слышат, потому что проще, конечно, не услышать, а быстренько так повернуться и сигануть на улицу, как бы не только не слыша, но и не видя того, кто говорит — хотя не заметить ее невозможно: вот она, рядом, темная, монашеского вида фигурка, лицо резко выделяется белизной в контрасте с платочком, с правильными тонкими чертами: пакет молока ей, видите ли, подарите!

Небанальный такой, изысканный ход: не деньги, а молоко, жизненно важный продукт, который даже детям необходим, а может, он ей и нужен не для себя, а для ребенка... Может, у нее ребенок плачет и просит молочка, мама-ма-амо-очка, мо-о-ло-ч-ка хочет-

ся, а дома (может, у нее и дома нет, хотя это вряд ли, наверняка у нее есть комнатка в коммунальной квартире с тремя соседями (один сильно пьющий), и все ежедневно, устав от трудной, изматывающей борьбы за существование ссорятся на кухне...

Впрочем, у нее нормальная двухкомнатная квартира, и вообще все у нее есть — даже и деньги, потому что одну комнату она сдает аспиранту, и денег этих вполне хватает на жизнь, даже можно откладывать на черный день (квартира-то в центре).

«Даже на Западе (причем тут Запад?) не принято отворачиваться от того, кто к вам обращается».

Это она уже подойдя совсем близко к выбранному объекту произносит, теперь уже достаточно громко, чтобы наверняка было услышано. И не только объектом (в пиджаке и галстук), но и продавщицами, с усталым любопытством наблюдающими за происходящим. Для них, отупевших от долгого бессмысленного стояния, эта сцена, безусловно, развлечение. Правда, они видели ее уже не раз, но все равно интересно: а вдруг что-нибудь свеженькое?

Слово обретает вес и звук, наливается ядовитым соком недоброжелательства.

«Вы мне не ответили, хотя я к вам обращалась» — «Вы ко мне? Да, я к вам». Человек от неожиданного напора со странными словами про Запад, от угрюмого упрека в невежливости смущенно краснеет, он ошеломлен, он ничего такого не ожидал, он, может, и впрямь не расслышал, не обратил внимания, не придал значения: мало ли что бормочет себе под нос странная женщина в темном пальто явно не по сезону, похожая на монахиню в своем низко надвинутом на лоб платке...

Человек теряется от ее яростной близости, от слепящей белизны повернутого к нему возмущенного женского лица (взгляд ускользает).

А ей того и нужно.

Это замечательно — пробить броню чужого несправедного благополучия, потому что любое благополучие в неблагополучном мире — несправедно, а иные живут так, словно их ничего не касается. Они даже не слышат (или не хотят слышать), когда их о чем-то просят, вполне безобидном. Даже не денег, а пакет молока, разве трудно купить молока другому, если покупаешь себе бутылку какого-нибудь дорогостоящего спиртного или кусок копченой колбасы?

Продавщицы с интересом наблюдают, рассматривают человека: челюсть отвисает, лицо наливается кровью, словно у застигнутого за непристойным делом школьника, которого отчитывает строгая учительница. Вот он переминается с ноги на ногу, растерянно глядя то на женщину в платочке, то на продавщиц, то в пол, — улизнуть поскорей, сохранив вместе с тем хотя бы иллюзию достоинства. Он руку тянет в карман, чтобы извлечь оттуда горстку мелочи, но в платочке гордо останавливает его судорожное движение: «Ничего мне от вас не надо!»

Ничего ей от него не надо.

Только посрамить или, верней, вразумить. Если бы он откликнулся и захотел-таки пакет молока ей подарить, дав денег, она бы тоже возмутилась. Она ведь не денег просила, а именно молока. Потому что она не какая-то там попрошайка: она и сама может купить. Но если подарить — другое дело. Молоко в дар — в этом есть что-то особенное, возвышенное, красивое, чистое, как белизна самого молока. Акт дарения — доброта и сочувствие... Порыв души, щедро открывающейся навстречу другому.

Не надо ей!

Главное, чтобы люди не забывались в своем благополучии, когда весь остальной мир катится неведомо куда, сокрушая все опоры и основы.

Чехов Антон Павлович, кажется, писал, что у каждой двери должен стоять человек и звонить в колокольчик, напоминая о чужой беде, не давая сердцу закоснеть в спокойствии и равнодушии. Вот она и есть такой человек. И она будет звонить. Ведь так бы человек купил себе в магазине что нужно и пошел удовлетворенный домой, предвкушая мирную домашнюю трапезу, а теперь спокойствие его наверняка поколеблено, он уже не будет доволен собой, он раздосадован, если не взбешен, все в нем кипит и бурлит от негодования: ведь он попался... ну да, его уличили: не ответил, не подарил, не дал...

Не откликнулся!

А ведь *женщина* просила. И лицо ее, бледное, с правильными тонкими чертами, обтянутое темным платком, как у монашенки, будет стоять у него перед глазами как воплощение укоризны, гневные слова колоколом звенеть в ушах.

Разыграв этот спектакль перед восхищенными продавщицами, потерявшими еще одного клиента (директор бы отругал), она неторопливо, с чувством собственного достоинства, почти гордо переходит на другую сторону улицы, где на углу тоже есть небольшой тихий уютный магазинчик, пусть и не с такими, но тоже немаленькими ценами. Туда также заходят не самые бедные. Там тоже нужно звонить.

Кто-то же должен...

Порча

П-полковник — воинское звание, ясно? Выше майора, но меньше генерала.

Высокое, гордое звание. Это кто его в тылу выси-дел, у того оно как приклеенное, на лице написано. А он это звание под пулями вражескими зарабатывал — раз, потом в академии — два. Почему же тогда, спрашивается, все у него так? Ну бездарно (Риткин мерзкий голос, с подвизгом)? Почему ничего не сумел? Вообще ничего, если вдуматься (кроме того, что п-полковник). Собственно, это даже и не вопрос. Он уже понял, в чем тут дело. Догадался.

Соломка скрученная и *авоська*, в которую все провалилось-процедилось.

Что-то есть общее.

Авоська-соломка. Скользкие тонкие вервия. Ломкие прутики. Между — пустота. Пустыня. Пустошь. П-п...

Дочь легко, вскользь коснется щекой, мимоходом, ладонью проведет по волосам, как ребенка, поесть что-нибудь состряпает, на скорую руку (заботливая) — и заторопится, засуетится: пора ей, некогда расслаживаться, дел уйма своих, дети, работа, — но он-то догадывается, что не хочет она оставаться дольше, тягостно ей с ним. Морально тяжело.

Это он-то — п-полковник?

Позавчера пошел платить за жилье, по дороге заглянул на рыночек, что неподалеку, прямо с машин торгуют, фруктов-овошей каких-нибудь подкупить, — в результате ни фруктов, ни кошелька, ни, что еще хуже, паспорта и книжки по квартплате. Даже не понял, как все произошло, только на минуту, кажется, поставил портфель — и все! С концами. Сколько раз ведь наказывал себе быть внимательней. Что ни говори, возраст! Думаешь, что все такой же (какой?), тогда как на самом деле...

Дочери не хотел рассказывать, но все равно проговорился (трудно в себе держать). Чертыхаясь, поведал о приключении. И что? Раздраженное пожатие плеч: как так можно? Словно он только и виноват.

А кто еще?

Щетина у него жесткая, седая, щеки оплыли, редкие волосы торчком — одутловатый весь какой-то!

Сидит и смотрит в окно — двор небольшой, машины, песочница, мусорные баки, грай ворон — весенний, азартный... Жизнь. Когда-то ведь в театр любил ходить, на концерты, пластинки собирал с классической музыкой... Что-то хотелось из себя сделать, чтоб не просто. Пушкин-Лермонтов...

Гогель, мать твою!

В пепельнице серая груда окурков...

Щетина отрастает каждый день все больше, скоро превратится в настоящую бороду — пегая, клочковатая. Старик. А нет разве? Конечно, старик, хотя трудно в это поверить.

Жизнь мимо...

Дочь чуть касается щекой, как бы ласково (брезгливо) проводит ладонью по встрепанным жидким волосам, моет посуду и уезжает. Все-таки родная. Он осторожно, почти робко просит: «Посиди!», хотя прекрасно знает, что сидеть она не будет, может даже вспылить: нет у нее времени, у них ни у кого нет времени, они вкалывают с утра до ночи, им для себя трудно выкроить. Тем не менее заезжает, готовит (он и сам может). Хорошая дочь. Поначалу ругала его: нельзя, неправильно так распускаться! А то он не знает? Какой бы он тогда был п-полковник?

Был.

Дочь все делает молча. Подметает, вытирает посуду...

В мимолетном прикосновении — отчужденность.

Пышная, разлезшаяся в стороны куча мусора возле контейнера за окном, черные вороны грузно скачут по ней, выскивая что повкусней, долбят длинными клювами — как есть бомжи, потом грузно взлетают, победно ухватив добычу.

Он один.

А ведь должно бы все по-другому! Когда дочь собиралась замуж, гуляли вместе с ней и ее Михаилом в праздник Победы по набережной, полковник в полной выправке — парадный мундир, который так нравился внукам, погоны, полгруды в орденах и медалях, дочь — в белом платье, прифрантившийся зять, в пиджаке, при галстукке, все крупные, видные, и он ничего, крепкий еще. Зять шелкал «Зенитом». Полковник картинно выпячивал разноцветную грудь, по-

звякивал медалями. Оборачивались на них. Что ни говори, а приятно.

Та фотография с давнего праздника запрятана по-дальше — чтоб не напоминала. И чтобы дочь не видела. Ни дочь, ни зять. Стыдно! Что он ей оставил, дочери? Внукам? Да ничего! А ведь другие в его чине имели все: квартиры, дачи, машины (и не одну)... Нет, он не завидовал. Имеют и имеют. Но ведь родители всегда что-то оставляют детям, иначе как же?

Ничего у него не задержалось. Если трезво взглянуть, то и впрямь неудачник. Как есть. С женой разошлись давным-давно, квартира ей с дочерью осталась (однокомнатная) — сам сначала снимал, а как на пенсию, то в деревню подался, к матери, какой-никакой, а дом, мать старая, с ним, понятно, веселее, хоть и переживала, что он должен теперь бобылем жить здесь, в глуши, где его погоны никого не волнуют, всего-то и осталось пять дворов, сплошь древние старухи. Ну и ладно — зато воздух чистый, звенящий по утрам, природа, работа по хозяйству, пенсия неплохая, жить можно, тем более что деревня постепенно стала прирастать дачниками, коттеджей понастроили — не их старому, подсевшему, хотя и крепкому еще бревенчатому дому чета, на машинах все, шашлыки, то-се... Чуть что — к нему за помощью, руки-то на месте: там подремонтировать, здесь подлатать, зимой присмотреть за домом (какой-никакой, а приработок), так что даже и в этом смысле неплохо...

И свой дом, наверно, со временем постепенно перестроил бы (а может, и на новый отважился), дочь с зятем бы приезжали, внучата родниковым воздухом подпитывались — сосновый лес, река... Далековато от города, но не настолько же. В лесу полно грибов, в саду яблони и смородина, хоть и старые, но время от времени такой урожай, что в пору на рынок. Дочь

одно время, пока внуки совсем маленькими были, и вправду гостила, тоже ей здесь, в деревне, нравилось, еще с детства босоногого. Родные как-никак места. Но у зятя свои шесть соток ближе, в основном туда они и ездили, так что у них в деревне появлялись нечасто и ненадолго.

Матери уже за девяносто было: хоть и ходила, но, слабенькая, хуже и хуже, ему все трудней ухаживать. Поэтому, когда Ритка, сестра подколodная, предложила продать дом и переехать к ней в Киев, он, подумав (хотя ведь были сомнения!) и посоветовавшись с матерью (та все понимала), согласился. Помимо прочего, сестра опасалась, что к ней кого-нибудь подселят (квартирка небольшая, всего две комнаты, но соседи по этажу якобы плели интриги), да и платить меньше, у него льготы. В-ветеран. К тому же и половина денег за проданный родительский дом — ей, сумма по тем временам немаленькая. Месяца два она и была немаленькая, а потом буквально в одночасье сгорела, пшик и нету — реформа, инфляция, девальвация, пертурбация, хренация...

Ни за что, вышло, отдали родительский дом. Подарили, можно сказать. И денег жалко, и вообще — как-никак, а родились и выросли там...

На кого обижаться?

Квартирка в Киеве маленькая, тесная, мать, переехав, почти обезножела, сама только до туалета и ванны, а так сидела в своем уголке в комнате дочери, слушала радио или разговаривала тихим голосом, по деревне тосковала, покойников все вспоминала, и угасла тихо, как и жила. Правильная такая жизнь, никому не в тягость, лишь в последние месяцы, когда совсем слегла.

После ее смерти с сестрой совсем разладилось — то и дело цеплялась к нему: все ей не так (климакс), смотрела косо, шипела чуть что, а потом, как нарыв, прорвалось: оказывается, он виноват, что дом не вовремя продали (будто не сама торопила), что деньги сгорели. Крик, оскорбления... Это его-то, п-п...

В какое-то мгновение терпение лопнуло — как рывкнет: ты что ж, мать твою... Аж стекла звякнули. Ритка же, стервь, только пуще: убивают, визжит, приживальщик, все потерял, разбазарил родительское добро, теперь еще здесь командовать — не выйдет!.. Пусть забудет, не армия... И вообще пусть манатки собирает и выкатывается. Его пригрели, а он, понимаешь ли...

Перед соседями стыдно.

Жена тоже кричала во время ссор: что, что она хорошего видела за время жизни с ним? Сплошные переезды, казенные квартиры, бесконечные погрузки, разгрузки... А в итоге? Однокомнатная жалкая халупа (санузел совмещенный) на окраине. Считай ни кола, ни двора, не говоря про прочее. Это он-то — п-полковник? Ха-ха... Да пусть не смешит! Его подчиненные все устроены — не сравнить! А ведь сколько возможностей было — предлагали же! Ничего! Нуль! Палец о палец не ударил, такой гордый! Зависеть, видите ли, ни от кого не хотел, одалживаться. Да причем тут одалживаться, если у него больше прав, чем у кого бы то ни было? Ветеран, академию заканчивал! Горе-победитель!..

Срывался: не сметь! Однажды не удержался — приложил. Не сильно, но рука-то большая, тяжелая. П-п...

Жена, сестрица... Почему-то все кончалось ненавистью, хотя никому он ничего дурного не сделал. И под занавес всякий раз какая-нибудь пребезобраз-

нейшая сцена. Нервы, нервы... Крепится-крепится, потом — как в пропасть! В глазах мрак...

У Ритки однажды вырвалось: *изведет*. То есть она его.

Мало ли чего не сказанешь в ярости, все бывает, но — *лицо!*..

Это родного брата-то! И слово какое горбатое: *изведу*...

Поверил. И... испугался. Никто никогда не мог бы его обвинить в трусости, даже наоборот, в молодости отчаянным считался. А тут...

Подкову прибил над дверью в свою комнатку, ножом очертил круг около кровати, потому что когда человек более всего уязвим? Разумеется, когда спит. Ну и еда, понятно. С того момента стал готовить у себя в комнате, кастрюли прятал, чтобы ненароком действительно не подсыпала чего, замок врезал, на ночь запирался...

Кошмары по ночам. Как-то приснилось: душат авоськой. Голова в сетке, как разломаченный кочан капусты. Почему-то особенно скверно, что авоськой.

Не исключено, что сестрица действительно ходила к каким-то ворожеям и там советовалась, как лучше его *известить*. Сжить со свету.

Булавка. Яйцо. Восковая фигурка. Зажженная свеча. Заломленные стебельки рыжей соломы... Не случайно, наверно, интересовалась магией (на то и хикмик), книжки всякие покупала, каких теперь пруд пруди: магия белая, магия черная...

Отчего все-таки? Разве не помогал ей деньгами, когда у нее муж умер? Сыну ее устроиться в военное училище?

Многим ведь подсоблял, кому мог — ближним, дальним, себе ничего, кроме ненависти... Вроде как неправильно жил. Может, и впрямь неправильно.

Жил и жил, не думал про старость, на здоровье, слава Богу, не жаловался, только уши иногда закладывало и слышал гораздо хуже — последствия контузии. Суставы болели — ходить трудно. Камни в почках. Желчный пузырь. Но сердце ничего, крепкое. Иначе б давно загремел с инфарктом.

Изведу.

К юристу ходил — советоваться. Тот сказал, что случаев таких сколько угодно, не у него одного. Главное, меньше контактов. И непременно раздельное хозяйство. А оно и всегда было раздельное, только поначалу, когда мать еще жива была, питались вместе.

Он предлагал разменяться. На комнату в коммуналке соглашался, чтоб сестре пусть небольшую, но отдельную квартиру. Ага, как же! Прикушенные губы вкривь: чего надумал, а? Почему это она должна своей квартирой жертвовать? Она в ней еще поживет (злорадно) после его смерти, она ведь младше его почти на девять лет.

Ехидна!

Суеверным он стал. Ходил в лавру за святой водой — полные двухлитровые пластмассовые бутылки из-под колы, во рту слабый железистый привкус. С авоськой ходил. Почему-то именно авоська особенно вызывала у них неприязнь — сначала у жены, потом у сестры (не она ли и подсунула?), а теперь вот и у дочери.

Сумка как сумка, только из тонких прочных вервий (обычная сетка с ручками), убористая, в кармане можно носить — для продуктов милое дело. Когда-то все ими пользовались, а теперь редко встретишь. Все больше полиэтиленовые пакеты. Кому что. Ну взял он портфель вместо сумки продуктов купить, поставил под ноги, чтобы помидорчиков выбрать — теперь

ни портфеля, ни документов. На авоську, может, и не позарились бы.

А что у них дома делалось, господи, если б кто видел? Сестра из кожи вон лезла: нагадить... Мусор ему под дверь сбрасывала. Воду нарочно проливала — раза два поскальзывался. Тараканов в муку подпускала. Обои рваные, вода из бачка в туалете сливалась беспрестанно, на кухне кастрюли как баррикада...

Но он ничего — из принципа: раз она так, то и он. Запирал свою комнату и уходил на весь день — по городу бродил, обедал в пельменной, в кино, в музей, иногда к знакомым... И за город — на природу. Всю губернию изъездил. Но года не те, уставал. Прилечь бы, ноги вытянуть, а не корчиться на жесткой скамейке. К тому ж и мочевого пузыря. Терпеть вредно — для нездоровых почек особенно. А позывы частенько (лекарства такие).

Единственная отдушина — санаторий (раз в год бесплатная путевка в военкомате). Ну еще всякие встречи ветеранов, которые все реже и реже, водки выпить со старыми вояками, правда, из товарищей мало кто остался, так, едва знакомые из других полков. Да когда к дочери и внукам в Москву, хотя и там, если честно, не по себе... Упустил ведь жизнь!

Дед приехал, с *авоськой*. С чемоданом задрипанным, обвязанным веревкой.

П-полковник!

Когда-то мечтал сделать внукам танк с дистанционным управлением, все купил необходимое — моторчик, провода, пульт приготовил, осталось лишь собрать, да только на кой ляд им танк, если у них в компьютере ракеты и самолеты летают — как настоящие...

Еще бы тачанку предложил.

Подарил увеличитель с глянцевателем — фотографии печатать, специально из Киева тащил вместе с фруктами и большим жирным киевским тортом, а у внуков у каждого по «кодаку», фотографии как картинки... Сегодня отнес пленку в мастерскую — завтра все получил. Зря пер. Дочь права: надо бы позвонить, посоветоваться прежде. Куда она теперь это девать будет — и так места кот заплакал...

Нет, не поспевал. А главное, каждый раз в глупом положении. Каждый раз — унижение.

Пытался давать дочери советы по жизни, так она молчит-молчит, а потом вдруг как полыхнет: «Пап, может, хватит, а?» То есть учить хватит.

Сразу понятно: не уважает! Ясно же: пустое место вы для нее, гражданин (господин) п-полковник!.. К тому ж еще хохляцкий подданный.

Внуки в детстве, когда в деревню наезжали, охотно с ним время коротали — в шахматишки сразиться, за грибами или на рыбалку, ордена и медали разглядывали с почтением, на себя примеряли (дедушка добрый, не возражал), из-за фуражки ссорились — кому носить. А теперь гмыкнут что-нибудь, не разбери что — и к себе, за компьютер или наушники.

Нет, не авторитет для них, не крутой.

Зять допоздна на службе, вечером рюмку вяло опрокинет, спросит что-нибудь невнятно (слух совсем ни к черту, сколько ухо ни оттопыривай), да ему и ответить-то нечего: что в его жизни такого? И в воспоминания пускаться тошно. Кому они нужны, его воспоминания? (Сестрица Ритка губы стрункой: х-ха, победитель!) А когда-то мечталось (фотография праздника): сядут с бутылочкой, душа в душу...

Не получается. Бормочет под нос, слов не разобрать: дел много... контора еле держится... денег не густо.

Как упрек — п-полковнику.
Дескать, какой ты п-полковник?
И весь разговор.

Ну, новости посмотрят вместе. Начнет тесть про грабителей-реформаторов, про Чечню, про Ельцина и Кучму, а зять зевнет, даже и не нарочито — искренне вполне: извините, пойду подремлю... Устал что-то. Все время квелый такой (то ли они в молодости!) — и в будни, и по выходным... П-полковник еще посидит у телевизора, пока дочь не выйдет, раздраженная: потише сделай, оглушил совсем. А потише — ему не слышно. Блям-блям... Уйдет в комнату, которую ему временно уступили (вытеснил)... Газету возьмет или радио включит, а на душе погано. Все не то... Неловко как-то: люди горбятся, а он — не пришей кобыле...

П-приживальщик.

Сестра рыбьим глазом подмигивает издалека, из самого Киева: ага, вот-вот... кто ты есть. Соломку скручивала, по квартире раскидывала. Булавками колола. В партийную организацию жаловалась, где он состоял (социал-демократ — не путать с коммунистами!), стучала на него, что он плакаты, приготовленные к первомайской демонстрации (социал-демократы тоже ходили, своей колонной), украл. Еще кое-куда, что стихи антигосударственные сочиняет и чуть ли не с американцами якшается (брякнул сдуру про сон с американским президентом, поговаривали тогда о визите. И что ему американский президент?)...

Как-то ночью не спалось (частенько случается), и вдруг мысль — ошеломительная: а может, вообще все из-за нее, из-за горбатой сестры Ритки? Вдруг она еще в молодости так сделала, что жизнь не задалась?

Как-то поругались — из-за пустяка (она к нему всю дорогу вязалась, ревнуя, девчонок соседских пугала, наговаривала им, что те от него шарахались), цыпленка он ее случайно придавил, тот между дверями шмыгал, вот и защебил ненароком... Сильно поцапались — в злости она и тогда лютела, все из-за уродства, пусть даже незаметного почти (ему-то, конечно, известно), ну он ей и сказал: горбунья ты и есть горбунья... Обидел, значит. Она вдруг (как потом вспоминалось) вздернулась вся, смолкла — гробовое такое молчание, камнем на душу, тем более что чувствовал свою вину.

Не забыла, значит.

Он-то по простоте запомнил, потому и решился к ней переехать — сестра все-таки, матери полегче — кто и присмотрит, как не дочь. А что вышло?

И поверить трудно, и не верить... Пучки соломы, все эти закрутки-заломки чародейские находил и в юности, только значения не придавал, пока не ушел на фронт и потом, вернувшись, не уехал учиться в Москву, в Военную академию. Виделись редко — так, перебросятся иногда скупым письмишком. Он переезжал из города в город, куда посылали, пока не осел наконец в Москве. Поначалу в коммуналках, потом квартирку дали. Дочь выросла, с женой разошлись.

Вспомнил, будто озарило: из конверта-то иногда выпадало. Ну да, соломка. Рыжая. Надломленная. Скрученная. Это потом, позже, когда муж ее умер (сам ли? — тоже ведь не ладилось между ними), приезжала в деревню из своего Киева, тогда и помог ей деньгами. Вроде все ничего, нормальные отношения, ан вот ведь как...

Было, было в ней что-то ведьминское... Сделает, случалось, в шутку птичье такое личико — все в мор-

щинках узеньких (словно змейки расползлись), с кулачок, нос загогулиной, губы куриной полкой, глаза-щелки... Для смеха вроде, а как-то не по себе.

И — горбик. Маленькое возвышенье над левой лопаткой. Не приглядываться — не заметишь. Но он-то видел. Да и все знали. А ей, видать, острый нож в сердце. Замкнутая, скрытная. Посмотрит косо — как обожжет. С годами угрюмость больше. И все одна, никого рядом. Ни друзей, ни подруг, ни родственников... Ни с кем не общалась. Вероятно, из-за горба своего.

Иногда такое брякнет — мозги набекрень (еще когда вместе в деревне жили): не ходи в клуб, там зарзет гуку лен бремет ме... Такие вот дикие птичьи слова. Он переспросит, а она так же смутно и повторит или еще что-нибудь в том же роде прошипит. И смотрит на него пустым рыбьим глазом, с остренькой такой ухмылочкой: как это он не понимает обычных русских слов?

Злость разбирала: за дурака его держит! Шутки шутит такие. Издевается. Но ощущение, что в мозгах действительно сдвиг. Ум за разум. То ли он плохо слышит (вот еще когда со слухом началось), то ли она его морочит.

Жена ее в свое время терпеть не могла (взаимно) — та все время поддеть ее норовила, язычком острым кольнуть. Обзывала по-всякому, имена придумывала нерусские. Язва!

Отравила его! Все отравила. Теперь-то ясно.

Окно во двор.

Дочь с зятем подыскали ему комнатенку в коммуналке, растратились. Мусорные контейнеры внизу, вороны... У соседа радио тренькает, а может, телевизор. Мирный сосед, тоже пенсионер, но работяга, га-

зеты ходит продавать в метро, так что только поздно вечером пригребают.

Он дочери с зятем по гроб должен быть благодарен. Рядом с горбуньей точно б долго не протянул. Наверняка бы ухайдакала. Измором взяла б. Извела.

Зато нынче российский гражданин. К дочери, к внукам поближе опять же, хоть у них и своя жизнь, не до него. Он и не претендует.

Если Бога нет, какой он п-полковник?

Побриться, однако, не мешало б, щетина колетя и чешется, кожа зудит, скоро совсем в древнего старика превратится. Нехорошо! Перед внуками стыдно, перед дочерью. От сестры известий никаких, а ему и не надо. Спрятаться от нее, зарыться подальше — чтоб не нашла. Не узнала. Не наворожила. А то вскрыет конверт, оттуда — труха соломенная, память деревенского детства, бескрайние поля золотистой ржи...

Эх, надо бы за святой водой съездить, бутылки пустые...

Пиво, наук, дерево...

Памяти Л. Цыпкина

Поначалу было непонятно, что это там такое темное, пена загорживала, но когда пены почти не оставалось, а он любил это первое прикосновение пузырьков к губам, воздушное, щекочущее, исчезающее, как обещание любви, и потом вдруг плотное касание уже самой жидкости, как настоящий поцелуй (даже в самом слове «поцелуй» эта плотность), эфемерность и неуверенность сменялась неизбежностью обладания, все становилось плотским, густым, пузырьки радости и предвкушения, как мурашки вдоль позвоночника и дрожь волнения в конечностях, рассеивались — наступала ясность и легкая горечь свершения, и еще пустота, от которой надо было срочно бежать к письменному столу или к рулетке, или к какой-нибудь книге, чем-то надо было срочно наполниться, затяжелеть, чтобы ненароком самому не

превратиться в такой же невесомый полупрозрачный пузырек.

Пиво, между прочим, этому тоже способствовало — после него не хотелось двигаться, дрема охватывала и тянуло ко сну, который бывал тяжел, но зато без особых сновидений.

И вдруг нечто темное, круглое (вряд ли камень) на дне, когда уже почти полкружки отпито, он низко наклонился, пытаясь разглядеть получше, что же там такое, но отвлекала музыка (он еще вскочил и побежал спросить, какой номер играли, программку они взяли при входе в Grand Jardin — не так он разбирался, чтобы понять по мелодии), и еще две молоденькие девочки, сидевшие рядом с ними, высокенькие, стройненькие подросточки, с прекрасными белокурыми волосиками, очень похожие друг на дружку и даже одетые схоже (не исключено, близняшки), судя по всему, немки, поскольку говорили на немецком.

Он невольно прислушивался и то и дело взглядывал искоса, как бы даже неодобрительно к их щебетанию — но это специально для Ани, которая сидела рядом и, конечно, потом не преминула бы его упрекнуть, что он заглядывается на юных девочек — у нее случались приступы ревности, за которые он потом ее серьезно отчитывал, но ведь и у него тоже бывало, причем гораздо чаще и сильнее (разница в возрасте, не случайно ее называли мадемуазель, что вызывало у нее досаду), а муж и жена многое перенимают друг у друга.

Конечно, Аня была несравнимо чище его, у нее и опыта, слава Богу, не было такого, она его уважала и побаивалась, особенно его приступов ярости, но и на нее неожиданно находило — и тогда она становилась мегера мегерой, кричала и плакала, и могла

даже назвать как-то очень грубо, мало что дураком, но даже и подлой тварью, это его-то, Федора Достоевского, автора «Бедных людей» и «Записок из Мертвого дома»! Он очень сердился и бранился, когда у нее бывали такие приступы ревности, все-таки он был писателем, а это нечто особенное, требующее также впечатлений особого рода, постоянного взбадривания, а какие впечатления самые сильные? Кроме, конечно, тех, что не связаны с таинством смерти, этих он не хотел больше, с него достаточно тех десяти минут на Семеновском плацу, он и вспоминать о них не хотел, как, впрочем, и об унижениях — и на каторге, и после, когда он выбегал к поездам в Твери, моля о помощи всяких проезжавших чиновников — чтобы ему предоставили возможность переехать в какую-нибудь из столиц... Не говоря уже о стихах, написанных в честь нового самодержца...

Впрочем, унижения тоже взбадривали, и те, прежние, когда он ездил к Марии Дмитриевне вместе с молодым учителем, которому та едва не предпочла его, знаменитого опального писателя, и те, что он испытал от Сусловой, измучившей его как никто, и те, которые он претерпевал, валяясь в ногах у Ани, Анны Григорьевны, матушки, молоденькой его сладкой женушки, после очередного проигрыша и вымаливая у нее прощения, а потом беря что-нибудь из ее вещей, чтобы заложить и снова проиграть выроченное... А игра — ах как она взбадривала, независимо от проигрыша или выигрыша, но когда он проигрывал — это было как падение в бездну (дух захватывало), и он часто потом падал с кровати ночью, даже без припадка, как бы продолжая то падение, начатое в игорном зале...

Удивительно, что Аня перенимала у него даже слова и интонации — «высокенькие, тоненькие», это

были его слова, он любил уменьшительные суффиксы, и она вдруг произносила их почти тем же тоном, каким они произнеслись внутри него, не замечая, что в них есть нечто несообразное ее статусу — молодой женщины, жены, будущей матери его ребенка, но в этом было и странное очарование — будто соучаствовала в его любовности, не осуждая и не препятствуя, а все заранее прощая и жалея. Она словно была его матерью, готовая для своего ребенка на все, и на слабости его, даже и греховные, смотрит чуть ли не с сочувствием (лишь бы дитячко не плакало).

Вот и сейчас она наверняка догадалась про этих блондинок, этих чистюлек, этих Гретхен, что они уже зацепили его и музыка только растревывает в нем что-то донное, поднимающееся откуда-то из самой глубины, из тьмы, клубящейся внутри почти каждого человека — а он про эту тьму ведал едва ли не больше других, он и страшился и любил ее, потому что в ней тоже пульсировала жизнь, еще какая, и если бы не было тьмы, то не было бы и света, не было бы этих ярчайших вспышек, какие случалось ему пережить, и не только во время падучей.

А пауков он побаивался с детства. Было в них что-то хитрое, таинственное, безобразное, плотоядное — в том, как они медленно плели паутину, как быстро перебежали по тоненьким перемышкам готовой сорваться и улететь при любом сильном порыве ветра сеточке, захватывали в нее свою жертву и потом спокойно пожирала ее, еще живую, бьющуюся в конвульсиях. И в том, что оплодотворенная самка набрасывалась и пожирала самца, тоже было нечто колдовское, жестокое, но и сладчайшее тоже. Можно сказать, некий предел, некое крайнее развитие

самой идеи соития, а он любил доходить до предела во всем — только в таких крайних состояниях и возможна была высшая полнота жизни, по сравнению с ними обычная жизнь воспринималась как скучная тягостная рутина.

Паук был частичкой, осколком тьмы, то загадочно-бездвижной, то стремительной и смертоносной, и страх вместе с отвращением к нему тоже не был случайным: что-то в нем было древнее, хтоническое, и еще — тоскливое, словно в нем воплощался весь ужас оскудения, заброшенности, нищеты, какой бывает при виде полуразрушенных, покинутых домов, от которых веет небытием. У Раскольниковова в его каморке под потолком по углам подрагивала от любого сквозняка серая от пыли паутина, и он, лежа по многу часов на своем продавленном диване и поглощенный своей идеей, временами смотрел на нее безотрывно. По сути, идея и была пауком, а он — мухой, из которой, запутавшейся в его сеть, тот тянул сок жизни.

Так он и чувствовал себя, изредка начиная полоскать крылышками в надежде освободиться. Грустное такое сравнение, но так оно и было, хоть он и пытался что-то возмнить о себе, самому стать пауком (а не вошью), сплетающим капкан для своей жертвы. Нет, пауком был тот же мельтешащий и суесящийся Порфирий Петрович, причем каким-то особенно изощренным, а в еще большей степени Свидригайлов, но тот был по другой части, и вообще во всех и во всем вокруг было нечто паучье — лишь он был мухой, на которую шла охота. Люди делятся на пауков и мух, хотя и внутри себя они тоже имеют похожее разделение — охотник и жертва одновременно, насекомость тоже двойственна, как все на свете.

Впрочем, и паук не всегда зло, нет, далеко не всегда, хоть и противен на вид. Но ведь и на него невольно начнешь молиться, если вокруг никого живого, а только каменные сырые серые стены, как в каземате Александровского рavelина, где он сидел несколько месяцев после ареста, там он и пауку был благодарен, и растущему за окном чахлому деревцу. Ну что, в конце концов, паук? Творение природы, а уж эстетика — это от человека, так что ничего, может, в нем и нет отвратительного и мерзкого, а все, напротив, очень даже приспособлено для практической жизни.

Только вот что его они преследовали всю жизнь — это правда. И не только во сне, оплетая своей вязкой паутиной, но и наяву, как вот сейчас, плавая на дне кружки, он долго вглядывался в это темное пятно, чувствуя как тошнота подкатывает к горлу и в то же время испытывая странное удовлетворение — никак не могло обойтись без паука, так что и Белоснежкинемочки, куколки, отодвинулись на второй план.

Паук был утопленником, но ему почему-то почудилось, что, может, тот еще жив и даже шевелится, там, на дне, в золотистом мерцании пива, среди поднимающихся со дна пузырьков, вот-вот всплывет. Он покачал кружку, пытаясь проверить свое впечатление, однако паучье тело лишь вяло дрогнуло, и тень от него побежала в сторону Белоснежек... И как он умудрился сюда попасть, этот несчастный паучишко, злой паук? Федор Михайлович помахал рукой кельнеру, разносившему пиво, и когда тот подошел, как всегда, не сразу, у него никогда не складывались отношения с прислугой, лакеи всегда вредничали и подолгу задерживались, стараясь разозлить его, а он вспыхивал и раздражался по мельчайшему поводу.

Впрочем, теперь он был почему-то спокоен — может, из-за этих юных красоток, сидевших с пряменькими спинками рядом и шутивших свои томные глазки на оркестр, с наостренными ушками, паиньки, а может, из-за того, что в голове роились какие-то невнятные мысли, связанные с пауком, что вот, к примеру, вечность им представляется как что-то огромное-огромное, что и объять невозможно, да только почему же непременно огромное? А вдруг там всего лишь одна комнатка, малюсенькая такая, метров три на пять, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, вот и вся вечность.

Его даже развеселила эта мысль, которую непременно надо было кому-нибудь из героев доверить, между прочим, очень важная и оригинальная, которую потом будут много раз цитировать, потому что людям нравится все, что неординарно, что несет на себе печать иррационального, разрушающего привычные представления, хотя за это же они готовы гнать и казнить, потому что и здесь двойственность, вечная двойственность, и нет ничего цельного в человеке, который иногда напоминает того же паука, запутавшегося в собственной, искусно вытканной паутине и начинающего от голода поедать самого себя.

Аня, Впрочем, усомнилась тут же, что такой огромный паук мог с самого начала оказаться в его кружке — иначе как бы он мог выпить половину и не заметить, а скорей всего, упал со стоявшего рядом дерева, чьи ветви нависали над столом. Трудно сказать, что это было за дерево — может, тополь, а может, клен или липа, он никогда не разбирался в деревьях, хотя лето в детстве проводил в деревне, в имени Даровое, купленном отцом на свою голову (там его и убили), все эти природные радости мало

волновали его, дерево и дерево, какая разница как называется, другое дело — люди с их страстями и идеями, тут он был в своей стихии, а лютики-цветочки — это по части Ивана Сергеевича, пусть его. Он даже хотел поспорить с Аней, что вовсе и не с дерева этот паук, пауки на деревьях не живут, они любят укром, тень, потемки, сырость, подземелье, пыль, тепло, разруху, запустение, паук — городской житель, откуда ему взяться на дереве?

Кельнер подошел, уперся, склонившись, руками о стол, тупо и недоверчиво уставился в его кружку: паук? Какой паук? А вот такой, самый настоящий, он его сначала не заметил, вообще же наглость — подавать пиво с пауком, где же их хваленая немецкая аккуратность? Тот ошалело покосился на Федора Михайловича, всегда с этим русским господином что-то не так, всегда он был чем-то недоволен и норовил устроить скандал: то слишком долго не несут пиво, то оно слишком теплое, то грязная кружка, то его обсчитали... Нервный, суетливый, высокомерный, он вызывал раздражение и действительно желание как-то насолить ему, пусть даже это и грозило скандалом и выволочкой от хозяина.

Забрав кружку с пауком, кельнер некоторое время не появлялся, а когда появился, то русский господин подозрительно осмотрел кружку, несколько раз повернув ее и, приподняв, не глядя на кельнера, мрачно спросил, вылил ли тот пиво с пауком или только добавил, на что тот отвечал: зачем выливать, он его выпил, потому что паук наверняка упал с дерева, а пауки на деревьях чистые, в отличие от тех, что в домах. Паук, дерево, природа... Кельнер, молодеватый, краснощечный, бравый, чуть полнеющий от пива бурш, тоже природа, жалко ему было выливать пиво... Похоже, он

и вправду поменял кружку, раз допил то пиво, а то, кто знает, с них (экономные) случилось бы.

Музыка же продолжала играть, после пения начали увертюру к опере «Фиделио» Бетховена и что-то из Вагнера, но играли так тихо, что из-за разговоров немцев, сидящих сзади, было довольно плохо слышно, а немка за их столом по-прежнему считала нужным плакать — как начала во время пения, так и не останавливалась, глаза ее постоянно наполнялись слезами, и она то и дело промокала их уже совершенно мокрым платочком...

САТОРИ

Одиночество писателя Д.

Писатель должен быть одиноким.

Только в одиночестве создается мир, равновеликий и равноправный существу. Может, продолжение, может, альтернатива — у кого как.

Писатель живет многими жизнями, они переполняют его, голосами и болями, и на реальную жизнь его просто не хватает.

Либо не хватает на литературу, которая ревнива и не хочет отдавать никому приглянувшегося ей творца.

Остается — что?

Увы, одиночество.

Ходит писатель по редакциям, иногда появляется на тусовках, разговаривает, посмеивается в усы, смотрит пронизательно, но на самом деле он одинок, как перст, не важно, с семьей или без. И вообще никто не знает, какая у писателя жизнь.

Вот и про Д. тоже мало кто знал, какая у него жизнь. Только что он уже не живет в городе Минс-

ке, не живет в республике Белоруссии, а живет в городе Москве (снимает квартиру непонятно на какие шиши), и все. Ну и печатается кое-где, во всяких журнальчиках и газетах (не особенно часто) да подрабатывает внештатно редактором в разных издательствах.

Между тем, хороший писатель (считалось).

То есть тексты хорошие, стиль там и прочее... В основном общечеловеческое, почти без политики, но в Белоруссии он почему-то считался диссидентом и элементом нежелательным — не нравился, короче, властям (может, из-за нескольких ярких статей в прессе, где что-то толковал про тоталитаризм).

Впрочем, и ему власти не нравились (взаимно).

Нет и нет, не полюбились — разъехались.

Писатель может жить где угодно (если может), хоть в Лондоне, хоть в Париже, вот Д. и выбрал столицу свободной демократической России, где у него знакомые и приятели (тоже литераторы) и где можно писать и, что существенно, печататься, потому что в республике Белоруссии у него с этим не очень ладилось. Да там и печататься-то особенно негде было, а тем более зарабатывать этим деньги.

В Москве тоже не сладко, но все же полегче и поживее (культурная жизнь!). Да и повольтотней. Рукописи вроде не изымают и не цензурят, а писателю что еще нужно?

Вот Д. и жил.

И вдруг умер.

С писателями (и не только), увы, это случается, даже с теми, кто вроде крепок на вид и даже может много выпить и потом не упасть.

Да, в общем, не удивительно: сердце писателя открыто всем невзгодам времени, оно и изнашивается быстрее под этим изнурительным бременем. Творить

хоть и трудно, но приятно, а вот в остальном сплошные нервы. Как оглянешься вокруг, так и душа уязвлена...

Как жил Д. одиноко, так и умер.

Сколько-то дней лежал он, уже с остановившимся сердцем, в своей (чужой) «хрущобной» однокомнатной квартирке, где из мебели только письменный стол, стул и платяной шкаф, ну еще телевизор «Рекорд», когда-то цветной, а теперь показывавший мир только в черно-белом (сером), дрожащем цвете, что, впрочем, отнюдь не мешало писателю Д. писать свои талантливые произведения яркими, колоритными мазками.

Так вот, умереть-то Д. умер, но ведь и похоронить его надо. И не просто похоронить, а по-человечески. И не в Москве, где он так и остался чужим, несмотря на вполне заметное (кое для кого) присутствие в литературной жизни, а на родине, в республике Белоруссии, в городе Минске (так он сам хотел, несмотря на несогласие с проводимой политикой, что высказал в одной из своих публикаций).

Вроде все ясно, а между тем — проблема. И какая!

С ней-то и столкнулся другой литератор, приятель Д. (назовем его В.).

Денег у Д. — кот наплакал. Не думал он еще умирать (все-то сороковушник разменял), ни на старость, ни тем более на похороны отложить не успел. Семьи нет (когда-то была, еще в Белоруссии, но все связи давно уже порушились), родственники, может, и есть, да только все связи растеряны, пойдй найди...

И гражданство не российское.

Союзов писателей в Москве много, даже Литфонд есть, но Д. как-то и в этом смысле не сориентировался — жил вольным стрелком, никуда не

вступая и даже корочки никакой не имея (на всякий случай). Да и Союзы эти («союз души с душой родной...») — только название (денег все равно нет), а если есть, то, обычное дело, не для всех, и уж точно не для мертвых.

И что им неведомый (пусть даже известный) писатель Д.?

В общем, целый узел завязался, который литератору В. надо было как-то развязать, хотя он в этих делах не слишком разбирался и вообще особым практицизмом, даже и в более простых делах, не отличался. Ткнулся он туда, ткнулся сюда, везде сочувственно кивают головами и плечами недоуменно пожимают: что делать не знают (а может, и не хотят). Даже и посоветовать толком никто не может. Между тем из морга звонят, дескать, забирайте, здесь не гостиница, клиентов много, места мало. Или платите за постой...

Что делать?

Короче, стал В. обзванивать всех, кого можно. Того, другого, пятого, десятого... Дескать, ребята, надо бы помочь — хоть мертвому. В Литфонд обратился, в редакции журналов и газет, где печатался Д. Кое-где обещали, но только не сразу: надо через бухгалтерию провести, то-се... А кое-где даже и дали.

Ну и одолжил В., настоящий друг, на свой страх и риск кое у кого. Так, по крохам, и насобиралось. Трудами великими.

В. и контору нашел, которая взялась все оформить и сделать — за деньги, разумеется. Вывоз, ввоз, таможня, передача, похороны...

Отправил и вздохнул, если честно, с великим облегчением. Умереть-то бывает часто проще, чем потом живым заниматься прощальными скорбными хлопотами.

Прости, друг!..

Но ведь сделал, чего иной, может, и не смог бы (или не захотел)! Выполнил долг перед покойным.

Совершив все необходимые процедуры и отправив гроб, В. зашел в знакомый кабак (где не раз вместе с покойным сидели) — помянуть его в гордом одиночестве. Сел за столик, заказал бутылку водки, цыпленка-табака и лаваш, ну и задумался.

О чем может думать литератор наедине с бутылкой, еще только начатой?

Разумеется, о смысле (бессмысленности) существования. О трагичности его.

Правда, ведь вот жил Д., писал свои талантливые произведения, хранил верность литературе, принесся в жертву ей свою личную жизнь, и вот нате вам, скончался скоростижно.

Словно и не жил!

Даже помянуть его не с кем, вроде как и друзей у него не было. То есть были знакомые, даже и хорошие, но все-таки не такие близкие, кто счел бы своим долгом, как сам В., его уход отметить. Да и кому вообще охота иметь дело со смертью?

Жил одиноким, умер одиноким и даже теперь, после всего, оставался одиноким.

Незавидная участь!

И так горько стало В., так больно, что он, в тоске душевной, всю бутылку незаметно выпил, налив предвзвешенно в специально поставленную напротив рюмку своему так неожиданно ушедшему товарищу (ломоть черного хлеба сверху), рядом с его фотографией (лихо заломленная кепка, усы, дерзкий взгляд).

Опорожнив бутылку, В. незаметно для самого себя задремал, задумчиво подперев подбородок ладонью.

Задремав же, почувствовал он легкое покачивание и потряхивание, будто едет в каком-то вагоне, в ка-

ком-то поезде (колеса ритмично погромыхивают), темно и затхло в вагоне, только сверху откуда-то блеклый свет сочится, вроде как огоньки пробегают.

И вагон странный, не купейный и не плацкартный, стук и скрежет. Пованивает опять же чем-то не совсем гигиеническим. И сам он сидит не на полке, как в обычном поезде, а почему-то на полу, холодном и жестком, даже и сыроватом. Солома под руками. В общем, неудобно и очень тревожно.

Что за вагон, откуда взялся? Вроде он в таком и не ездил никогда.

И куда, куда, собственно?

Зовы

Опять окликнули в метро.

В золотистом сумраке длинного зала с тускло мерцающими гладкими мраморными стенами, сквозь шум проходящего поезда. Имя произнесли. По имени назвали. Рукой еще, кажется, помахали — сделали знак. Всмотривался долго, глаза щурил: кто? А человек взмахнул еще раз, повернулся и был таков. Удивительно: второй день его окликали и махали, а потом — никого. То есть народу много, а того, кто звал, — нет.

Неловкое такое чувство — вроде вины: кто-то приветствует, а ты лишь руку чуть приподнимаешь, неуверенный, что тебя, хотя и похоже. А если нет, то... Смешное положение. Согласитесь, нелепо, когда зовут не тебя, а ты тем не менее радостно машешь в ответ или, еще хуже, что-нибудь приветственное выкрикиваешь.

Потом долго мучаешься, кто же это мог быть: издалека вместо лица белесое пятно — не разобрать. Может быть, женщина, но не исключено, что мужчина. Скорей мужчина, чем женщина, хотя никакой уверенности.

На третий день там же, на станции, все повторяется, и это не просто удивительно, а как-то тревожно. Надо бы приблизиться, но человек испарялся так быстро, что не успеть. Сначала показалось, что уезжает на эскалаторе вверх, потом — в исчезающем в тоннеле поезде. Женщина или мужчина. Один раз женщина, в другой — мужчина. Или наоборот.

Опустевшая платформа словно дразнит, огоньками таинственно мигает из глубины тоннель.

Человек едет на работу, возвращается домой или направляется в гости. Обычное дело. Увидел знакомого — поздоровался. Руку приветственно поднял. Помахал прощально. Улыбнулся.

Все-таки загадка. Раньше ведь не встречались, не здоровались, а теперь чуть ли не каждый день. И главное, его узнают, его окликают по имени (точно), а он, значит, оглядывается, но напрасно. Смотрит и не видит. Нехорошо. Ведь будь он на месте того, кто окликал, а ему бы вот так не отвечали, то, конечно, обидно.

Впрочем, не важно. Его окликали, он оборачивался, всматривался пристально, делал шаг навстречу, смущался, неловко поднимал руку, делал судорожное неопределенное движение... Окликание становилось постоянным, он уже ждал, спускаясь в метро, что вот-вот... сейчас... Готовно оборачивался. Замедлял движение. Надо же, в конце концов, увидеть, разглядеть, ответить... Имя вспомнить... А если так и сядил-ся в поезд, не позванный, не названный, то неудобное

такое ощущение, словно забыл что-то очень существенное.

Когда называют по имени, себя вдруг по-новому узнаешь: да, ты вот тут, идешь, как обычно, в контору, живешь среди многих, но — ты есть. Есть и еще кто-то, для кого ты не случайность в толпе таких же, как ты, движущихся куда-то. Удаляющихся. Исчезающих. Бывают, впрочем, и другие с тем же именем, но если назвали тебя — голос, не разобрать, мужской или женский, и фигуру окликавшего не разглядеть — может, мужчина, может, женщина, даже странно.

Неужели Саша Гуров?.. Был такой, да. Давным-давно, еще в юности. Сосед по двору. Полноватый, с прямыми светлыми волосами и шрамчиком на лбу — результат падения с дерева. Учились в разных институтах. Что-то намечалось вроде дружбы. Стихи писал. Однажды случайно оказались вместе в компании, подвыпили сильно, а после часов до двух ночи бродили по Бульварному кольцу (июнь был) — читали стихи. В основном Саша Гуров (свои, но не только). Дважды привязывалась милиция, но как-то обходилось. Вроде и захмелевшие, но не настолько... Гуров и патрулю начинал декламировать, когда те все пытались дознаться, чего это они шляются по ночам, как бомжи, и даже вроде некоторое время слушали (недолго) с насмешливо-недоверчивым выражением (на мякине не проведешь), но потом отпускали, сочтя достаточно безобидными для общественного порядка.

Саша Гуров после той поэтической ночи звонил, куда-то звал его, приглашал на какие-то вечера, он даже на один какой-то выбрался, однако этим и ограничился, не тянуло почему-то больше — не до того, и потом еще пересекались пару раз, но тоже как-то скомкано, обрывисто, такого общения, как в ту ночь

больше не получалось. Да и находилось всегда что-то более важное — он как-то и не придавал значения... Имя мелькало в прессе — стихи, статейки о литературе, все духоподъемно, возвышенно, чуть приторно... Время от времени звонки повторялись. Гуров говорил о себе, о том, как хорошо принимают его стихи, сколько у него напечатано там-то и там-то, про предложения издательств, делал многозначительные паузы, приглашал к себе... Не удалось. Чего-то не хватало в отношениях, какого-то моторчика. Ну стихи, ну «в стране как в космосе — пустота» (запало: то ли строчка из стихотворения, то ли признание, в ту июньскую ночь), ну вопросительный взгляд, словно ждал от него какого-то ответа... Почему от него-то?

Так и сгинуло, рассосалось в никуда. И Гуров пропал, из прессы и вообще, никто про него ничего не знал: то ли жив, то ли нет... То ли здесь, то ли в иных пределах.

А ведь сколько раз сам проходил мимо, как бы не замечая, как бы не узнавая, — потому только, что не был уверен: его узнали. Человек идет, погруженный в свои мысли, сосредоточенный. Или смотрит в другую сторону. Если не замечают или не узнают, то надо ли окликать или напоминать? А может, он изменился так, что действительно узнать трудно. Словно это уже не он, а кто другой. Словно уже не эта, а некая иная жизнь, только место то же. Стоит ли возвращаться?

Пробегал, проходил, проплывал на эскалаторе, скользнув взглядом и мысленно отметив: ага... Ну и ладно, ну и что успеешь сказать, если вообще будет, что сказать, потому что и раньше-то перемолвились разве что одним-двумя словами.

Все-таки терзало: кто же? А вдруг действительно *та* женщина? Но ведь ее давным-давно не было в городе,

в стране... Маловероятно. В желтой такой курточке, рюкзачок через плечо, короткие под мальчика темные волосы, тонкие усмешливые губы (не красила) и сумрачный, слегка настороженный взгляд, светлеющий при улыбке. Такой и запала, когда вышла из поезда на станции «Шаболовская» — он давно ее поджидал у эскалатора. Хорошо так, белозубо вдруг улыбалась, сразу как бы приблизясь из дальней дали, и лицо смуглое озарялось, словно выступало из тени — только в эти минуты с ней и было хорошо, легко. Однажды вдруг весело, лукаво на него оглянувшись, запрыгала на одной ноге, как бы играя в «классики». Словно руку ему протянула, через годы, подглядев, — он ведь тоже в детстве играл, прямо возле подъезда во дворе мелом были начерчены.

А так вынашивала замкнуто что-то в себе, тревожное, словно какую-то проблему решала.

Они недолго встречались, затягивало ее в сумрачность, может, незаметно для самой. Замыкалась и молчала, а ему что оставалось? Только ждать, когда вдруг займется рассвет, когда сквозь тучи сверкнет солнечный луч. У моря погоды. «Ни с кем мне не было так спокойно...» Приятно, но как-то слишком многозначительно, а главное, обязывающе. Спокойно — это как? Про нее (да и себя) так бы не сказал. Сумрачность тревожила. Червячок глодал где-то в самом нутре: все ли в порядке? *Она* в порядке?.. Известно, что можно ждать от человека, если он что-то таит. Не высказывается весь.

Не было ощущения полноты присутствия. Ее присутствия. Где-то обрывалось, погружалось во тьму. Не находилось каких-то слов, приоткрывающих, высвечивающих. И что за проблема ее допекала — с ним ли связанная (вот решит, и тогда! А что тогда?), с жизнью ли вообще?..

И пресеклось все внезапно, с какой-то странной недоговоренностью — он закурился, не позвонил (почему?), она не позвонила...

Отчего-то уверенность, что зовут именно тебя, а никого другого. Не понять, почему тогда не остановиться, не приблизиться. Окликать, а потом исчезать. Дурацкая игра в прятки — не дети же! Поток людей, правда, действительно большой — что ни говори, а час пик, толпа несет, толкает, не дает свернуть, настойчиво и упрямо влечет в одном направлении. Если уж попал, изволь двигаться вместе со всеми. Однако ж можно, если захотеть. Остановиться, упираясь ногами, плечом раздвигая поток, своевольно двинуться в противоположном направлении. Дождаться, когда двери сомкнутся, и набитый битком поезд, предупреждая рывкнув сиреной, скрежеща колесами, заполнит на минуту голубым телом мглу тоннеля.

Минчевский здесь совсем уж был невероятен — и прежде-то почти не выходил из дома, когда он бывал у них с Олимпиадой Владимировной на Ордынке. Самое большее, что мог, это передвигаться (и то с трудом — лицо багровело от напряжения), по их небольшой двухкомнатной квартирке. Из своей девятиметровой комнатки в кухню или туалет, и все. Иногда даже с помощью Олимпиады, подставлявшей под большое мосластое тело худенькое острое плечо. Суставы ныли, ноги отказывали. Все болячки, что накопились за жизнь, особенно за годы на Севере, вылезли и начали изъязвляться. Собственно, так и познакомились — Минчевскому стало плохо в церкви во время литургии (душно было, и он, случайно оказавшись возле, вместе с худенькой, но очень прямоспинной женщиной (не старой) помог ему выбраться (тело тя-

желенное), а потом, когда тот чуть-чуть пришел в себя, отдышался, поймать машину и отвезти домой.

Поразило лицо Минчевского — все из углов и теней, морщинами изрезанное, словно с картины Эль Греко. Величественное. А улыбка — застенчиво-жалкая, извиняющаяся: дескать, вот учудил... Сразу не отпустили. Минчевский, проглотив кучу таблеток, отлеживался на казавшемся маленьким под его грузным телом диване, занимавшем большую часть комнаты (остальное пространство — стеллажи с книгами, много книг), а Олимпиада хлопотала на кухне, собирала на стол.

Потом довольно часто бывал у них, слушая рассказы Минчевского — про Север, про жизнь, про случайности, которые вовсе не случайности, а «производное их отношения к миру». Хирург по профессии, он много всего повидал и до лагеря, и после. Возле дивана на полу столбиком высились одна на другой пухлые общие тетради — многолетние записи, которые он вел, «отчет» (большая красивая рука нежно поглаживала коленкорovou обложку). И рассказы-вая, когда сидели у него в комнате, кивал на них, словно те должны были подтвердить его слова.

Почему вот только — он? Ведь были, наверно, и более близкие.

Хотя, возможно, не складывалось. Претензий у Минчевского было много. Чересчур. У каждого, с кем пересекался раньше или позже, обнаруживались какие-нибудь неприятные изъяны или огрехи — суд его был нелицеприятен и строг. «В человеке нет правды». Насчет «выше» — только намеки, но и без того понятно, что если опора, то только *там*. Похоже, выговориться надо было. «Как-нибудь дам почитать» (поглаживание тетради) — быстрый многозначительно-внимательный взгляд. Вроде как: дать-не дать?.. А осознает ли?

По всему, однако, выходило, что уже определился, дело за удобной минутой. Вкрадчиво-властный. Уже ощущалось как некое обязательство: приезжать, слушать... Вероятно, в скором времени читать... «Я вам доверяю». Если же долго не появлялся, то непременно раздавался звонок, глухой низкий голос: «Что-то вы нас подзабыли...» Или тихий голос Олимпиады: «Вы нужны Вацлаву...»

Так бы все и продолжалось по начерченному не им плану, если б однажды у кого-то в гостях не услышал скептическое: Минчевский? Весьма сомнительная фигура. Хирург хороший (был), характер невозможный, амбиции непомерные и... (пауза), не исключено, *сотрудничал...*

Слово такое — «*сотрудничал*». Оно-то и выросло вдруг стеной. Мало ли кто что сказал, этак можно про любого, даже и про того, кто сказал... Попробуй опровергни. Но сколько доводов против не находилось, слово все разъедало, как кислота. И потом, уж слишком стро, слишком требователен.

Так и сошло на нет — реже и реже стал бывать (раздражала вкрадчивая властность Минчевского)... Звонки еще были (не случилось ли чего?) — поначалу самого Минчевского, потом только Олимпиады (видимо, по его просьбе), но ими и ограничилось... Потом и вовсе.

Какие-то еще тени мелькали...

Странная фантазия: персонажи выходящие из тоннеля, из-за стен, облицованных мрамором, за которым жирные сырые пласты желто-коричневой глины. Из бегущей толпы людей. И туда же скрывающиеся. Эманация растревоженного сознания, подпавшего под власть каменных сводов. Теперь тревога меньше. Загадка загадкой, но уже понятно, что встречи могут

стать частыми. Ночью снилось, как утром окликнут в метро, он подойдет, и они наконец-то поздороваются нормально, как действительно хорошо знакомые люди. Пожмут друг другу руки. Может, даже обнимутся и поцелуются. Толпа будет обтекать, как вода обтекает случайный большой валун. Столько лет не виделись! Какими судьбами! Дружеское похлопывание по спине, поглаживание по плечу. Шаг назад, чтобы получше рассмотреть: надо же!

А был ли мальчик?

Невысокая худенькая фигурка, время от времени маячившая возле их калитки. Узко посаженные глаза, длинный буратиновый нос. Егор. Проходя, поворачивал голову в сторону их двора, как бы высматривая. Любопытный. Стоило выйти на улицу — тут же и он, словно нарочно поджидал. Его дом был через два по той же стороне. «Вы в магазин? Можно я с вами?» Не запрещать же. «А я сегодня перелетел через руль, ехал по лесу и на спуске наткнулся на корягу. Бок до сих пор болит. Думал, ребро сломал». Однажды поздно вечером вышел с фонариком погулять в поле — темно, ни звезды. Внезапно шорох по сухой песчаной дороге, силуэт велосипедиста, «здравствуйте». Оказывается, любил кататься по ночам («Я всегда катаюсь в такое время»). Ночью он якобы лучше видит, чем днем. Фантазер. Катил рядом на велосипеде, поскрипывая цепью. «А вы читали?..» Так вот он, Егор, тоже умеет дышать под водой, ну не совсем дышать, а все равно может продержаться очень долго, минут пять-семь. Дольше никто не умеет среди мальчишек. Один раз даже думали, что утонул, хотели спасти. У него легкие необычные, не как у всех. И слух тоже. Он под водой слышит разные звуки, ну как рыба с другой переключается, хотя говорят, что рыбы немые. Что-то вроде свиста, но не совсем, как бы звук от разряда

тока. Так может быть? Это Егор у него спрашивал, может ли так быть.

Пятнадцать лет. С бабушкой жил. То ли друзей не было среди сверстников, что он к нему, взрослому, намного лет старше его человеку, тянулся, то ли зацепил его чем-то, пойдя пойми. Не оттого ли, что как с ровней с ним разговаривал и не смеялся над его фантазиями? Высунувшись из-за забора, спрашивал: «А вы пойдете сегодня гулять? Можно я с вами?»

На следующее лето снимали дачу в другом месте — и парнишки там, понятно, не было, а через год к концу весны неожиданно звонок: «Здравствуйте, это Егор. Помните? Если хотите, можете жить у нас с бабушкой. Знаете, я научился водить автомобиль. Если хотите, могу и вас научить».

Надо же...

Забывтая радость встречи! Почему-то все чаще горечь расставания, разлуки, иногда надолго, иногда навсегда. И вдруг — знакомое лицо. А казалось-то, что все, только память, мимолетное воспоминание, эфемерный образ... В метро так в метро. Тайна подземного царства. Духи тоннельной тьмы, проносимые желтые огоньки, которые нравилось считать в детстве, прижавшись лбом к прохладному стеклу автоматических дверей, прямо рядом с надписью: не прислоняться. Стиралась сначала приставка, потом суффикс и частица...

Не - слон - ...

Сатори

Исходное положение: стоя на коленях.

Выполнение: положить сплетенные пальцами ладони на пол. Положить голову (точки соприкосновения головы и пола — на расстоянии толщины двух пальцев от линии волос) в чашу, образованную ладонями. Выпрямить ноги в коленях, оттянуть носки и поднимать ноги не сгибая до тех пор, пока тело и ноги не займут вертикальное положение. Внимание на щитовидной железе. Находиться в позе от 30 с до 5 мин.

Терапевтический эффект: благотворно воздействует на органы зрения и слуха, на мозг, эндокринную систему, систему кровообращения, систему дыхания...

Первое, что он сделал, оказавшись в камере, это встал на голову (*сиршасана* — см. выше).

Он встал на голову прямо возле своей лежанки, подложив под нее на цементный пол дряхлую, сбив-

шуюся комками внутри, дурно пахнущую подушку, и стоял так минут пять, вытянув кверху босые ступни. Потом осторожно опустил ноги и распрямился, приняв нормальное вертикальное положение (голова сверху), забрался на лежанку и сел с прямой спиной и скрестив ноги. Сидение продолжалось больше часа. К нему заглядывали, а он сидел и сидел, скосив глаза на кончик носа, слегка красноватого (в камере прохладно).

«Матушка», «батюшка» — так необычно называл родителей.

Мы ему удивлялись. Какой-то он независимый, от всех, в том числе и от нас. Мы в кучу сбивались, как бывает обычно у подростков, в стайку, в которой как-то уверенней себя чувствуешь, а он отдельно, да и интересы у него были другие: музыку слушал в консерватории, хоть сам и не играл, в театры ходил, толкаясь перед входом и выспрашивая лишний билетик, книжки у него появлялись, про которые никто из нас не слышал, и непонятно было, что интересного. «Братьев Карамазовых» читал на уроках, спрятав под партой, стихи Бродского, перепечатанные на машинке (пожелтевшие листки), в иконописи разбирался. И знал уйму всего, особенно из древней русской истории.

Если уж попал сюда, то нужно использовать максимально время для приобретения каких-то новых навыков. И позаботиться о здоровье, не слишком крепком. Где и заниматься аутотренингом, как не в камере. Здесь он один (если, конечно, ему не подсадят кого-нибудь), причем неизвестно, сколько это продлится, — неделю, месяц, год... По-своему даже замечательно, потому что на свободе не заставить

себя, все откладываешь, откладываешь. Свобода отвлекает, если не сказать — развращает. А здесь что еще делать — только погружаться в себя.

Однажды перед уроком военного дела устроил дымовушку (с военруком — по причине принципиального пацифизма — у него были напряженные отношения), после чего урок, конечно, отменили, а нас всех трясли и таскали к директору. Догадывались, что его рук дело, но никто ничего не сказал. Молчали как партизаны. И он молчал, не признавался, хотя из-за него могли пострадать другие. Кинул мимоходом, сквозь зубы: «Всех не выгонят!» — и баста. Улыбался тонко, словно и не улыбался, а как бы лицо у него такое. Джоконда. Ну да, в лице что-то от леонардовской Джоконды, немного, впрочем, и от Христа с картины Иванова, особенно когда рыжеватые волосы длинные (одно время носил), а потом и когда короткие. То ли улыбается, то ли нет.

Так это ничем тогда и не кончилось, шумели сильно, но без последствий. Его еще больше зауважали, что он оказался прав, и дымовушка была что надо, весь подвал, где проходили занятия, заволокло, едкий такой лиловатый дым — без противогаза не обойтись. Это у него был антивоенный протест — не хотел он учиться военному делу, и стрельбища в тире, куда нас водили иногда на уроке (а однажды даже возили за город на полигон — шмалять из Калашникова по вынырывающим из-за бугра картонным фигурам), его совершенно не увлекали.

Вот он сидит в позе полулотоса (до лотоса еще далеко — ноги в такой степени пока не гнутся), с ладонями на коленях, обращенными вверх. Медитация — самое трудное, невозможно сосредоточиться, не отвлекаться ни на что постороннее: надо ведь не бо-

роться с мыслями, а дать им спокойно проплывать мимо, как будто это белоснежные, истаивающие в бездонной голубизне неба облака. Или мерцающие светлячки звезд.

Он помнил звезды в ночном небе, когда вдруг увидел их как в первый раз. Сколько ему тогда было? Лет шестнадцать. На даче, кажется. Где-то сидели с ребятами, просто сидели, довольно поздно, стемнело давно, но почему-то не расходились. Он откинулся, прислонившись то ли к дереву, то ли к стене (кажется, возле барака в самом начале дачного поселка, там рядом был продуктовый магазинчик, а в бараке иногда крутили кинофильмы), затылком прикоснулся — и вдруг увидел! Темный бесконечный провал неба с мерцающими в нем крупинками. Синеватые льдинки в серебристой дымке. Все было усеяно. Аж холодком пробрало — такое неожиданно огромное, даже голова закружилась.

Еще в квартире на первом этаже их старого дома на Ордынке (теперь его нет, а на том месте площадка с торгующими всякой всячиной киосками), в его комнате был вырыт подвал не подвал, но что-то похожее, такая глубокая яма вроде колодца, обложенная кирпичом, и там установлен проигрыватель, на котором прокручивались всякие диски — Армстронг, Элла Фицджеральд, Поль Мориа... И, разумеется, классика — Бах, Моцарт, Вивальди... Акустика в этой яме была обалденная, звуки словно сочились из стен, проникали откуда-то из окружавшей яму земли, а там не только земля была, не только жирные пласты желтой влажной глины, но и всякие подземные коммуникации, древние, еще дореволюционные, охватывающие чуть ли не весь центр Москвы.

Там, в глубине, была старая Москва, древние стены, речка, трудно представить, но он все это знал,

потому что жил рядом. Оттуда-то, казалось, и сочилась музыка, а он ее слушал, сидя на деревянном ящике из-под помидоров или чего-то в этом роде. Сверху была видна его рыжеватая макушка, волосы, падавшие на плечи... В школе гоняли стричься, а он уклонялся, и некоторое время ему удавалось, хотя потом все равно дожимали — иначе не пускали на урок, вызывали родителей, а они у него были очень симпатичные, интеллигентные такие и к его фокусам относились довольно терпимо, даже отчасти солидаризировались, особенно отец, инженер, балагур и весельчак с печальными глазами. Когда надо было позвать сына к телефону, он отвечал: «Сейчас загляну в его келью». И впрямь в их коммуналке, в принадлежавшей им комнате яма была единственным способом уединиться — холодно зато только.

Дымовушка вдруг приблизила его, а то он иногда казался слишком загадочным.

Потом, во время чтения какой-то книги про йогу, вспомнилось то ночное состояние (небо). Пахло казенным бельем, сырыми стенами и холодным каменным полом. Нельзя было терять времени, чтобы в конце концов это время победить. Время нужно было заполнять действием, теперь у него могла быть только одна цель, вернее, две, потому что в человеке изначально заложены две доминанты — самосохранение и развитие. Действие ведь не только борьба и протест, но и мышление. И созерцание — тоже действие. Созерцатель — тоже деятель.

Йога вселяла надежду, во всяком случае, в этих условиях. Ничего другого он здесь не мог — ни читать, несмотря на то что в тюремной библиотеке книги были, ни слушать музыку, ни писать... А раз так, значит, просто необходимо было встать на голову или

сесть в позу лотоса. Необходимо было сосредоточиться на дыхании: вдох — задержка — выдох — задержка... Нужно было научиться медитировать. Медитация — тоже действие.

У Чехова, кажется, есть рассказ про пари, которое заключил некий человек с банкиром — что проведет в абсолютном затворничестве много лет при одном только условии: его будут кормить-поить и давать книги. Еще он, кажется, музицировал на фортепьяно. И почти выиграл пари, проведя в заточении-затворничестве положенный срок. Книг он прочитал за это время невероятное количество. Уже близился час его освобождения, когда человек внезапно исчез. Буквально в ночь накануне. То есть просто взял да ушел — именно в ту минуту, когда вполне мог быть уверен в полном своем торжестве. Банкир, трепетавший в страхе, что придется расстаться с довольно крупной суммой, понятно, вздохнул с облегчением.

В оставленной же записке было сказано... Что же там было сказано? Презираю или что-то вроде... То есть герой презирал все: и книги, и музыку, и банкирские деньги, и самого банкира, и вообще...

Момент истины. Что-то он постиг, тот чеховский герой, для чего понадобились ему долгие годы заточения и штудирования многих ученых томов. Только стоило ли читать все это, чтобы понять безрезультатность?

Однажды, уже окончив школу, через год или два, пока еще не оборвались окончательно связи, вместе ходили на фильм Анджея Вайды «Пейзаж после битвы». И там, среди сеанса, случилось странное: всхлип, запрокинутая голова — так он и сидел, запрокинувшись, как если бы у него внезапно пошла носом кровь и он хотел ее остановить (может, и вправду

пошла). На экране в то мгновение, когда все случилось, кто-то, кажется, пытался наложить на себя руки... Как потом выяснилось, действительно потерял сознание. Обморок.

Восприимчивый чересчур.

Йога — практическое делание. Она может изменить человеческую природу, исправить ее, вывести на другой уровень. То есть сделать неуязвимым для боли, болезней и вообще страданий — два, недостижимым для реальности — три...

Путь освобождения.

Если овладеть йогой, то тюрьма уже не страшна: не жаль было бы потерянного времени, не жаль никого и ничего, тем более что и здоровье он не только бы не утратил, но даже укрепил. Если по большому счету, как бы заново переродился.

Его обвинили в продаже икон иностранцам. Ну да, но он также сотрудничал с каким-то антисоветским религиозным эмигрантским журналом. Может, он вовсе ничего и не продавал, а только сотрудничал (вполне достаточно), однако чтобы не начинать политическое дело, не производить слишком большого шума, нужно было пришить ему что-нибудь криминальное, для чего торговля иконами подходила идеально. Мало того что торговал — еще и расхищал национальное достояние, сбывая произведения искусства за границу.

Над дверью в его квартиру установили подслушивающие жучки, под окном дежурила «волга» с человеком в сером плаще. Так и осталось темным местом, продавал или не продавал. У него не спросишь — слишком он теперь высоко. Пробовали звонить. Либо автоответчик, либо занято, либо никто не подходит. Один раз женский голос ответил, что он в Боливии и

будет через неделю. А через неделю ответили, что во Владивостоке.

Не поймать.

С каждым днем время стояния на голове и сидения в позе полулотоса (все ближе к полноценному лотосу) увеличивалось. Может, и в самом деле менялся. Во всяком случае, то, из-за чего он здесь очутился, в этой камере с сырым, выщербленным цементным полом, вдруг перестало казаться столь уж важным. Не нужно никому (у матери инфаркт, у отца неприятности на работе), и ему в первую очередь. Неправильно, что из-за этого можно угодить в тюрьму, подвергаться гонениям, претерпевать всякие неурядицы. Свобода должна быть внутри. Тайная. Как яма у них в квартире на Ордынке, как неведомые мглистые катакомбы под городом.

Самое правильное — не имея ничего, ничего и не желать. И тем более не бороться за то, чтобы переменить статус-кво. Нет ничего запретного и незаконного, добра и зла, чистого и нечистого, все слитно, все правильно, все в порядке вещей. Они песчинки в грандиозном замысле мироздания. Нужно идти путем внутреннего освобождения. Ну и выбираться отсюда. И как можно быстрее!

На вопрос следователя, признает ли он свои действия противозаконными, мыкнул: «Угу». Хочет ли выйти отсюда? Разумеется. Готов ли искупить свою вину перед государством публичным покаянием? Короткая пауза и твердое: «Да».

Выпустили его ровно через две недели после записи на телевидении: он публично признал свою вину, сказав, что считает свою деятельность безнравственной и разрушительной, а принимаемые государством защитные меры абсолютно правильными.

Его раскаяние выглядело вполне натурально, только в лице (для знающих) странная тень, эдакая полуулыбка, как на лице леонардовской Джоконды. Ну да, он был похож на Джоконду (и отчасти на Христа с картины Иванова), несмотря на наголо обритый череп.

Он уже был на пути...

Вместе

Странный это обычай — звонить и «выражать», то бишь говорить всякие слова, которые все равно кажутся формальными, даже если и с искренним чувством. Если человека нет — что слова? «Примите наши соболезнования», «Мы с вами», что-то еще в том же роде, неловкое...

И зачем? Человека-то все равно не вернуть, да и случившееся настолько несопоставимо, что, произнося их, как бы заведомо впадаешь в лицемерие. Еще и безотчетное чувство вины — вроде как заглянул куда бы не надо.

Смерть близкого — такое же глубоко интимное дело, как и любовь, соваться туда, если вдуматься, бестактно, даже, казалось бы, из лучших побуждений.

«Примите...»

А на самом деле, может, и не надо этого — пусть бы человек сам все избыл от начала до конца, а то

слишком легко получается: от смерти — к жизни, нет и нет, и ладно, главное, ты жив (и мы, и все, кто «разделяет»).

Может, и пусть — чтобы человек побыл в одиночестве: итоги подвести, расставить все точки, осознать и проникнуться. А лезть с сочувствием — не ложное ли человеколюбие? Не столько сочувствие даже, сколько соглядатайство. Чуть-чуть, краешком глаза — в ту черную дыру, ну да, ту самую. Просто — в дыру.

Тем не менее звонишь и говоришь. Верней, бормочешь в трубку что-то невразумительное. Мычишь.

Принято так.

Б. не подходил к телефону. Кто-то там, на другом конце провода, голос женский (высокий) или мужской (низкий, прокуренно басовитый), отвечал: нет его сейчас, через час звоните (или два), но его не было ни через час, ни через два, ни через четыре. И тот же, а может, и другой (тоже высокий, помягче, словно со сна) женский или мужской (похожий на голос самого Б., но явно не его) отвечал: был, но сейчас нет, скоро будет... А как же, ему передали. Обязательно.

Ему передавали, а он все равно не объявлялся. Ему руку протягивали, чтобы не утянуло, не смыло — в тот бездонный колодец, в ту бездну, возле которой он (так сложилось) оказывался чаще, чем кто-либо из нас, его друзей и знакомых, а он не то что бы эту руку отталкивал — он ее игнорировал. Такое впечатление, что скрывался, как прячется подраненный зверь, чтобы в тайном укромелизать-залечить рану. Но ведь, кто знает, может, в таком состоянии человек, что и отзвонить трудно. Да и к чему? Что тут вообще скажешь?

Вроде бы и ладно: не совсем он один, в конце концов: кто-то есть рядом (те самые голоса)...

И все равно не по себе. Априори же не понять, что человек испытывает в такие минуты. Иной напроць теряет волю к жизни: не то что отзвонить или как-то дать о себе знать — дара речи лишается. Просто смотрит безучастно и все. Вроде как ничего не изменилось, а все равно — другой. Необъятная скорбная пустота в зрачках. Другой же, наоборот, такую бурную деятельность (хлопот достаточно — похороны, поминки и пр.) развивает, что забывает обо всем постороннем, даже о том, в связи с чем хлопочет (инстинкт самосохранения). А чуть закончится (или через некоторое время), опять же ступор — пока дойдет по-настоящему, пробьется сквозь защитную заслонку...

Так вот, о Б.

Не везло ему катастрофически — такая полоса нашла: то отец, потом сестра, потом тетка, еще кто-то, тоже из близких... Докатывалось эхом: опять... И не дозвониться: то нет его (женский или мужской голос — ага, не один, все-таки кто-то рядом), то занято, то никто не подходит... Так и проезжали: он никого не звал — сам как-то перемогался, но и вообще пропадал надолго, объявляясь через много месяцев, а то и больше.

Теперь вот докатилось, что жена. Правда, бывшая. Но он вроде как продолжал ее любить, хотя сам же с ней расстался не так давно. Расстался и расстался, дело житейское, время такое ухабистое, многие связи рушатся. И снова вакуум — нет его, не подходит, не нужно ему сочувствие. Даже как бы протест: не лезьте!.. И без вас тошно, сил нет, а тут еще вы со своими словами (мычанием).

Может, так его укатало, что и впрямь не нужно, ничего и никого — как у некоторых тяжелобольных: оставили бы в покое. Не дергали. Не приставали со

своими советами, лечением и лекарствами, все равно не помогают.

Кто знает?

Когда встречались потом, после, он никогда не говорил: вот, нет больше отца... Или там сестры... Не делился.

Вообще не любил касаться этой темы — смерти, имеется в виду. Едва зайдет речь, как тут же и отвлечется на что-то, переведет в другое русло, вроде случайно, но в то же время весьма настойчиво. Все происходило так, как обычно, ничего не менялось — такой же, как всегда. Спокойный, рассудительный, занудноватый. Странно! Что-то же должно измениться в человеке после стольких утрат (одно за другим). Что-то должно же проскальзывать.

Нет, держался он, как говорят в таких случаях, мужественно — ничем не выдавал своего состояния. А ведь с отцом были очень близкие отношения, редкие, можно сказать. И на рыбалку вместе, и в кино, пиво пили... В шахматы любили играть, хлебом не корми. Не просто отец и сын — приятели.

Да и с сестрой все было замечательно: она старше была и, понятно, опекала его, хотя у нее своя семья была. Приезжала сготовить что-нибудь, когда он с первой женой расстался, все невесту ему подыскивала — чтоб не один человек оставался, не терялся в этой жизни, потому что одному — да что говорить... А тут и сестры нет.

Если вот так у дерева обрубать самые мощные корни (а родство — понятно, и есть корни), то сохнет даже самое стойкое и сильное.

Он и вообще очень родственный. В том смысле, что раз родная кровь, даже если седьмая вода на киселе, то значит свой, близкий (даже если далекий). А

если близкий, то не только помочь, но и рядом побыть в трудную минуту, поехать куда-то и что-нибудь сделать полезное — достать что-то, лекарство или вещь какую-нибудь, в больницу определить, встретить на вокзале или, наоборот, проводить, на работу устроить, денег одолжить или еще что-то...

Ему даже будто нравилось, словно у него не только сил, но и времени свободного воз и маленькая тележка, так что не жалко тратить. Его и просили часто, потому что если человек такой отзывчивый, то грех не воспользоваться.

Конечно, и ему отвечали — если не тем же, то все-таки чем-то: кто симпатией, кто благодарностью, а кто и любовью, слова про него всякие приятные говорили, которых про другого и вообще не услышишь. Приглашали на всякие семейные торжества — дни рождения, свадьбы, юбилеи, просто в гости (давно не виделись), короче, все к нему испытывали, в смысле — расположение...

Особенно пожилые — потому что если кому и надо внимание, то именно пожилым, стареющим людям, известно, что в старости человек острее всего чувствует одиночество. Чем ближе к последней черте, тем сильнее жметя человек к другим, к общению тянется, к тем, кто помоложе и просто молодым (хоть, может, и чужим себя чувствует среди них).

Б. откликнулся — из жалости ли, из сочувствия ли (все будем такими), мог ненадолго заскочить пообщаться, а точнее, терпеливо выслушать про старческие немощи и болячки, про дороговизну в магазинах и нищенскую пенсию, про живоглотов и кровопийц, про симпатыгу Якубовича и зловредного Березовского, про Ленина-Сталина-Ельцина-Жириновского-Лукашенко-Чубайса-Путина-Лужкова и пр., про магнитные бури и глобальное потепление, про добрые старые времена и недобрые новые, про капитализм-

социализм-третий путь и многое другое, что любого человека волнует, а тем более пожилого, у кого для подобных волнений есть досуг и охота.

В общем, было ему, о чем с ними побеседовать — о друзьях-товарищах, об огнях-пожарищах. Будто и его это прошлое было (отчасти), будто и ему интересно (что именно?).

В один из таких печальных дней (кого-то он снова только-только похоронил) я наткнулся на него в кафешке, куда мы иногда, в нечастые наши встречи, забредали выпить пива или по рюмке водки, она нам нравилась демократичностью и местоположением, недалеко от метро, стойка внутри и несколько столиков под тентами снаружи, здесь частенько можно было застать милиционеров, которые подкатывали на патрульных машинах, покупали сэндвичи и тут же в машинах или за стойкой их уминали, запивая быстрорастворимым кофе из пластиковых стаканчиков (может, и пивом) и придерживая (кое-кто) у живота, облаченного в пуленепробиваемый жилет, автомат.

Часов девять вечера, кафешка почти пустая, несколько человек за столиками снаружи, и он один за стойкой, с кружкой пива и рюмкой водки, недоеденный бутерброд с сыром на пластиковой тарелке, курит, напряженно глядя перед собой. Можно бы, конечно, уйти — не тревожить человека, особенно теперь, когда в его жизни опять, в очередной раз стряслось, но ведь... Нет, в самом деле — просто постоять рядом (молча), покурить, пропустить рюмку-две, а то и поговорить, какая-никакая, а поддержка...

Я взял пива, придвинулся к нему.

«Слышал...»

Он pokrивился, головой нетерпеливо дернул.
«А-а-а...»

Так и стояли — молча. Он отхлебнул водки, запил пивом, надкусил бутерброд. «Ладно, будем...»

И снова молчание. Потом вдруг: «Не понимаю, зачем все это — похороны, поминки, то-се... Все равно нет человека. Даже как-то оскорбительно, все эти слова, церемонии... Мельтешня. Вроде как человек еще здесь, где-то рядом, и все распинаются, будто за доброту хотят — то ли свою вину перед ним загладить, что они живы, а его нет, то ли отмазаться от того, что и им предстоит».

Так он это твердо, даже резко сказал, с такой категоричностью, что не спорить же... Если человек в чем-то убежден, то и пусть. Может, легче ему так, каждый сам себе находит лазейки.

Сигарету новую закурил.

Похоже, и впрямь хотел остаться один, даже домой его, судя по всему, не тянуло, где у него кто-то был (кто по телефону отвечал — когда мужской голос, когда женский).

Я уже стал сворачиваться, как он меня за руку удержал, потянул за рукав: дескать, погоди... Лицом (рябинки возле носа, щеки небритые) приблизился, глядя куда-то в сторону, словно опасаясь, что нас кто-нибудь услышит. «Все тут, — не столько проговорил, сколько выдохнул, будто и не сказал (почудилось). — Понимаешь? — И взгляд беспокойный, болезненное в нем. — Дома все. *Все*, понимаешь? Они там, а я здесь. Думаешь, совсем сбрендил? Пьяный, да? Ты вот звонил мне, да? И что? Что тебе сказали? Что меня нет? Они всем так говорят, что меня нет, что я вышел и буду часа через два или еще как-нибудь. Но даже если я там, они все равно так отвечают, будто меня нет. Впрочем, я уже не могу понять, где я. Вроде как наяву всё, а ведь бред... Я-то знаю, что их уже нет, вообще нет, что все это выдумки, и тем не менее...»

Он это так лихорадочно проговорил, совсем на него не похоже. Лицо серое, землистого оттенка. Допекло. Видно, что не в себе, устал или сильно под мухой (или то и другое вместе), может, и впрямь бредит. Не хотят, говорит, уходить. И чтобы он уходил тоже не хотят. Чтобы все время вместе — там, дома. А он вот сбежал. Не может так больше продолжаться — либо человек живет, либо... А вот так между — это неправильно. Потому что тогда вообще ерунда какая-то...

Снова налил — себе и теперь мне. Как же это так устроено, что ни туда, ни сюда, ни там, ни тут, и плюс еще эти древние обряды, соболезнования, распросы, как и что... Не надо этого ничего. Если кончено, то и кончено, какого хрена?

Измучился, вот...

И еще что-то говорил, невнятно, горячечным таким полусшепотом, словно самому себе.

Насчет голосов (не я один их слышал) — кто поверит? По-прежнему отвечали: нет, вышел, перезвоните, будет через столько-то... Разные все голоса, мужские и женские, теноры, дисканты, с хрипотцой, звонкие, грассирующие, растягивающие слова или, наоборот, комкающие, иногда еле слышно, иногда совсем близко, иногда с какими-то еще встречающимися голосами, совсем посторонними, гудками и шумом (перегрузка линии), но вполне нормальные (с обертонами), без всякого, что он нагородил.

Траурные события всегда собирают людей (соединяют их), причем из разных мест земли, так что чему удивляться — у Б. большая родня: из Ростова, Петрозаводска, Пензы и Уфы... Приезжают, гостят некоторое время, возвращаются к себе, снова приезжают. Дело житейское. Что Б. не застать — мало ли, все сейчас так — в суете и кутерьме, пойдешь отлови... Вро-

де через два часа должен быть, а на самом деле неизвестно когда.

Заходя иногда в ту закусочную, я всякий раз почему-то надеялся, что встречу его, как в тот раз. Но — не случилось. И звонил, сам не зная почему, видимо, растревоженный той нашей неожиданной встречей и его странным состоянием. Словами его.

Нет, правда: все эти «будет» или «позвоните часа через два»... Обещания передать. И что не отзванивал. Но тут уж что говорить? Не хочет — вот и все.

А потом и вовсе перестали трубку снимать — ни голосов, ничего. Глухо. Только длинные гудки.

И его нигде нет, никто ничего не знает.

Такое, впрочем, тоже случается.

Нет человека и нет. Может, в командировке, может, переехал, не исключено, что и вообще куда-нибудь совсем далеко, за океан, например, бывали случаи. Без прощаний, никому не сообщив. В прежние времена (недоброй памяти) так даже очень часто бывало: раз — и нет человека. Куда подевался? А лет через десять-двадцать объявляется. Или не объявляется.

Кому, в конце концов, какое дело?..

Роза мира. Сюжет для небольшого сценария

1

Странно, но любое упоминание имени все обращает в прах.

Даже и сам этот дом, довольно известный, — все изжито настолько, настолько смердит литературой, что истории сквозь нее не пробиться. И к истории не пробиться, словно это уже не история, а неведомо что. А ведь сплошь на крови, на муке, на бессонных ночах, на любви-ненависти, на вере, на отчаянии, на непонимании, на надежде...

Но так убого и серо, что кажется — ничего за этим нет, только пустота, навощенный паркет, тускло мерцающая мебель, тяжкие сумрачные лифты и обшарпанные лестничные клетки. И вид на Москву-реку, на Кремль, на мост с бегущими по нему авто...

Невнятно.

Хун Ли Юй, то ли Роберт де Ниро), сиволапый бурсак с изрытым оспой серым лицом, невысокого роста, сподобился — повелевать гигантской (сколько там Европ?) страной, трепещущей от восторга и ужаса при одном только его имени (забыл).

Не дремлет око...

Залезть человеку в печенки — чтоб все из него выскрести, до последнего, — это конек Коновницына (Дмитрий Певцов). Расположить к себе, вопрос за вопросом, пауза, разговор ни о чем, снова вопрос, будто и не вопрос, человек сам с собой, вроде легкого бреда. Но и он тут же, пленочка в современном диктофоне (сам реагирует на звук, экономя пленку) крутится неслышно, микрофончик прицеплен к лацкану пиджака — удобно. Говорите-говорите, ну да, в светлое будущее верили и что без жертв этого будущего, увы, не достичь, враги не дремлют, хотят помешать, провокации устраивают. Издалека и вправду кажется диковатым, а тогда чувства были — как к врагам. Ведь те что, негодяи, делали — вставляли за прошлое, противились неизбежному, вредили, мешали... Это другое.

В черном платье с высоким воротом, с гладко зачесанными назад седыми волосами и серебряной брошкой... Лицо узкое, морщинистое, с заостренными скулами... Но — будто не старуха, а просто пожилой человек. Сильно пожилой, но не старый. И вопросов не нужно. Только проверять время от времени, крутится ли лента в диктофоне (батарейки свежие заряжены, «Энерджайзер»).

...действительно верили. Жизнью своей платили. Думаете, эта квартира так уж нужна была? Вполне могли обойтись, муж отказывался, но тогда не принято было. Сказано: въезжай, и въехали. Пост обязывал.

Думаете, уют наконец-то обрели? Ничего подобного! Вся эта громоздкая казенная мебель только тоску наводила. Они ее просто не замечали или старались не замечать, что было не так уж трудно — отвыкли уже от комфорта и уюта, пока мотались сначала по ссылкам, потом по фронтам, переезжая из города в город, куда назначали. Конечно, кое-кто начинал обустриваться, по-буржуазному, занавесочки, канареечки... Некоторые драгоценностями обзаводились. Из чело- века это трудно вытравить. А они нет, даже когда дочь родилась, не хотели ничего менять. Революция не только не кончилась, она должна была продолжаться — человеческая природа так быстро не меняется. Если подумать, сколько веков позади, разве один год или даже пять десятилетий что-нибудь значат? А потом оказалось, что дом этот еще и несчастья приносит. Сколько выселений тут было, скольких забрали, сколькие сгинули бесследно... Не пешки ведь какие-нибудь — герои: маршалы, наркомы, министры...

Что-то происходит с диктофоном. Вдруг писк, треск, шум... Пленка рвется. Батарейки садятся. Явно что-то не то, причем именно здесь, в этом доме, больше нигде. Мистика не мистика, но что-то неприятное...

Все они говорят примерно одно и то же, словно слеплены по одному лекалу, — так их время оформовало. Быт заедает, конечно, но ведь и усталость от всей этой кутерьмы, от постоянных скитаний, без крыши, невозможно жить в постоянном напряжении. Сколько семей распалось именно из-за безытности. Год-другой-третий, куда ни шло, но десятилетиями... Легче совершить один раз героический поступок, нежели превращать в него целую жизнь.

Серебристый чайник пытит на плите, простая чашка с незамысловатым рисунком (плывущий по волнам парусник). Как бы давний разговор.

У этой Розы Сергеевны (Наталья Фатеева) почти никого, только племянник, с которым она не хочет знаться именно из-за идейных разногласий, да еще младшей двоюродной сестры, которая навевается раз в неделю, хотя самой под семьдесят. Мужа давно нет в живых, после реабилитации долго не протянул, дочь тоже умерла... А у нее ясный, спокойный, хотя и упертый ум — ни пяди ни сдала из того, что воодушевляло с тех давних, канувших в небытие времен, оставив ее и ей подобных, как оставляет выкаченные на берег валуны утихший шторм.

Даже если дед Коновницына (Дмитрий Певцов) был тоже из этих, из главных творцов истории — что с того? Бабку он взял не где-нибудь, а в Аргентине, где некоторое время жил после бегства с каторги. Он и ее соблазнил революцией, привез в Россию вместе с грудным младенцем, едва грянула Февральская... Только какое это имело отношение?.. Единственное, что связывало лично с этим домом, так это тир в кинотеатре «Ударник», где он любил стрелять перед сеансом какого-нибудь фильма. Запасался купленными заранее в охотничьем магазине пулями и делал в два раза больше выстрелов, чем было оплачено. Именно здесь он так наострился, что выбил на школьных соревнованиях 98 из 100 и получил значок «Меткий стрелок».

Вид на Кремль (а теперь и на восставший из нетей Храм Христа Спасителя, проект Юрия Лужкова), тайные подземные коммуникации, ведущие туда, древние, но еще вполне бодрые старухи, многое способные поведать о временах своей бурной молодости, — дом

этот можно рассматривать как некое символическое пространство. И все-все, от уныло-мрачной конструктивистской архитектуры до тщательно промытых морщинок на лицах старух, когда-то, может, таких же ослепительных красавиц, как его аргентинская бабка, принесящая свою красоту на алтарь революции, — все свидетельствует о некоем новом антропологическом типе, который зарождался в муках именно в те годы и именно в здешних огромных гулких комнатах и темных коридорах.

Жаль, не довелось ему поговорить с дедом, который, хоть и не жил в этом доме, но наверняка мог бы что-нибудь приоткрыть в джунглях человеческой души. Аргентинская бабка этого, увы, не могла, потому что абсолютно верила деду, а когда тот умер, хлебнув свое в лагерях, она после инсульта просто перестала говорить и домолчала до последнего своего часа.

2

Еще один персонаж (некто), имени которого никто не помнит. А раз нет имени значит и помнить некого. Может, и не было его вовсе, а все только примстилось в горячечном бреду. Не помнить — лучшее возмездие. Как вы, простите, сказали... А кто это? Нет, никогда не слышал. Нет, правда. Шутите? Повторите еще раз...

Между тем Он (имени нет, запомнил — то ли Мустафа, то ли Хун Ли Юй, то ли Роберт де Ниро) уже не помнит, сколько ему. Да и какая разница? Дни, недели, годы — одна сплошная ночь, несмотря на тусклое освещение от автономного генератора. Наверно, и поярче можно бы, но в этом нет необхо-

димости. Ему достаточно, тем более что почти перестал читать — глаза слезятся, почти ничего не видят. Очки же раздражают, оступившись однажды, уронил их на пол, одно стеклышко разбилось. Раньше почти никогда не надевал очки, взгляд должен быть как у горного орла, а не сморчка интеллигента. Правда, круглые проволочные очочки старого приятеля вовсе не делали из того интеллигента, напротив, обратное как раз впечатление — поблескивание стекол, из-под которых змеино покалывали маленькие темные глазки, просто парализовали людей. Он сам иногда чувствовал.

Ох уж этот старый приятель! Вроде и верный служака, а ведь себе на уме, как все людишки, тоже мнил слишком много, тоже рвался в сверхчеловеки, хотя держался скромненько, всячески подчеркивал свою зависимость. Но это только при нем, а в своем ведомстве и вообще много себе позволял. Слишком много. Конечно, обо всем было известно, да пока не было нужды его укорачивать — пускай побалуется-потешится, особенно с бабами (плешивый, скользкий, холодный, змея, а не человек — как его только выносили), самое удивительное, что жена терпела, даже зная про его фокусы, ей не просто намекали, а даже предоставляли доказательства, письмишки подкидывали анонимные, с фотографиями. Впрочем, старый приятель, проницательный, знал, кто подкидывает, а Он знал, что тот знает. Супруга же не просто терпела — из страха, а вроде как любила, женское сердце — загадка. Такое над ними, бывает, вытворяешь, а они все терпят и даже еще больше прикипают, еще больше боготворят. Вот старый приятель и компенсировал тайную неудовлетворенную страсть к власти — тащил кого ни попадая, хоть шлюху, хоть благоверную какого-нибудь соратника. Сколькие сгорели

из-за этой его безудержности. А все почему? А потому что власть — не над душой, так хоть над телом.

Собственно, и народ — как женщина, особенно русский, если с ним строго и самовластно, то он еще больше тебя любит, что бы ты себе ни позволял. Любовь и страх, любовь и страдание — все связано. Старый приятель этим и пользовался. Восприимчивый, на лету ловил. Только не помогло ему, рожденный ползать — летать не может, как сказал пролетарский писатель Горький (банальные людишки — что за жалкие псевдонимы: Бедный, Горький, Скиталец, Безыменский, Голодный!). Только и силен был Его силой и Его прозорливостью, а так близорукий и тоже жалкий (а был бы не жалкий — вряд ли бы удержался, они все жалкие)... Мымрики. Жуков, победитель, был не жалкий, много солдатской кровушки пролил, но победу добыл, так и опять же — Его (Мустафы) заслуга. А кто усомнился, того уже нет (лучший способ борьбы с сомнениями). Потому что главное — не личный успех, а дело, которому служишь. Дело же и Он (Мустафа) — едины. Об этом много написано.

Всех пережил, даже этого прохиндея, как его, память сбоят, раньше никогда не забывал, который в долголетию обошел-таки всех. Жили — словно и здесь соперничали, как в Политбюро: кто дольше протянет... А старый приятель не ту карту вынул. Лысенький его объегорил, а потом и всю команду. Да ведь и что те без Него? Нули без палочки. Масштаб не тот. Масштаб обязательно должен быть — иначе не поймут. В этой стране только так. Ну и, конечно, еще кое-что, без чего и масштаб не проходит. Как они сейчас говорят, *херизма*... Шибко умные стали.

Лысенький больше всех, между прочим, волновался, правда ли... Чувствовала лиса, что дело не чисто,

не верил, что Он может так просто согнуться, как обыкновенный человечешко, — insult, инфаркт... Смешно! Все кто занимался Его второй жизнью, тех тоже нет, следов нет. Мавзолей, внос-вынос, это с мумией Старика пусть балуются. Столько мозгов в стране — неужто не воспользоваться? Атомную бомбу создали — создали, не пожалели средств, так что же — бессмертия не могли?

Только единицы об этом знали. Конспирация. Тут Ему тоже не было равных. «Эликсир молодости», «ген бессмертия»... Кое-кто, конечно, догадывался, и что? Недавно сенсация: англичане создали клонированную овцу. Англичане... Кхе, кхе... Смешно! Все уже давно известно.

Для Него, по сути, мало что изменилось. Даже комнаты его остались прежними — все точь-в-точь как в Кремле и в Кунцево. Можно спокойно переходить из одного помещения в другое, как если бы из Кунцево приезжал в Кремль или возвращался обратно. А главное, Кремль-то тут, рядом. Но он предпочитает здесь. Все, что надо, у него есть: телевизор, радио, питание, различные препараты для саморегенерации... Все заготовлено на долгие сроки. Известно, что между домом и Кремлем есть подземные коммуникации, но никто не знает (Он постарался), сколько уровней. Все приготовлено в лучшем виде, с использованием самых последних достижений техники: лифты, двери, освещение, отопление, воздух... Все автоматизировано.

Он все предусмотрел.

Разве не интересно: посмотреть, что будет после? Оказалось, не так уж. Все равно, сколько ни воевали против него, какие бы вердикты и документы ни принимали, каких помоев ни лили, ничего не вышло. Все равно Он остается. Немного продвинулись, но

тоже недалеко. Пусть измываются, мажут дегтем, придет час и все вернется на круги своя.

Единственное, что беспокоило и создавало некоторый дискомфорт, так это изжога. Где-то, видимо, недоработали, недоучли чего-то. Только вот наказать теперь некого. Все уже получили свое. А изжога, хоть и неприятна, однако ничего не решает. Всех и еще переживет.

3

Лицо, бледное, в множестве ветвящихся морщинок, не скроешь никакой косметикой. Они мелко вздрагивают, разбегаясь к вискам, когда она улыбается (редко). Пойди пойми, что там, в ее памяти, чужая душа — потемки... Разве доберешься до самого сокровенного?

Главное — терпение.

Она прерывается на полуслове, уходит в себя.

— Может, я пойду, — тревожно говорит Коновницын (Дмитрий Певцов), — мне кажется, вы сегодня не очень в настроении.

Роза Сергеевна (Наталья Фатеева) достает из кармашка черной шерстяной кофты сложенный вчетверо листок бумаги.

— Вы правы, не очень, — произносит она заторможено, словно пытаясь понять, в настроении она или нет. — А какое настроение может быть, когда получаешь вот такие письма? — Протягивает листок Коновницыну. — Читайте, читайте... Весьма любопытное чтение...

Коновницын (Дмитрий Певцов) читает: *«Настоятельно рекомендуем Вам поскорее продать квартиру, поскольку подъезд все равно будет расселен. Соответствующие фирмы (список: названия, адреса, телефоны) предложат Вам разные варианты, которые, помимо*

прочего, значительно улучшат Ваше материальное положение».

Да, так они и живут — присылают письмо или звонят по телефону, предлагают срочно продать квартиру и приобрести другую... Больше того, сулят крупный куш при обмене большей площади на меньшую. Иногда кажется, что в квартире установлены подслушивающие жучки, как раньше. Им же надо знать, что она намерена делать. И не только ей присылают — другим тоже. А ведь не шутки. Из семи квартир в их подъезде уже выехали, между прочим, так и стоят пустые, никто до сих пор не занял, хотя времени прошло немало. С самого начала, едва только стали приватизировать, сюда повадились всякие: сдать в аренду, продать, поменять... Место лакомое, самый центр. Вон, на четвертом этаже вломились в квартиру, пока жильцов не было, так даже не взяли ничего, только двери попортили серьезно. В милиции сказали: выживают...

Ничего не выйдет: жила и будет жить здесь, пусть хоть целую армию присылают. Не хватало еще на старости лет куда-то переезжать, пусть даже с доплатой. Не нужно их воровских денег. Только бы само государство не решило этот дом присвоить. Уже ходили слухи, что собираются перестраивать в гостиничный комплекс. Потом, правда, стихло, но это не значит, что рассосалось окончательно. Хорошо хоть, что здесь еще живет кое-кто, у кого большие связи там, на самом верху, поэтому есть надежда дожить на старом месте.

Тут они, шагок за шагом, приближаются к самому существенному и, понятно, самому тайному.

Роза Сергеевна (Наталья Фатеева) интригующе смотрит на Коновницына (Дмитрия Певцова): а чи-

тал ли он знаменитую «Розу Мира» Даниила Андреева? И, не дожидаясь ответа (деликатность), продолжает: так вот, в этом самом доме (длительная многозначительная пауза, широко раскрытые выцветшие, когда-то, вероятно, красивые голубые глаза) и именно в их подъезде... губы, бледнея от напряжения, медленно, старательно артикулируют: *Энроф*, то есть физический слой, оказался наиболее утонченным, так что очень близко сошлись разные миры — светлые и темные... здесь соседствуют *Сальватерра*, *Звента-Свентана*, *Ирольн* и те, она не хочет называть главного страшного имени, что представляют от него, — *Гистург*, *Фокерма* и *Урнарп*, а также всякие уицраоры вроде *Жругра* — тоже сами по себе фигуры.

Нет-нет, зря он на нее так смотрит, она не преувеличивает: здесь не обычное место, здесь, как бы это поточнее... — пространство всемирной схватки, и они — в самом ее эпицентре. Собственно, все, что было со страной, начиная с семнадцатого, это ведь не случайность. Соседка снизу, Нина Буйко, считает, что лучше съехать, чтобы отдалиться от здешних пересечений и проекций, а ей кажется, что все равно бесполезно — устраниться невозможно. Тем, кто уже оказался в этом ареале, назначено до конца избыть свою карму.

— Гистург, вы сказали Гистург? — изумленно переспрашивает Коновницын (Дмитрий Певцов).

Пальцы судорожно терзают кнопки диктофона, который почему-то не фурычит.

— Жругр, — мрачно произносит Роза Сергеевна (Наталья Фатеева), лицо ее сереет, словно покрываясь пеплом.

— Фокерма, — голос у женщины просевший, глухой, тусклый.

— Вы уверены?.. — с трудом выдавливает из себя Коновницын (Дмитрий Певцов).

— Урпарп, — сухой старческий палец прикасается к бескровным губам.

Коновницын (Дмитрий Певцов) бледнеет.

— Грутсиг. — Глаза ее багрово вспыхивают, будто отразив невидимый закат.

Диктофон вдруг снова начинает издавать какой-то утробный жалобный писк.

— Мурфатлар. — Она делает шаг вперед к враз обессилевшему Коновницыну (Дмитрию Певцову).

«Шпион... Враг народа... Вредитель...» — тоскливо проносится в его сознании.

— Бергамот. — Ноздри ее трепещут.

— ...

Бахтин, Эрзя и прочие

— Слушай, ребята эти из, как его, Саранска... Чего ты на них набросился-то, с Бахтиным? Ну что они его не знают... Помнишь, в Сокольниках?

Ага, Саранск, Сокольники, странное пересечение. Кое-что помнилось из той истории, хотя крепко тогда набрались. Дурацкая память! Чего только не цепляется, самое разное — непонятно зачем. Сколько ни пытался — не избавиться. А ведь старался. Заслоняло от чего-то главного, что должно входить другими воротами. Где-то прочитал (кажется, у Фромма): не надо ничего запоминать специально (птицы небесные не сеют и не жнут), просто пропускать через себя — самое существенное останется (что?).

Может, и впрямь. Классно они тогда в Сокольниках — поутру память прошивали черные сполохи пустоты. Белые пятна свободы.

У свободы не должно быть памяти, знание не связано с памятью, оно — часть чего-то другого,

если, конечно, подлинное. Знание — все равно что незнание.

Так вот, в тот раз он действительно прицепился к незнакомым ребятам с Бахтиным, а потом и с Эрзей (еще не легче). Почему они, собственно, обязаны знать? Только потому, что в Саранске живут?

Саранск, Бахтин, Эрзя...

Молодые, лет по восемнадцать-двадцать (три парня и две девушки) — что им Бахтин?.. (Что в имени тебе моем?) И что ему эти ребята, да и Бахтин, впрочем?

И чего вдруг вспомнилось?

Случайно столкнулись со старым приятелем возле пивного ларька на рынке (особое, даже среди прочих значимых топосов отмеченное место) — теперь часто проводит тут время, топчется с прочими завсегдатаями, бродит неприкаянно вокруг, замороженный гением места, провонявшего халтурным дешевым пивом, рыбой и, понятно, чем...

— Еще про этого, про скульптора, ну как его...?

С памятью у приятеля все в порядке. И от пива здешнего морщится, не нравится ему.

Ага, Эрзя... Из сумрака — тела и лики, будто из куска дерева (дерево-память), из неодушевленной косности материи. Словно пытались вочеловечиться. Мука бесформенности. Мука и счастье как бы самозарождающейся — волшебство творца — красоты. Мордовский Роден... Ведун.

Сам видел, там, в Саранске (ездил когда-то в командировку). Приятель тоже не знал про Эрзю.

А ему-то самому зачем?

«Изабелла» тогда в Сокольниках рекой текла. Почему-то именно ее пили (открытая кафешка у входа в парк). Аромат — как у *той* «Изабеллы» (вот!), кото-

рой баловались много лет назад в Крыму (пешком и автостопом, налегке, с ночевками где придется, на пляже, в горах, на случайном подворье). Студизы. Густой пряный аромат винограда, чуть отдающий медом, и вдруг — йодистый запах моря и водорослей, южное горячее солнце, волшебное ощущение *той* жизни...(вот оно!).

Это — знание?

Они пытались удержаться на волне, как тогда, купаясь в шторм, — наливали и наливали в белые пластмассовые стаканчики...

— Да-да, в вашем городе... Бахтин. Михаил Михайлович. Не, правда не в курсе? — искреннее такое, нетрезвое удивление.

Так и должно было случиться. Или что-нибудь подобное. Выпив, становился не то что бы агрессивным, но начинало нести — лез во все дыры, ко всему цеплялся, был бы повод. Повод обычно находился (был бы человек). И вот, внезапно разволновавшись, что компания с ними за столиком — из Саранска, привязался с Бахтиным.

Вроде и не сильно пьяный.

Как так? Не знают, оказывается, Бахтина! Того самого, из последних могикан. Филолог (кто-кто?). Ну да, ученый... В Саранске жил в ссылке.

Не знали. И вообще они не по этой части (из какого-то техникума), в Москву приехали погулять, поразвлечься на нищие свои копейки и вот теперь кутили в Сокольниках, пили пиво, захрустывая картофелем из шуршащих пакетиков.

Он им всем налил «Изабеллы» — за Бахтина!

Настырный.

— А Эрзю, братцы, Эрзю-то вы должны знать! Он-то точно из ваших, великий скульптор, музей его у вас в Саранске замечательный.

Это он, можно сказать, на рожон лез, потому что парни уже поглядывали чуть ли не с ненавистью, словно издевался над ними (девушки смущенно улыбались). Знать-не ведали ни про какого Эрзю, и про музей тоже... Кто-то, правда, вроде стал припоминать (или чтоб отвязаться).

И снова всем налил — за Эрзю.

Хорош он был — лохматый, обросший бородой, в старомодных широких брюках, снизу заляпанных грязью, кроссовки прохудившиеся, куртка с налезавшим на голову капюшоном, в общем, бомж не бомж, но что-то в этом роде (вольный философ). И лезет с дурацкими вопросами, имена какие-то незнакомые бормочет, которые им, видите ли, почему-то надлежит знать.

А пошел он!

Собственно, они-то как раз и воплощали нормально идею незнания. Не исключено, завидовал им. Никкак не давалось ему, что так легко и естественно выходило у них, славных (лиц не помнил), разжившихся где-то деньжатами для столичных каникул.

К нёбу клеился аромат «Изабеллы», приправленный тоской; пепел от быстро сгоравшей сигареты крошился на стол, на куртку, разлетался на прохладном ветру: их незнание — не то же самое, о чем грезились. Просто не подозревали ни о каком Бахтине. Жил и жил (и они жили — жили?)... Как и Эрзя...

Потешно им было (перемаргивались с иронией) выпивать за каких-то там неведомых Бахтина и Эрзю.

Во дает мужик — наливает и наливает. На халяву почему не выпить, даже и портвешка, мужик копейки считает, но все равно еще за бутылкой бежит, опять будет лапшу на уши вешать... А вообще достал — грузит, что Бахтин этот что-то шибко умное накропал, Эрзя с какими-то деревянными скульптурами... Слу-

шай, мужик, отвали, лепи кому-нибудь другому про этих, как их там, а у нас свой базар...И портвейн свой забери, сам пей, если хочешь. Утомил... Не порть праздник!

Еще бы немного — и подрались.

А все равно хотелось знания — не того, о чем можно рассказать, а чтобы равно как жизнь — неразъемно...

Любовь к королевским креветкам

Люблю креветки. Крупные, розовые, мясистые, с колко щекочущими длинными растопыренными усами...

Королевские.

Это во сне приснилось — что креветки. Но дело даже не в них, а в том, что — «люблю».

Люблю... Такая фраза, которую приятно почему-то произносить, словно любить креветки — подвиг или благодеяние. Хотя никакими креветками тут даже не пахнет, им просто неоткуда взяться в этом углу.

Автомат в руки — и пошел! Какие, блин, креветки!

Впрочем, все дело именно в «люблю», а вовсе не в креветках, хотя и в них тоже. Соленоватый ароматный сок стекает по губам. Если любишь, с пивом, понятно, особенно, то значит как-то глубинно связан с этой странной, чужеродной жизнью, даже если она имеет тебя в лице старшины и прочих военачальников. Это как-то по-настоящему, не то что игра с ору-

жем: собери-разбери, все эти марш-броски по пустынным туманным лесам и полям с нахлестывающей по мягкому месту саперной лопаткой и натирающими в кровь ноги кирзачами, под капающими с веток крупными серебристыми каплями утренней росы... Даже если в горящую избу или под танк с гранатой — все равно по-игрушечному.

Если любишь креветки, пусть даже отсутствующие (в здешних краях они точно не водятся), то значит, существуешь. Именно ты, а не кто-то другой, который мог бы любить что-то другое или, наоборот, не любить, и это тоже была бы некая аутентичность. Значит, еще не полностью тебя выело, кое-что осталось. Хотя бы креветки...

Нежно розовые, как лепестки цветка, бледнеющие к краям, на белой тарелке рядом с уринно мерцающим пивом. Фламандской школы пестрый сор... Как-то съели с приятелем под пиво столько (пива тоже было много), что по телу поползли розовые, похожие на этих самых креветок небольшие, зазубренные по краям пятнышки, и потом никак не хотели исчезать, чесались противно. Но это будто не с ним, а с кем-то. Вообще все, что на гражданке, казалось, было не с ним, а с ним — ничего, и вообще непонятно: с ним — с кем?

А вот с тем, кто никак не может нормально намотать на ногу вонючую портянку, отчего на ноге потом кроваво-розовые креветки, то бишь мозоли, и мучительно ступать — не то что ходить строем и тем более бегать. Больно ведь ему, а не кому-то другому.

Вообще с этим: люблю-не люблю — тоже непонятно. Как и с вопросом: хорошо или плохо? Задавать его — значит, обрекать себя на постоянный выбор: что лучше, где лучше... Нос держать по ветру. Место занимать поскорее в автобусе — где трясет поменьше, солнце не жарит, не толкают и не давят, не

нависают, не дышат в лицо, на ноги не наступают, сумки на колени не ставят, колбасой с чесноком не воняют, свет не застят и пр. и пр.

Найди-ка такое место!

Нет, ко всему в жизни надо относиться иначе: сборы так сборы, мозоли так мозоли, стрельбища так стрельбища, через два дня так через два дня... Опять же: что ни делается — все к лучшему. Могло быть хуже. Но если хуже (где мера?), то все равно хорошо, потому что могло быть еще хуже.

С запасом нужно мыслить!

Гогоберидзе, князь (может, и в самом деле), простодушно интересуется, сильная ли при выстреле задача. Никто ему не верит, что князь, потому что тогда бы не шлепал кирзачами в густом облаке пыли под одышливым смурным северным небом. И потом, был бы князь, жил бы себе в особняке с красной черепицей под чинарами или мандариновыми деревьями, услаждался бы горным звонким воздухом, снежными бы вершинами любовался.

— Не дрейфь, парень, не убьет. Главное, правь в землю, когда заряжаешь, — насмешливо инструктирует Витя Попов, в прошлом десантник.

О том, что он — десантник, знают все, даже те, кто не знаком с Витей. Легенды ходят про то, как он ходил в разведку, а посмотреть, как он работает на турнике или даже просто разминается, сбегаются из других взводов. Мышцы — и продольные, и поперечные, — почти как у Шварценеггера. Такому и автомат ни к чему. Беспокоит его, однако, возможное соседство с Гогоберидзе на стрельбищах.

Князь обиженно отворачивает смуглое горбоносое лицо с нежной, как у девушки, кожей.

Гогоберидзе хуже, чем Олегу. Его густо поросшее черным аристократическим волосом холеное тело

страдает буквально от всего: от желто-серой пыли по дороге в столовую, взбиваемой их решительными шагами, так что в двух метрах ничего не видно, от писклявых юрких комаров и жирных кабанистых слепней, от ночного мозглого холода и сырости, от полутухлых рыбных консервов десятилетней давности и салоподобного комбижира вместо мяса... Его изящные небольшие ноги органически не выносят жестяных кирзачей, как, впрочем, и бодрой ходьбы строем — никак не удастся князю попасть в такт. За десять дней лагерной жизни нарядов на три месяца.

Так вот, креветки... Верней, стрельбища.

Это им предстояло — стрельбища.

«Калашников» вычищен, смазан, можно теперь и просто посидеть, установив автомат меж колен и опершись руками на дуло, как старичок на палку. Они здесь все старички. Теперь нет молодых — все старые. У кого животик, у кого порок сердца, у кого печень на грани цирроза. Тело вяло сгибается, отдельное. Прилечь бы, скользнув с узкой, крашеной в зеленый, жестко врезающейся в ягодицы скамейки, которую и скамейкой-то грех называть — так, жердочка для птицы. Чтоб не рассиживались. А славно бы вытянуться на травке, на песочке, на кровати, да где угодно — чтоб горизонтально.

Впрочем, угнетает не столько даже усталость, не такая уж страшная — после позавчерашнего маршброска вроде оклемались, сколько — шут его знает что? В ночных королевских креветках — что-то загадочное. Кого это он во сне убеждал, что любит их?.. И с чего вдруг? Ничуть ему их не хотелось — ни с пивом, ни без. Они с приятелем смачно высасывали из них сок, зажевывая соленоватой вкусной упругой плотью, похрустывая попавшейся на зуб ломкой роговой оболочкой.

Сми-и-ирн-а! Шаа-а-гом м-а-арш!

Между прочим, ничего особенного: ну, грязь, ну, жратва поганая, ну, мерзло по ночам (можно не раздеваться, в гимнастерке даже удобнее — по тревоге вскочил, ноги в сапоги и вперед)... Немного совсем продержаться. Дни бесконечно длинные, тягучие...

Главное — зачем?

Вокруг же лето, земляника уродилась на удивление крупной, сочной, тает во рту, оставляя алые подтеки возле потрескавшихся от жары и пыли губ, небо то серое, то голубое над высоченными соснами, но все опять же отдельное, — мимо. Как будто из зарешеченного окна.

Впрочем, иной раз и удавалось — вытянуться на травке, земляничку подхватить, растереть языком о небо, высасывая сладкий сок и вдыхая божественный бархатный аромат.

Однако ж, не то. Не получалось. Иногда вроде и прорвется, но как-то быстро и потухнет.

— А что ты думаешь? В свое время я делал из пятидесяти сорок восемь, — бойцы (Витя Попов) вспоминают минувшие дни.

Князь вяло иронизирует: вах-вах...

Попов хмурится грозно и поигрывает узловатым мускулом. На открытый конфликт ему идти лень, да и бесславно: не князю с ним тягаться, хоть он и князь (будто).

Возносятся над головой мачтовые сосны, покачивают верхушками, от их покачивания там, в вышине, от поскрипывания стволов нисходит успокоение. Вдруг забывается каждодневная муштра, бег с полной выкладкой, со стучащим где-то в горле сердцем и резкой колющей болью в правом боку, тухлые консервы... Но в эти же минуты внезапно настигает и странное астматическое замешательство, похожее на отчаяние,

тоже тихое, — чудится: вся жизнь такая — тягучее серое волокно, — вроде и в прошлом ничего, и в будущем, и вообще...

Креветки — что это?..

На поляне перед палаткой дневальный — подбирает шишки. Время от времени замирает на корточках, глубокомысленно склонившись над редкой шишкой, и все тянется, тянется к ней рукой, никак не может дотянуться. Вроде обряда — то ли гадает, то ли колдует. Что-то древнее в его жесте, забытое, довековое. Привстав, разрастается он до немыслимых размеров, зеленым силуэтом врезаюсь в голубую полосу неба...

— На построение!

Народ сморено поднимается, приохивая и пристаивая. Солнце высоко, жарко. Капельки пота скатываются под гимнастеркой, пощипывая просолившуюся заправшую кожу.

Князь по обыкновению ворчит:

— Только присядешь — сразу вставай, что за жизнь? Может, Гогоберидзе отдохнуть хочет. Может, он устал. Только и слышишь: давай, быстрее, беги, вставай, иди... Нет, чтобы: полежи, Гогоберидзе, отдохни!

— Меньше рассуждай, ё-к-л-м-н, легче жить будет, — тонким немужским голоском блеет Костя Махов и нежно рассыпает такую матерную руладу, что любой грузчик позавидует.

Костя крупен телом, но безмускулен и женственен в движениях. Голос его мягок и мелодичен, когда он напевает что-то, но с той же мелодичностью (чаще чем поет) он сыплет забористой матерщиной. Не мат — песня!

— Ты, князь, не рассуждай, — неожиданно для себя встревает Олег, — лучше спевай, как Махов. Или матерись. Авось полегчает.

— А тебе что, не нравится, как я пою? — мрачнеет Махов, и уши у него креветочно вспыхивают.

Нравится — не нравится. К сердцу прижмет...

Живые, они шевелят длинными своими усами. Возможно, это вовсе и не усы, а щупальца. Что-то вроде рачьих клешней, только поменьше. И томные выпученные глазки.

Ясное дело, лучше когда ветер шумит в верхушках сосен, когда поскрипывают трущиеся друг о дружку ветви, когда свиристит цикада или чирикает пичуга, а еще лучше — когда все вокруг немеет внезапно, замрет, как в предгрозовую минуту.

Именно здесь к нему пришло, в лагере, такое желание, чуть ли не жажда — полной, едва ли не окончательной тишины. Настолько полной, какую и представить себе трудно. Тишины-немоты. В нем уже была (свернулась клубком), и странно, что вокруг еще что-то говорит, пиликает, скрипит, попискивает, напевает, скрежещет, дребезжит, дрынькает, тенькает — живет...

Два следующих дня Олегу отчетливо плохеет.

То есть опять же вроде ничего, но вдруг ни с того ни с сего насморк, платок насквозь мокрый, липкий, так и таскает его скомканным в кулаке — поближе к носу, в голове раздражительно-мутновато, как обычно при насморке. Внезапно нахамил взводному, неплохому в общем-то (не выслуживается) парню. Впрочем, в тот момент и в мыслях не было: хороший-плохой... И когда чуть не сцепился с Витей Поповым из-за князя, тоже ни о чем не думал, а напрасно — быть бы ему размазанным по ближайшей сосне. Глаза у Вити такие, словно он собирался в штыковую атаку. Не случись рядом обходивший палатки майор, наверняка бы не кончилось взаимным угрюмым переглядыванием.

Жизнь на глазах кособочится: до конца сборов далековато, а у него два наряда в запасе, многозначительное почмокивание и покачивание головой в его сторону бывшего десантника (чтоб Олег не забывал), а в довершение бед — натертая до крови нога (проклятые кирзачи!)...

Погода тоже портится. Долгий косой, с резкими порывами ветра дождь — не спасает никакая плащ-палатка. И без того похожи один на другого — лопухие и гололицые, а теперь в капюшонах и вовсе не узнать. Пыль на дороге в столовую превращается в густую чавкающую грязь, вспухает до щиколоток, засасывает, как болото. Словно не было вчера солнца, жары, ленивого писка комаров над ухом. Жизнь стягивается, съживается в один-единственный, расплзающийся до бесконечности мглистый угрюмый день.

Олега тоже нет. Верней, есть, но как-то невнятно.

Скидываются, посылают гонца, переодевшегося в цивильное — одно на всех, предусмотрительно припрятанное кем-то, — в поселок, в продуктовый магазинчик за водкой или портвейном. Иногда обходятся чифирьком, разводя в укромном лесном овражке маленький костерок и поставив на него закопченную до черноты кастрюльку с отломанной ручкой.

Однажды пустили по кругу сигаретку, с виду вполне обычную, хотя что там разглядишь в темноте? Ломовая оказалась сигаретка, с начинкой, прежде не доводилось. И башка на следующий день разваливалась, словно две бутылки водки выпил, еле поднялся, а потом все норовил выпасть из строя, присесть на корточки, предаться отвлеченному созерцанию — такой философический стих нашел.

Раздражение уже не разрастается, а просто медленно накапливается — кап-кап, откладывается плот-

ным липким слоем где-то возле диафрагмы, эдаким сталактитом-сталагмитом. Олег заглядывает в себя, как спелеолог в неведомую пещеру, пытается протиснуться сквозь ледяные и каменные наросты... Еще б знать, что это такое — *самость*, то есть его *самость*, его «Я», ну да, то самое...

Креветки. Люблю — не люблю. Аллергия у него на них — небольшие розовые пятна по коже, словно ободрался обо что-то. О розовый ноздреватый панцирь.

Может, и не было никогда у него этой самости, а только казалось. Какая, к, самость? В ногу идут — хочется песни, хором, под гулко отбиваемый шаг: не плачь, девчонка, пройдут дожди... Славно, когда хором, в одну глотку — прохладные щекотливые мурашки по потной коже. Восторг, чуть ли не счастье — подхватить, подхрипеть, подгугнить! С надрывом, с присвистом, с притопом — левой, левой (кто там шагает правой?), левой!.. Гогоберидзе, мать твою, ну-ка подтянулся, тебе что нарядов мало, левой, левой, не плачь, девчонка, левой...

Дожди не проходят...

В палатке вечером включают карманный фонарик, подвешенный к одной из распорок. Кто-то подшивается, кто-то карябает письмецо. Взводный, педант, лепит пластырь в места, где палатка подтекает — кап-кап...

— Ну и погодка! — бурчит кто-то.

— Да, погода дрянь, — сумрачно откликается взводный. — Я когда служил, у нас парень один в такую погоду застрелился. Осенью.

— Как это? — интересуются.

— А вот так, — почти сердится взводный, — пошел на пост к складу, «Калашников», естественно, с боевыми. Дуло в брюхо, ногой на курок... И привет. Так никто и не узнал, отчего. Вроде парень как парень,

ничем не выделялся, не замечали в нем ничего особенного. И на тебе!

— Псих наверняка, — презрительно сплевывает Витя Попов. — Неврастеник. Все они такие.

— Сырость не разводи — не в хлеву! — неожиданно свирепеет взводный. — Расхаркался тут...

— ???

— А то... На улицу иди плеваться!

Во как.

Ну да, вяло тянется мыслительный процесс в Олеге (никак не устроиться ему поудобнее на жестких нарах), все просто. Ничего того парня, значит, не держало. И не прельщало. Ну а его-то *самого* что держит, собственно? Да, вот его лично? Там ли, здесь ли? Там — все равно, что здесь, и здесь — почти как там. Даже если здесь, то запросто можно очутиться там или где-нибудь еще. Все элементарно, никому не нужно и без разницы...

Смутно в нем ворочается, тяжело, тоскливо, но на каком-то очередном витке внезапно, в одно мгновение, вызревает и проясняется: ему тоже не надо...

Не хочет он!

А главное, решить-то все можно скоро и легко, не откладывая в долгий ящик. Хоть бы завтра!

Так любит он креветки или нет? Хорошо это или плохо — стрельбища? — вертится дремотно под мерный круглый перестук дождевых капель. Автомат «Калашников». Пистолет «ТТ» с тремя боевыми. Взять и выйти из игры — сразу. Может, не выпадет больше такого шанса. Единственное право, на которое не приходится никаких обязанностей. Вообще ничего. Вышел он, извините...

Взводный будет рассказывать: в один дождливый день... Десантник Витя Попов презрительно сплюнет. Князь ворчливо вздохнет: эх, жизнь!

На самом краю сна всплывают в розовом сполохе топорщащиеся в разные стороны острые усы креветок: *ничто* — хорошо это или плохо?

Утро стрельбищ пасмурное, но теплое. Тучи ползут низко и не быстро, хорошо хоть без дождя. Мир с затерявшимся небом сузился, оплотнел, затяжелел, словно насквозь пропитался влагой. Тихо и как-то глуховато, и в тишине этой со стороны полигона — гулкие, дробные удары. Бух, бух...

Олег напряженно прислушивается — то ли туда, то ли внутрь. Вчерашняя полусонная ясность замутнела, как будто не с ним. И весь какой-то тусклый, невыспавшийся, нетвердый — даже на ногах. Левая побаливает в икре — ночью свело судорогой, вскочив, лихорадочно тер ее, пока наконец не отпустило, но остаток ночи получился размазанный, почти бессонный.

На опушку, где расположился, дожидаясь своей очереди, их взвод, шумно вываливаются уже отстрелявшиеся — гам и гомон, страсти-мордасти, кто куда попал и сколько очков выбил, раскрасневшиеся азартные лица, веселые, ты куда целился, под яблочко нужно, мушка скособоченная, на курок надо плавнее нажимать, не дергать...

Воинская доблесть распирает, берedit...

— Тренируешься? — спрашивает князь, присаживаясь рядышком на пенек.

От неожиданности Олег вздрагивает и непонимающе на него смотрит.

— Репетируешь, говорю? — Князь медленно поднимает руку с вытянутым вперед указательным пальцем — вроде как целится, ребячливо пыхает губами.

— А... — Олег смущенно отводит взгляд. Даже не заметил, что действительно как бы пробует, машинально вскидывая руку.

После стрельбы из «Калашникова» все чрезвычайно возбуждаются. Оказывается, и у них во взводе народ не без способностей. Майор расцветает на глазах. Даже князь не оплошал, такие чудеса, не говоря уже про Витю Попова.

Олегу, увы, похвастаться нечем. При стрельбе он нервничал, никак не мог приладиться к автомату, ноги мешали, все мешало, он дергался, ворочался, как на нарах, пытаясь поудобнее поставить локоть, елозил ногами, в результате пули уплывали куда-то вверх, в какую-то невидимую небесную мишень. А ведь ему хотелось, правда, очень хотелось попасть, просто позарез (если даже Гогоберидзе). Самому противно — так хотелось.

Как же все-таки получилось с тем парнем? Что он думал, что чувствовал в те минуты? Особенно в предпоследнюю, когда решилось для него. Так Олег и брал автомат, словно не он, а кто-то другой, может, именно тот парень, из той дождливой осени, из той жизни.

Туда, где стреляют из пистолета, они идут вдоль леса. С сосен слетают на гимнастерку, на лицо запоздалые капли, густо, хмельно пахнет землей и хвоей. Кое-где между ветками застрял и медленно истаивает туман. И вдруг словно пронизывает от кончика носа до мизинца левой ноги: все это непременно кончится, и даже не когда-нибудь, а гораздо раньше, через пару месяцев, меньше, через полтора, он сможет пройти по такому вот лесу вольным казаком, ну да, он будет свободен, как никогда в жизни, и лес будет принадлежать ему, и поле, только ему, никому больше. И вообще все, о чем он не думал никогда и в чем, оказывается, так остро нуждался. Вдруг доходит (словно разменял сразу пару десятков лет), что можно, вернее, нужно, просто необходимо — иначе, по-

другому, а как по-другому — это он еще сообразит, успеет...

Теперь же — почти счастье: вот он, лес!

Пронзило и исчезло, как не было. Только зябко и отрешенно сделалось. Словно солнечным лучом просквозило. Правда, лес все-таки был, вот он, стоит, прицелившись соснами в небо.

...Стреляют по трое. Заходят в дощатое строенье — то ли ангар, то ли амбар, и потом там бухает: раз, два, три... Опять же по три на брата. Ровно три патрона. Ровно столько, сколько достаточно. Встать, крепко упереться ногами в землю, медленно поднять напряженно вытянутую руку, совместить прорезь прицела с крошечным бугорком на конце ствола (мушкой)...

Осень была, когда тот парень... Грибами, наверно, пахло и палыми сырыми листьями.

Пока тянется и доходит до Олега, до его тройки, он уже раз сто выстрелил и раз сто промазал. В ушах гул и как бы заложило — так втянулся в стрельбу. Трах-бах-бабах! Падай, а то играть не буду! И опять, неотвратно: трах-бах-бабах! На самом же деле нужен всего один, один-единственный, взаправдашний, прямо в яблочко, к нему и подкрадывается-примеривается. Как бы понарошку, но неотвязно, нащупывает момент, когда все совпадет, когда должно совпасть: озноб и решимость, непреклонность и дрожь, когда уже нельзя назад, поздно.

И когда наконец наступает их черед и они идут — примеривается, когда спотыкается о порог (какой ногой?) — примеривается, майор, славный, объясняет в который раз, как заряжать, как целиться, а потом выдает каждому по три, тускло поблескивающих, золотистых, нестрашных вовсе — примеривается.

Когда же распределяются по позициям — подкрадывается.

«ГТ» лежат на белых табуретках возле каждой позиции, вполне эстетично: черное на белом. Он любит, любит креветки, особенно королевские. Омары, кальмары, трепанги, миноги... Черное на белом. Розовое. Патроны как креветки. Красное на зеленом. Серо-буро-малиновое-в-крапинку...

Натюрморт.

Подкрадывается.

— Эй, ты куда? — ловит за рукав гимнастерки майор, по-житейски так, запросто. — В центре твое место.

— Почему в центре? — сбивается Олег, заприметивший для себя крайнее левое, дальнее от входа и туда целеустремленно направляясь.

— Со второй стреляешь, — майор подталкивает настойчиво, — повнимательней давай!

Приткнули его. Он и сам приткнулся, завис над черным и белым — примериваясь.

— Второй рукой не придерживать! И дулом, дулом от себя, слышите?! — беспокоится майор.

Главное — что?

Не торопиться! Тише едешь — дальше будешь. Дальше — где?

Олег сосредоточенно закладывает патроны в обойму. Рукоятка удобно вливается в мгновенно вспотевшую ладонь, освежая металлической прохладой. Отделившись и подрагивая, рука тяжело поднимается. Теперь — совместить, как их наставляли.

Рядом неожиданно бухают один за другим выстрелы.

Олег плавно тянет пальцем курок, рука дергается. Он зачем-то вглядывается, щурится напряженно в черный кружок мишени — пойдя разбери что там.

Капельки пота щекотно скатываются по вискам, по лбу. Он поднимает ту же правую руку и рукавом смахивает их. Рука предательски дрожит. И весь он дрожит, буквально трясет его мелкой противной дрожью.

— Один остался, — вдруг прямо над ухом голос майора. — Заканчивай стрельбу, отдыхать после будешь!

Один! Когда это успели? Значит, теперь все ждут его, смотрят, как он... Театр одного актера. Так что там с креветками? Ах да, люблю.

Даже теперь, в эту секунду ему не добраться до себя, до того, самого-самого, до *самости* — чтоб совпало, чтоб решилось, чтоб *он*...

После последнего выстрела его и в самом деле как будто нет. Совсем. *Кто-то* плетется на ватных ногах снимать мишень, а потом терпеливо-рассеянно вслушивается в негромкий хрипловатый голос майора, итожащего результаты: семь, девять, пять... Палец тыкается во вспученные на темном круге отверстия: перетянул, братец, отдыхал долго...

Братец.

Олег кивает.

Снова мелкий колкий дождик. Под сосной мирно покуривает отстрелявшийся взвод. Олег садится на сырой мох, медленно передвигается поближе к толстому, пахнущему смолой стволу, к ребятам. Достает сигарету, прикуривает. С прикрытыми глазами (веки тяжелые, не поднять) видит отчетливо, как по сапогу, по голенищу карабкается большой рыжий муравей, пухлый, как разварившаяся креветка...

Пандус

Слово такое.

Для сведения (кто не знает): пандус — наклонная площадка для въезда или входа в здание, с этажа на этаж, — вместо лестницы.

То есть понятно: лестница — чтобы ходить, пандус — чтобы въезжать или что-то вкатывать (выкатывать), тяжелое и громоздкое, к примеру, хоть бы даже детскую коляску. Либо инвалидную.

В общем, полезное такое приспособление, учитывающее разные ситуации и призванное облегчить человеку какие-то его действия.

Цивилизация, одним словом.

Правда, в нашей стране на это никогда не обращали внимание (да и сейчас не особенно). Мало ли у кого какие проблемы? Жить легче — вовсе не означает жить лучше. Ничего, и по ступенькам коляску (хоть детскую, хоть инвалидную) можно скатить, не

страшно. В конце концов, инвалидов не так уж много, а этих самых инвалидных колясок и того меньше.

И все-таки...

Про это «все-таки» мы подумали, вспомнив семейство К.

В своем доме они прожили уже лет тридцать, если не больше, то есть столько, сколько дом стоит. Таких старожил по пальцам пересчитать: кто разменялся и переехал, кто оставил квартиру детям, кто уехал на постоянное жительство в дальние страны, а кто и...

Не в этом, впрочем, дело. Собственно, почти столько, сколько живут они там, столько и не было в их доме пандуса. Поначалу им, впрочем, и не нужно было. Никто о нем думать не думал и даже слова такого не знал, как и многие, кому не нужно. Все происходило исподволь (безотносительно), как обычно и происходит, а потом — гром среди ясного неба: рассеянный склероз (у мужа)!

Медленно подбиралась болезнь, незаметно, а потом раз — и прижала, да так, что человек уже на себя не похож, и с каждым месяцем, а то и неделей все хуже и хуже... Увы, все только в одном направлении: с каждым годом все больше превращается в инвалида, пока не перестает двигаться без посторонней помощи, и вот тогда...

Хорошо, если у больного в таком состоянии есть подмога, и не какая-нибудь казенная, а своя, домашняя. Когда близкие имеются, кому он дорог и кто готов заботиться о нем из одной только любви или сострадания (или даже из чувства долга).

Так вот, Вероника, жена, преданно за ним ухаживает (собственно, и живут на его инвалидную пенсию). Веронике уже не до работы — мужа надолго одного не оставить (только в магазин сбегать или в

аптеку за лекарством, слава Богу, недалеко). И ладно бы совсем к концу жизни, как чаще всего бывает, так ведь нет — совсем они еще не старые, всего-то чуть за пятьдесят.

Буквально на глазах муж становится все более беспомощным. Сначала еще ходил с палочкой, потом — поддерживаемый женой, а теперь если и встает, то только с посторонней помощью, слова произносит невнятно и вообще — как маленький ребенок.

Такая вот реэволюция.

Но ведь человеку и в таком состоянии надо жить (и хочется), и на улицу, на свежий воздух ему надо — только как?

Вот тогда и приобретается за немалые деньги (из семейного скудного «нз», изрядно его опустошив) инвалидная коляска, спицы на колесах блестящие, как у велосипеда, — больного в парк вывезти, благо совсем рядом, небольшой, но достаточно зеленый, с раскидистыми липами, кленами и березовой аллеей (красота!). За город все равно не выбраться, но и такой глоток воздуха — отдохновение для души, в тесных стенах истосковавшейся.

Да, так вот о пандусе — собственно, вокруг него и разворачивается.

Инвалидную коляску спускать и поднимать по лестнице с живым неподвижным человеком трудно, особенно слабой женщине. Муж — крупный, широкий в кости, тяжелый (хоть и уменьшился, похудел неузнаваемо). Тяжко видеть растерянность и страдание в его глазах, все ведь понимает — как она с ним мучается, сколько ей хлопот с ним и что проклятая болезнь не только его лишила нормальной жизни, но и обоим им все испортила. Ему больно смотреть на нее, а ей — на него, хотя все уже в общем вошло в привычку. Судьба такая.

А главное, перспективы нет: лучше уже не будет и ничего не будет, а может быть только хуже (усугубленные болезни). Еще и вопрос — что лучше и что хуже (даже в смысле самого плохого), но этим вопросом лучше не задаваться.

Впрочем, все относительно. Иногда и пандус (из каких-то иных сфер, с перезвоном слово) — перспектива, и Вероника думает о нем как об избавлении. Тогда бы и парк был доступней, они чаще бы смогли бывать на свежем воздухе, не как за городом, конечно, но все же... Кто знает, может, и болезнь не так быстро бы прогрессировала.

Да, иногда и пандус — надежда.

Положить два рельса, наклонный металлический лист, вот и все. И не только им одним хорошо: мам с детскими колясками в подъезде тоже хватает, да и старушке какой-нибудь сумку на колесиках не волоком тащить, а по тому же пандусу — раз и готово.

Раз и готово — только в сказке. В реальности все запутанно и непросто.

Вроде и в жилконторе не возражают (слово им известно), и архитектор не против (ему тоже), даже деньги из бюджета готовы выделить — ан нет, не вытанцовывается. Бумагу с ходатайством об установке пандуса должны подписать *все* жильцы подъезда (что не против), все — и добрые, и злые, и всякие...

Только вот «все» как раз и не получается.

Закавыка, впрочем, не в одном слове, многим незнакомом, а в слово между тем часто многое упирается. Не знает человек, положим, слова или не нравится оно ему, вот и причина.

Но вообще-то дело в деревянной, топорно сбитой камерке возле парадной двери — то ли конура для потенциальной консьержки, то ли для дворницкого

инструмента. Испокон веков она там бесхозно торчала, пока ее наконец не оприходовали жильцы со второго этажа (квартира 38), они теперь и пользуются ей как кладовкой для собственных нужд.

Вот они-то и против. И других подговаривают.

Скучная на самом деле история.

Два лагеря, две партии — за и против. И вот Вероника (жена) каждый вечер ходит по квартирам с этой самой бумагой, настуканной на машинке, внизу листа длинной змейкой фамилии жильцов, а супротив — подписи (кое-где). Она уверена, что пандус будет, времени ей не жалко: она готова ходить столько, сколько понадобится, уговаривать, убеждать, умолять...

Она и вообще натура деятельная, энергичная, вынужденно запертая в четырех стенах, и активность ей даже кстати — хоть немного развеяться, отвлечься от грустных забот и тяжелых мыслей... Все же на самом деле понимают: пандус не только для них одних... Почему из-за какого-то чулана, который прихватицировала 38 квартира, другие должны страдать?..

Смешно даже обсуждать!

Смешно не смешно, а обсуждать приходится. И доказывать, и объяснять.

Уверена-то Вероника уверена, а сопротивление этому, казалось бы, естественному и законному начинанию очень серьезное и осязаемое, так что даже в какой-то момент ее уверенность оказывается колебленной. Подозрение читается в глазах некоторых жильцов. Вроде как если кто упорно настаивает, то значит, не просто так ему нужно, а с какой-то еще, потайной, лукавой и наверняка своекорыстной мыслью.

Коляску свезти — это же пустяк, не может быть так банально. Ну да, легче будет, но легче — не аргумент.

И ни к чему про общее благо! Вы лучше честно скажите: *нам надо...* Это уже другое дело. И коляска тут вовсе не при чем. И не подпишем мы потому, что *вам надо*. Вдруг в вашем микрокосме тогда что-то такое устроится, чего у нас нет... Болезнь, ну что болезнь, все болеют...

А пандус — это уже другое, серьезное. Слово и прочее.

Происки, конечно, тоже были.

Одна из жилищек *той самой* квартиры (номер 38) Алевтина, встречая Веронику на лестнице, гордо вскидывает подбородок и, не глядя на нее, важно шествует к себе на второй этаж. А до этого сцена была — Веронике хотелось забыть: крик, злоба, дрожащие губы, брызжащая слюна, ненависть в глазах, — так неожиданно, что Вероника растерялась. Потом много раз всплывало.

Какие ж доводы, если — ненависть?

В каморке хранились вещи, которые Алевтина со своими помощницами возила на оптовый рынок. Бизнес, а кто же будет себе в ущерб?

Владение каморкой, однако, было абсолютно незаконным. Алевтина понимала, что для соперницы это не секрет. Однако ж и консьержка все-таки могла когда-нибудь появиться, а значит...

Каморка (кладовка) — да, пандус (что за слово?) — нет!

И никакие аргументы Вероники, что, дескать, для консьержки совсем не обязательно держать эти жалкие доски, та и без них прекрасно сможет устроиться в их достаточно вместительном вестибюле, не действовали.

Не исключено, что эта Алевтина еще и отстегивала кое-кому из жилконторы — не случайно же там так настойчиво требовали общего согласия.

Однако и Вероника не думала сдаваться: чем сильнее сопротивление, тем активнее действовала и она. В этой маленькой, склонной к некоторой полноте женщине жил темперамент бойца. Конечно, и у нее время от времени случались периоды упадка и даже отчаяния, связанные не столько даже с пандусом (вдруг забывала слово и никак не могла вспомнить, как же *это* называется?), сколько с общей ситуацией. И тогда она не выходила из квартиры, лежала на диване или молча сидела в кресле, тупо уставившись в экран телевизора. Даже и на зов мужа подходила неохотно, преодолевая себя.

Впрочем, длилось это обычно недолго, как-то она с собой справлялась в конце концов, и тогда снова закипала деятельность — мелкий ремонт на кухне или в ванной, перестановка книг на полках или пересадка разросшихся цветов из одних горшков в другие.

Вот и с пандусом она тоже не утрачивала надежды — после некоторой паузы вновь начиналось хождение по инстанциям и жильцам. То у одной квартиры ее видели, то у другой. На разных этажах.

Иногда в обсуждение втягивались соседки (преимущественно) по лестничной площадке, сами собой возникали и другие темы (вплоть до политических).

Осеняло же все эти дебаты неизменно слово «пандус» — все, впрочем, почему-то быстро его забывали (тоже склероз, даже и у молодых), и часто разговор велся буквально на пальцах, как у немых, хотя и понятно, о чем речь.

Пан-дус. Что-то в нем было, цепляющее. Непривычное для уха. Раздражающее.

Слово словом, а дело делом. Можно бы даже сказать, что есть все-таки в мире справедливость (или тяга к равновесию), если бы не связь нашей истории с другой (случайная), таинственной и страшной, а

именно со взрывами в Москве. Собственно, она-то (связь) и дала деятельной Веронике дополнительные козыри.

Снова побежала она по жильцам: что вы, дескать, себе думаете, это же элементарно — загрузить неведомо что в эту каморку, и никто ничего не увидит, а только все может случиться, подъезд ведь не охраняется... и т.д. Известно же, что к Алевтине приезжают со всякими непонятными тюками разные личности, нет разве?..

И ведь действительно — помогло: те, кто прежде сомневался или просто не хотел ничего менять кому-то в угоду, сообразили, что каморка и впрямь может оказаться роковой.

Победа была за Вероникой — пандус стал постепенно превращаться из мечты в реальность.

Не далек и весенний погожий день, когда Вероника торжественно скатит коляску с сидящим в ней мужем по пандусу (пружинящий металлический лист под колесами) на улицу, а затем и в парк, где только что подсохла последняя грязь и полезла совсем юная трепетная травка. Покатит она ее по длинной аллее, вдоль белоствольных берез, и муж будет смотреть на пока еще голые деревья, на струящиеся меж серыми ветвями потоки солнечного света, на плывущие пушистые облака, да и сама Вероника будет жадно созерцать всю эту безотчетную роскошь жизни, жмуриться и время от времени отирать тыльной стороной руки краешки глаз, скорей всего, по причине отвычки от слишком яркого солнечного света.

Так, собственно, и будет. И можно бы на этом вполне благополучном финале поставить точку, если бы не странное смятение в Вероникиной душе, даже как будто усилившееся: вроде пандус есть (не только

слово) и справедливость есть (приятное заблуждение), и выезжать они стали чаще...

И тем не менее...

То ли слишком много энергии ушло на уговоры соседей и беготню по всяким инстанциям, то ли уверилась она в человеческой отзывчивости — не по себе ей как-то: ну да, пандус, а что дальше?

Дальше-то что?

Может, дело вовсе и не в нем.

А в чем тогда? (Не во взрывах же.)

Не в слове же — оно и вовсе ни в чем не виновато (от французского *penie douce* — пологий склон).

Вполне определенного ответа, увы, нет и у нас.

Бывает же так, что человек устремляется к чему-то всею силой своей души, делает все, что может и не может для осуществления своей цели, а почти достигнув или достигнув всецело, падает в изнеможении — и вдруг осознает с горечью, что цель была лишь призраком: и счастливей он не стал, и жить ему не легче, и вообще все не то...

Просто стал он чуть более усталым и нервным, не таким жизнерадостным и энергичным, и вроде не коляска (инвалидная или какая другая) теперь скатывается беспрепятственно по наклонной плоскости, толково устроенной рабочими, а его (ее) собственная жизнь...

Может, и так...

Осиное жало

Если человек к чему и стремится, так это к полноте жизни. Чтобы все в ней было и, главное, по высшему разряду, в смысле концентрации чувств и событий, которые только и придают ей подлинную ценность. Все остальное не жизнь, а так, прозябание. К полноте же человек устремлен даже подсознательно, хотя может вовсе не думать об этом. Иные за этой концентрацией бросаются во всякие экстремальные виды жизнедеятельности — на байдарках через пороги ходят, по стремительным горным речкам, скалолазанием увлекаются, на горных лыжах кувыркаются, на автомашинах ездят по трассе так, будто это гонки «Формула-1», за женщинами бегают — в общем, ищут себе острых ощущений...

Вдруг это стало понятно, когда Ю. в очередной раз, однако, после довольно долгого перерыва наступил на осу и та, естественно, его ужалила. Лучше

бы он, конечно, этого не делал, поскольку уже пару раз с ним случалось такое, и однажды очень не хорошо, потому что оказалось, что Ю. аллергик, и именно на осиный яд: по всему телу — красные волдыри, глотать невозможно, уши отекли и стали как у чебурашки, в общем, чуть не околел. Пришлось даже скорую вызывать, и доктор определил какой-то там шок, что у аллергиков бывает, а коли так, то Ю. теперь в летнее время нужно постоянно иметь при себе лекарства, иначе ненароком можно и в ящик сыграть.

Поразительно, конечно, что от такой мелкой твари, как оса (или пчела), можно лишиться жизни, буд-то это яд какой-нибудь жуткой гюрзы или скорпиона, но что есть то есть, теперь ему следовало быть осторожным. Он и был бдительным, но на осу тем не менее снова наступил, глупо так — зачем-то решил босиком походить, смелый такой. Да ведь с другой стороны, что за жизнь, если даже босиком нельзя по июльской, щекочущей ступни травке, особенно в погожий денек, когда все вокруг плавится от зноя?

Жало он, понятно, вытащил и даже попытался выдавить яд, а потом стал, бедный, прислушиваться к происходящему в себе — как-никак знал, что ему грозит как аллергику. С осиным ядом внутри, медленно растекающимся по организму, наш герой ходил по саду, где все приключилось, и ощущал, как охватывает его жар, в висках начинает стучать, зуд возникает в разных местах, глотать все труднее, уши наливаются тяжестью, звуки будто сквозь вату — что ни говори, острые ощущения, своего рода русская рулетка: быть или не быть, вот не примет он сейчас соответствующие меры (лекарство) и неизвестно, что за всем этим последует.

Может ведь статья, что...

К тому же внезапно начинает он чувствовать, что дышится иначе, то есть плохо дышится, трудней и трудней, воздуха не хватает, он пытается вдохнуть, да не тут-то было — не идет воздух в легкие, не втягивается, не проникает, словно преграда некая — тогда-то и накатывает на него волна ужаса, он бросается принимать лекарство, в сумке судорожно роется, таблетки выскальзывают из дрожащих пальцев...

Но... но при этом даже как бы некое наслаждение — что вот жизнь его прямо сейчас, без дураков, буквально на волоске, независимо от того, верит он в то или не верит (все ведь и в самом деле возможно), и ах как приятно, да, щемяще, вдохновенно, муторно, сладостно, головокружительно — не верить в это и в тоже время самым краешком сознания, на самую толечку *допускать*: не помоги лекарство, не справься организм и, увы, — прости-прощай...

Ну кто скажет, что не кайф, не полнота жизни?..

Вот теперь бы уточнить: осиное жало осиным жалом, но в некотором роде также и метафора. Ведь ощущать растекающийся по организму яд — это может стать потребностью и даже необходимостью, как для наркомана доза зелья, а для курильщика затяжка сигаретой. Жизнь без такого допинга — вроде и не жизнь. Ни священного ужаса, ни затяжного полета в неизвестность, ни радости воскресения, ни еще чего-то в том же роде. А значит...

И хотя вовсе это ничего не значит, тем не менее наш герой уже попал в некоторую, так сказать, зависимость, а потому нужны ему и другие средства, подобные осиному жалю.

Ну, к примеру, угрызения совести. Кому не ведомы эти муки, тому даже трудно представить. Одному, положим, изменить поднаскучившей жене — раз плюнуть, тут не только никаких страданий, а сплошное удовольствие и развлечение.

Но и удовольствие от такой измены, положи руку на сердце, пошловатенькое. А вот если изменять и при этом испытывать мстительные уколы совести, тут уже совсем другой коленкор. Как же, ведь жена — она, можно сказать, родной человек, она ему доверяет, она себе ничего подобного не позволяет, между тем как он... Ну и так далее. Все вроде и ничего, а тем не менее неуютно.

И что Ю. говорит своей, как бы это получше выразиться, близкой приятельнице, когда та в удобную для этого минуту (у всех разные) заводит разговор о дальнейших отношениях, об их, так сказать, бесперспективности, о том, что она устала и не может вот так больше, у нее, когда он возвращается к жене, сердце разрывается, и не потому, что ревность, а потому, что любит его и не хочет не с кем делить (а кто хочет?)

Ю. говорит, что и он испытывает к подруге самые нежные чувства, но жена (многозначительная пауза) есть жена, к ней чувства, может, и поостыли, но не совсем же. Она для него теперь вроде как ребенок, а кем надо быть, чтобы бросить собственное чадо? И без того сердце за нее болит, что вот им с подругой хорошо вдвоем, а жена между тем одна, ждет его к ужину (даже если и не ждет, а ужина нет и в помине) и никто ее не любит, кроме него, да и то по остаточному принципу. Горько это и несправедливо, она ведь не виновата, что у него вот так все случилось — новое увлечение и вообще...

Ю. вполне искренне говорит так и жену жалеет искренне, а по жилам у него меж тем растекается сладкий яд угрызений, и чем сильнее действие этого яда, тем острее он чувствует если не радость (какая уж тут радость?), то во всяком случае полноту — жизнь, короче, чувствует. Тоскливо ему и даже немного вдохновенно. Да и что он, в конце концов, может предло-

жить нынешней пассивности, к которой его тоже вполне безобдуманно влечет? Будь он свободен...

Впрочем, не стоит так далеко заглядывать, потому как и герой наш этого не делает. А вот вину перед женой он действительно испытывает и подчас от усиления этого чувства (особенно в минуты, подобные вышеупомянутой) с ним случаются приступы удушья, похожие на осиную аллергию: вроде как близок край, но, может, и пронесет — сложное такое, не без приятности, Впрочем, ощущение. А если не пронесет, то тогда неведомо что — и от непредсказуемости чуть ли не восторг в душе, как у моряка на палубе в разгар разыгравшейся бури...

Можно, конечно, привести и другой пример. Тот же Ю., скажем, не любит брать деньги в долг, но если берет, то отдает их не скоро и с муками, и не потому, что ему жаль расставаться с деньгами, которые он привык считать своими, а именно из-за ощущений, при этом возникающих. Деньги — что? Паршивые бумажонки, пусть даже с ними как-то уверенней.

Тут другая коллизия, связанная не столько с одолженной и подлежащей возвращению суммой, сколько с тем человеком, которому Ю. должен. Знает он, что человек ждет, но тем не менее не возвращает — сначала делая вид, что не помнит, потом — действительно забыв, а затем вспомнив и устыдившись.

Вот этот последний момент и становится, можно сказать, решающим: Ю. начинает ощущать покалывания совести, поначалу легкие, а потом (он уже избегает своих кредиторов) все сильнее и сильнее. Ясно же, что подрывает доверие к себе, а главное, сам осознает это, потому что для порядочного человека вовремя вернуть долг — нерушимое правило. Ю. же не отдает и не отдает, даже если деньги у него есть. Непременно находится предлог, почему именно

сию минуту они ему особенно нужны. Но и перед кредитором жутко неловко, поскольку, поставив себя на его место, он, естественно, понимает, что человек к нему, негодяю, испытывает.

В общем, не здорово ему, не по себе, но в этом-то состоянии, с этой жалающей мыслью о собственной непорядочности, он и обретал некую сладость. Ведь, в сущности, еще чуть-чуть — и он в глазах одолжившего ему деньги давнего знакомого не просто упадет, а однозначно будет похоронен. Тот с ним не только больше никаких дел иметь не захочет, но и вообще разорвет все отношения (и будет прав!), да и другим тоже станет известно, что, несомненно, нанесло бы репутации Ю. сокрушительный ущерб.

Каково?!

Что говорить, для такого чувствительного, как Ю., человека это труднопереносимо, но... но вместе с тем и желанно: тоже ведь взлет... Дорогого стоит.

Собственно, и с работой у него аналогично получалось (Ю. — переводчик, и неплохой). Заказов он брал помногу (как и авансов, где давали), обкладывался книгами, выбирая, с какой начать для разогрева, даже споро так продвигался поначалу, а потом вдруг понимал, что явно пожадничал: не только по срокам договорным не успевает, но и вообще что-то не так, не идет и все. Бывало, что страниц по десять в день, если не больше, делал, а теперь иногда и две через силу.

И чем ближе к назначенной дате, тем хуже. Кошмары по ночам начинают сниться, давление подскакивает — не то что за стол себя усадить, с кровати встать трудно. Вот уже и срок подошел, из издательств звонят, интересуются вежливо, напоминают: дескать, как дела, не пора ли?.. Конечно, пора, ему совсем немного осталось. Между тем иная из работ даже не начата, а с другими стопор.

Ну и...

Ю., естественно, нервничает: чем хуже дела, тем больше. Но нервничает со странным таким шекотливым оттенком: вот он волнуется, переживает, как порядочный, не чуждый ответственности человек, даже работа из-за этого не клеится. А когда работа не клеится, то возникает вопрос: зачем?

Не зачем работа, а зачем *всё*? Все вообще, ну, вы понимаете...

Толстовский такой, «проклятый» вопрос.

И оттого, что вопрос такой капитальный, — градус переживаний тоже, естественно, выше. Вообще все выше и глубже.

Ю. уже к телефону не подходит: нет его, нет... И жене строго наказывает: в командировке он. Или в больнице. Может же он, в конце концов, попасть в больницу? Хоть бы и от ужаления той же осы (если лето). А сам мается ужасно: всех подводит, перед всеми неловко, даже перед женой, но ничего сделать не может. Чем больше обязательств, тем меньше шансов как-то выйти из положения. К тому же и авансы потрачены, и жизнь коту под хвост...

Но как бы ему ни худо, однако, и сладко тоже — и что худо, и что жизнь зря, и что перспективы туманны. Вроде как близко к отчаянию, но и к восторгу тоже, отчасти истерическому. Что-то такое во всем этом есть объемное, полновесное, подлинное, значительное.

Нет разве?

Так бедный Ю. и живет в неусыпном совестливом бдении, пристально отслеживая в организме всякие опасные для его жизнедеятельности процессы. Но и не избегая их, а даже, напротив, всячески идя им навстречу и даже вызывая их на себя, как отважный воин огонь противника.

Смелый, даже в известном смысле мужественный человек. Вот только нельзя сказать, чтобы с ним все благополучно. Дерганый он после того осинового ужаления до того, что общаться с ним никакой возможности, да и отношение к нему у знакомых сильно с тех пор переменялось.

Если уж совсем честно, то народ его просто-напросто сторонится, потому как неведомо чего от него ждать можно...

Еще про осиное жало

На этот раз в качестве ужаленного будет выступать С., человек семейный, тихий и скромный, без особых амбиций и завихрений, но, как оказалось, подверженный довольно сильной аллергии на осиный яд.

Впрочем, это можно отнести и к мнительности самого С., который, едва у него что-то начинало болеть, сразу впадал в панику и начинал подозревать у себя самое страшное, что только может быть, летел в поликлинику, бегал по врачам и знахарям, читал соответствующую медицинскую литературу и глотал разнообразные лекарства.

Жена, женщина неглупая и с характером, пробовала подшучивать над ним, но встречала не только непонимание, но и резкий протест в форме своеобразного ультиматума-приговора: «Женщине, у которой нет жалости, нужно жить одной».

Сказано жестко, с поджатыми губами и с неожиданной для обычно спокойного С. яростью в глазах.

А печальный вид его после этого говорил, вероятно, не только о страдании, но и о бестактности супруги. Заболевший (даже если не сильно) нуждается — в чем прежде всего? Ну да, во внимании, причем не формальном, а именно настоящем, искреннем, особенно со стороны близкого человека, для кого он, по идее, должен быть особенно дорог. Собственно, когда и подтверждаются истинные чувства (и союза), как не в таких вот кризисных ситуациях.

Итак, С. был ужален на берегу небольшого озерца, расположенного неподалеку от их дачного поселка, куда они вместе с женой, как и прочие дачники, любили прогуляться. Живописное такое озерцо, с нависшими над ним и отражающимися в воде ивами и прочей растительностью, особенно хорошо там в жару — можно спрятаться в тени деревьев, от воды какая-никакая прохлада, да и окунуться славно. И на закате там приятно. И утром, когда солнце только выкатывается из-за горизонта, вода в озере начинает сверкать, а главное, никого еще нет на берегу, разве что какой-нибудь фанат-рыболов, — тихо и благо-стно, душа поет.

Природа, она дарит благодать — к ней надо непременно приблизиться, для души и для здоровья. Жена С. в этом была убеждена и его склоняла, а он что, и он не против, хоть и не столь восторженно. Но ведь восторженность в женщине — качество вполне органичное и по-своему возвышенное (куда лучше цинизма), так что их прогулки на озеро стали традицией. Другие носом в землю и сразу полоть-копать-грабить, или в шезлонг и к пиву, а они — на озеро или в лес, в поле или еще куда-нибудь — приблизиться-оздоровляться.

Вот и в тот раз они вышли рано поутру к озеру. День занимался жаркий, как и всю эту неделю, припаривать начинало, жена сразу, скинув легкое плать-

ице, бросилась в воду. С. же, вялый еще после душной ночи, просто сидел на берегу, наблюдая за игрой теней. Жена ему улыбалась, вылезая из воды и взбодренная купанием, жена его упрекала, что он сидит и не лезет в воду, даже тапочки не снимает, чтобы походить босиком по травке.

Так вдохновенно и убедительно она это делала, руки протягивая к восходящему солнцу, что С. послушно скинул тапочки и встал босыми ступнями на не успевшую еще согреться росистую травку. Постояв и потянувшись сладко, он сделал несколько шагов в сторону — просто пройти. А вот этого как раз делать и не стоило — тут же он ощутил мгновенный болезненный укол в основание между большим и соседним с ним пальцами.

«Ой!» — вскрикнул С. и, вскинув ногу, судорожно затряс ей, стряхивая все еще висящую на ней довольно-таки крупную осу.

— Что случилось? — на вскрик подбежала жена с наброшенным на шею полотенцем.

— Что-что... А вот и то, — чертыхнулся С., — дернуло же послушаться, сидел и сидел спокойно, а теперь действительно неизвестно что... — Он пытался выдавить яд из ужаленного места, из прокола сочилась прозрачная сукровица, и вид у него был расстроенный. — Теперь надо срочно бежать принимать лекарство, иначе может быть совсем худо.

Жена, огорченно улыбаясь, смотрела на него, пока он натягивал тапок. Нога его и впрямь распухла на глазах.

— Ты только не внушай себе, — сказала она, помня про мнительность С., — может, ничего и не случится.

— Хотелось бы, — отвечал С. мужественно, но все-таки с некоторой поддевкой в адрес жены: откуда такая уверенность, что ничего не случится?

Они быстро устремились по направлению к дому.

— Нет, надо же так, не было беды, так черти принесли! — сетовал по дороге С.

Жена следовала молча рядом и только вздыхала изредка. Что означали эти вздохи, не совсем было ясно. Понимала ли она, чем грозил осиный яд мужу или нет, определить было трудно. Обидно, между прочим: жизнь его висит, можно сказать, на волоске, а до жены не доходит.

Впрочем, для объективности: он и вправду надеялся, что все обойдется. То есть говорил, что может быть всякое, а на самом деле в глубине души уверен был, что все будет нормально. То есть вообще не исключен и шок, и даже летальный исход (аллергия — коварная штука), но только не в его случае.

Невозможно и все!

Но если он уверен, то это вовсе не значит, что жена также должна быть уверена. Ведь кто, как не она, спровоцировала его на босоноготь, а следовательно, была виновата. Только вот чувствовала ли она свою вину?

Он шел, сильно прихрамывая, однако все ускоряя и ускоряя шаг (жена еле попевала за ним), почти бегом. По пути же он, обращаясь укоризненно к спутнице жизни, вслух фиксировал совершающиеся в его организме метаморфозы: вот вспухли розовые волдыри на той ноге, в которую его ужалили, затем также и на обеих руках, сначала крошечные, а потом все больше и больше, расплзаясь, словно насекомые, по коже, теперь зачесались подмышки, лицо стало покрываться красными пятнами... Уже когда были неподалеку от дома, у С. начали опухать уши и стало трудно глотать.

Фиксировать-то он фиксировал, как бы призывая жену удостовериться, а сам краем глаза наблюдал за ее реакцией. Жена же только улыбалась смущенно и продолжала тяжело вздыхать.

Дома С. принял сразу две таблетки супрастина и накапал сердечных капель (тоже не лишне). Делал он это целеустремленно и уверенно, но как бы демонстративно отдельно от жены, виновницы всего происшедшего. Видно же было, что не понимает она его состояния, нет, не понимает, да и возможными последствиями ничуть не озабочена. Вот когда все и проверяется — нет, не ожидал он от нее!

А ему и вправду было нехорошо, очень нехорошо, но разве это объяснишь другому человеку? Другой, даже жена, разве поймет?

Та, правда, принесла ему стакан воды и присела возле, изучающе всматриваясь в его горящее лицо, но этот едва ли не естествоиспытательский интерес вызвал у нашего героя только еще большую досаду.

Тем и коварна, отметим, аллергия, что неизвестно, в какой момент человек из состояния жизни (с глупыми и некрасивыми подробностями опухания, прыщей, волдырей, красноты и Бог ведает еще чего) переходит в состояние умирания (утраты дыхания и превращения в один большой волдырь).

С. не знал, как должна бы реагировать жена, но только явно не так. Нет, взгляд ее должен быть другим, более чутким и сердобольным, в глазах чувство вины и едва ли не отчаяния, что из-за нее...

Ох!

Меж тем уверенность в том, что с ним в конечном счете все будет в порядке (к тому же и лекарство, похоже, стало действовать) не покидала уродливо раздувшегося в разных местах С.

Он лежал на кушетке, положив одну руку на лоб, и печально глядел в засиженный мухами потолок старого дачного домика. Жена то заходила к нему, то, повинаясь его отстраняющему жесту (мол, оставьте меня), выходила, а С. думал, что действительно любящая

женщина в такой ситуации никогда бы не вышла, даже если бы ее об этом настоятельно просили. Либо она, переживая, стояла бы под дверью, напряженно прислушиваясь к тому, что происходит в комнате, — на случай экстренной помощи. Не говоря уже о том, что непременно бы, несмотря на его протесты, вызвала доктора...

Жена же проявляла просто-таки подозрительную пассивность: нет, не относилась она особенно серьезно ни к его состоянию, ни к ситуации в целом. А ведь действительно он в любую минуту мог очокуриться — именно по ее вине: все ее любимая природа, закаты-рассветы, лютики-цветочки, птички-букашки!..

А оса — разве не природа?

А эта ужасная аллергия?

Но печальные мысли С. простирались еще дальше: человеку, даже близкому, никогда не постичь чужой души. Правда в том, что каждый умирает в одиночку.

Да что говорить!

Когда жена в очередной раз показалась на пороге комнаты, он, держась одной рукой за горло, другой сделал жест в сторону стоящего неподалеку стула. С трудом ворочая кадыком, замирающим шепотом он пробормотал, что, похоже, все это для него может кончиться плачевно...

«Ну что ты городишь? — жена возмущенно взмахнула руками. — Так можно себя довести до...»

Тут она осеклась, поскольку С. молча отвернулся к стене и затих.

Нет, не понимала жена или не хотела понимать. А ведь, несмотря на его потаенную уверенность, что все обойдется, действительно становилось все хуже. Он проглотил еще пару таблеток и теперь с надеждой ждал результата. С другой стороны, ухудшение его состояния по-своему даже было ему на руку: в конце

концов, как еще заставить оказавшуюся такой толстокожей супругу понять, что все не так просто?

Известно, что долгая совместная жизнь притупляет чувства: непонятно вообще, что испытывает к тебе (и в какой мере?) близкий человек и вообще испытывает ли. А хотелось бы, между прочим... чего-то другого, эдакого романтического, ну что бы трепет там, волнение, а не только вздохи...

Так, видимо, следовало понимать терзания ужаленного С.

Лежал он лицом к деревянной, старыми пожелтевшими обоями прикрытой стенке и все сокрушался, что нет, не может один человек войти в состояние другого, не дано это никому, а значит, ни настоящая близость, ни сочувствие невозможны, увы...

Тут тропка сюжета раздваивается, как язычок змеи, и автор начинает томиться в неуверенности относительно будущего героя.

В принципе с таким вот глобальным разочарованием в возможностях человеческого взаимопонимания один лишь шаг до самого печального, трагического, можно сказать, исхода, плюс сюда же и мстительное желание доказать, что со стороны героя нет никакого преувеличения, и тем самым на миг (а там и на всю оставшуюся жизнь — жены, имеется в виду) утвердить свою правоту.

Впрочем, автор с присущим ему жизнеутверждающим пафосом предпочел бы другой исход, более оптимистический.

Нет, не надо никакого коллапса, никакого шока, никаких трагедий и ужасов! То же самое разочарование, способное отвратить человека от жизни и лишить его душевных сил к дальнейшему существованию, тем самым потворствуя разрушительным силам в его организме, способно подвигнуть его и на прямо

противоположное. А именно вселить жажду жизни вопреки всему, в том числе и этой печальной правде. Раз так, то и пусть...

Вот и в С. неожиданно просыпается веселое упрямство (тем более что лекарство, кажется, все-таки возымело свое действие): если жену все равно не переубедить, то и не надо вовсе. Совсем уж глупо отдать концы ради доказательства, что ты можешь умереть от такого пустяка, как осиное жало. Даже неприлично как-то.

А посему С. медленно свешивает ноги с дивана и встает. Распрямляет спину. Мнет пальцами затекшую от лежания шею. С сардонической усмешкой смотрит на растревоженную супругу и выходит мимо нее на крыльцо домика.

Почему-то босиком выходит...

И тут вдруг чувствует болезненный укол, теперь уже в левой ступне.

Встречный ход

1

Старше, младше — экая важность!

Скажем, двадцать пять и пятнадцать — разница в десять лет, а словно все тридцать: взрослый и ребенок. А еще лет через десять — почти как ровесники. Условны все эти возрастные мерки, главное — как сам себя ощущаешь. Сложнее, правда, с физическими изменениями, когда человек уже далеко не молод. Вот тут-то, бывает, и... настигает.

Больше, пожалуй, подвержены этому женщины, отчасти даже по причине внешности: физическая привлекательность — вроде некоей гарантии счастливой жизни. И вообще, молодость есть молодость, пусть у нее ни опыта, ни мудрости, — зато веселей, воздушней: и жизнь впереди, и свобода, и беспечность, и...

А если представить, что женщина в возрасте вдруг... ну как бы это сказать, увлеклась (пусть так) молодым человеком, причем не без взаимности, однако чувствует между тем, что дни ее бесповоротно уходят, а молодой человек таким и остается, свежим и бодрым, — что тогда?

Силой молодого человека не удержишь: юные прелестницы беззаботно порхают вокруг, даже не отдавая себе отчета в своем естественном магнетизме, молодые женщины ходят неутоленные, с тоской предчувствуя надвигающийся закат своей красоты и оттого только острее ощущая власть своей зрелой женственности, и все это — против нее, чья душа так неосмотрительно попала в капкан запоздалой привязанности.

Впрочем, рассуждать на эти темы — пустое дело. Безрассудство — такой же закон жизни, как и влечение полов друг к другу. Так случилось, что между Н. и Ф. возникло тяготение, а уже дальше — по хорошо известному сценарию. Подобно морским волнам или речным перекатам, то выше, то ниже, то бурно, то вкрадчиво, то в раскате брызг, то в умиротворенном журчании, то в блеске, то в тихом свечении. И так продолжалось энное количество времени, за какое можно наскучить друг другу, а можно и враспи в другого, как корень врастает в землю — попробуй выдерни!

Только спустя сколько-то там Н. вдруг заметила, что Ф. вроде бы меньше и меньше проявляет к ней интерес (женщины это быстро чувствуют), реже звонит и еще реже забегает в гости.

Ничто их и не связывало особенно, кроме свободного трепетного чувства (тоже немало), никаких обещаний никто никому не давал, да и смешно бы, в их-то ситуации, но от этого и не менее болезненно — вот ведь...

Трудно даже понять, что влекло ее к нему.

Допустим, что взгляд — внимательный такой, словно что-то в ней пытающийся разглядеть, сокрытое. Вроде как он на нее смотрит, а видит другую, настоящую. Ее и не ее. И так она привыкла к этому взгляду, казалось, проникающему в самую душу, что теперь уже не представляла себе жизнь без него.

Тогда-то Н. и поняла, что попалась, что не в силах избавиться от сладостного, но и горчайшего из горьких чувства. Когда же поняла, то, как женщина неглупая, решила постыдных сцен не устраивать — от них только еще хуже, унижительней, а предпринять что-то кардинальное, то есть попробовать изменить жизнь.

В смысле — измениться самой. Ведь если основная причина в перемене к ней Ф., как заподозрила Н., в том, что она значительно старше его, то тут дело серьезное и драматическое.

В одну из тягостных бессонных ночей Н. вдруг привиделось (возможно, сон, но, скорее, все-таки нечто вроде грезы): она стоит на пороге некоего помещения, в которое дверь ей открывает не кто иной, как Ф., всматривается в нее пытливо, даже с некоторой-опаской. Мерещится ему знакомое, однако никак не вспомнить, откуда и почему, что-то в лице его проступает — догадка не догадка, но близкое к ошеломленности (память чувства). Однако он и не верит себе, не получается — и это-то вселяет в нее странную бурную радость, почти восторг. Конечно, ему трудно ее узнать — перед ним совершенно другая, молодая, красивая женщина, но это именно она, Н., вот как...

Собственно, на этом вдохновенном мгновении все и прервалось, дальнейшего не последовало — Н. очнулась с твердой уверенностью, что это вовсе не сказка и не беспочвенная фантазия, а вполне реальная возмож-

ность. Подсказка ей. Человеку по силам многое, в том числе и омоложение, ведь старение — не что иное, как результат безответственного отношения к своему организму, об этом много написано (кое-что она читала), так что остановить его или даже вернуть утраченное — вполне реально, нужно только найти правильную методику да вооружиться терпением и волей.

С этой будоражащей и одновременно успокаивающей мыслью она заснула и уже во сне ощутила потрясающую легкость и энергию, какие только и возможны в молодости, когда не ходишь, а летаешь и все в жизни кажется достижимым и легкодоступным. Даже одеяние на ней совершенно не имело веса, белоснежное, как свадебное платье, и развевалось, будто на ветру.

Любовная энергия (если направить ее в правильное русло), известно, и впрямь может творить чудеса. А если еще приложить ум и некоторые знания, то результат и вообще может получиться фантастическим.

После той ночи Н. обложилась соответствующей литературой — в последние годы появилось неимоверное количество: всякие оздоровительные методики, целительные практики, восточные и западные, родные и иноземные, истории про старцев, которые прожили чуть ли не до двухсот, если не дольше, лет, а выглядели не больше, чем на сорок-пятьдесят, короче, подошла к вопросу вдумчиво и обстоятельно.

Конечно, многое из того, что она читала, а иногда просто проглядывала, оказывалось явной туфтой, даже на ее вполне дилетантский взгляд, но кое-что заслуживало и внимания. В конце концов, на скептицизме далеко не уедешь, нужна доля здорового простодушия, вера нужна, а для веры, как и для любви, — безрассудство. У нее же оно было, впрочем, иначе как?

Больше ее влекли всякие восточные практики: как-то убедительно у них, то есть у китайцев или индийцев, получалось, а главное — доступно (относительно, конечно): человек — не только часть природы, а — составная частица вселенной, космоса, и не просто, а — микрокосм, ну и так далее. Вроде элементарно, но почему-то ускользает из сознания. Что по образу и подобию — это еще нет-нет да и вспомнится, про часть природы (и что от обезьяны) — тоже, а вот космос, ну да... Аура, точки, вихри, прана, ци-энергия и прочее, но к этому еще и разные упражнения (даже не очень много), регулярное исполнение которых прямиком вело к поставленной цели — ну да, к здоровью, физическому и душевному. К вечной молодости, если угодно.

Понятно, что речь не шла о двух-трех днях, требовались время, усилия и, главным образом, терпение, но Н., кажется, готова была преодолеть все — такое воодушевление в ней вдруг вспыхнуло.

Игра, как говорится, стоила свеч. Тем более и греза о встрече ее тоже не оставляла: да, они должны непременно встретиться (имелся в виду Ф.) — так ли, как это привиделось ей той бессонной ночью, или иначе, на пороге или в каком-то таинственном встречном движении — не имело значения. Она даже не очень задумывалась, что за этим должно последовать. Просто незнакомая женщина на пороге. Молодая. Может, та самая, о какой он мечтал, когда между ними все начиналось и для чего впоследствии стал преградой ее возраст, все эти стремительно набегающие друг за другом годы, способные все превращать в пепел и тлен.

Дальше же было, хотите верьте-хотите нет, почти так, как описывалось во многих этих, весьма скромно изданных, часто на желтой газетной бумаге книжках,

ставших для Н. путеводителем. Поскольку пенсионный возраст освобождал ее от кабалы каждодневной службы, а кое-какие сбережения позволяли более или менее свободно распоряжаться собой, она взяла и ничтоже сумняшеся укатила в Крым к знакомой, у которой когда-то недорого снимала комнатку. Сезон уже был не отпускной, поздняя осень, купаться в море холодновато, зато воздух пронзительно чист и свеж, как спелое яблоко поутру, йодистый щемящий запах водорослей, народу почти никого — простор и благодать, самое то для медитаций и прочего.

Н. бродила по горам и весям, делала разнообразные упражнения, сидела в позе лотоса, тосковала, погружалась в нирвану, испытывала сатори, наслаждалась крымскими ландшафтами, безлюдьем, тишиной, могла бесконечно любоваться морем, созерцать рассветы и закаты, слушать шум волн, снова делать всякие упражнения, дышать, дышать, дышать, погружаться в струи эфира, сливаться с космическими вихрями и ритмами, насыщаться праной, трансмутировать энергии, гармонизировать потоки, открывать чакры, — одним словом, проникаться совсем иной, необъятной и чудесной, мировой вселенской жизнью, которая, ясное дело, не могла не изменить ее.

Надо заметить, что почувствовала она себя по-другому довольно скоро — исчезли усталость и прижатность, так угнетавшие в городе, настроение установилось ровно-просветленное, появилась и с каждым днем стала расти энергия, а главное, появилась уверенность, что все будет хорошо...

А что, собственно, хорошо?

Ну да, то есть все вернется на круги своя: Ф., увидев в ней женщину — пусть и не молодую, но и не старую, даже и не пожилую, просто — женщину, снова испытает к ней прежние чувства. И тогда вновь

вернется то, что осветило ее жизнь пусть запоздалым, пусть поздним, но таким полным женским счастьем (с материнским отчасти оттенком).

Сначала уверенность эта была связана с тем самым образом, какой ей привиделся в ту переломившую ее жизнь ночь. Порог в жилище Ф., где она, кстати, так ни разу и не побывала, Н. теперь так и понимала — как момент перелома, как грань между тем, прежним состоянием (неправильным) и состоянием нынешним (правильным). Что-то вроде вечной женственности ей чудилось, белоснежное развевающееся одеяние (вроде свадебного платья) на ветру. А какой прилив энергии она испытывала — такой, кажется, не было и в молодости — без усталости, подобно антилопе, могла носиться сначала по осенним, а потом и зимним крымским просторам, взбираться на горы, прыгать по скалам, даже окунаться в холодную морскую воду.

Вечерами же она перечитывала в своей клетушке, снятой достаточно дешево и где было весьма прохладно, несколько наиболее приглянувшихся ей книжечек с методиками очищения организма, иногда пила настоянный на всяких полезных травах чай с хозяйкой-старушкой, которая относилась к ней как к столичной чудачке и которой она помогала по хозяйству. Иногда, случалось, ей становилось скучновато, иногда тоскливо, но утром, с нежным крымским рассветом это проходило и даже в пасмурные дни ее переполняла легкокрылая радость бодрости и прекрасного самочувствия.

Первое время своей новой жизни она сознательно отказывалась смотреть в зеркало — своего рода аскеза, которую она для себя избрала, но спустя месяц все-таки позволила себе заглянуть туда и была поражена: такой перемены она, если честно, не ожидала. Дело было даже не в том, что кожа на лице посмуглела, под-

тянулась и разгладилась, а черты словно стали тоньше. Нет, появилось еще что-то — в выражении глаз, губ, в том, как лежали волосы, а главное, еще в чем-то неуловимом — то ли свечении, то ли сиянии, — и впрямь другое лицо. И тело тоже было *другое*, не только в смысле исчезновения дряблости.

Н. была потрясена. Несмотря на всю жажду преобразования и готовность приложить для этого максимум усилий, в ней тем не менее копошился и червячок сомнения: возможно ли?

По всему выходило: возможно.

2

Решительность и воля женщины, устремленной к объекту своего чувства и готовой преодолеть все преграды, заслуживают самого подробного описания, однако в этой истории есть еще один участник — Ф.

Он был моложе Н. почти на тридцать с лишним лет, однако почти не чувствовал этого, а если и чувствовал, то исключительно с признательностью, что такая умная, красивая и зрелая женщина могла им серьезно (и даже пламенно) увлечься. В ней было все, что ему (и, наверно, каждому) нужно: жизненный опыт, а значит, и понимание, умение тонко и деликатно снимать возникающие в любых ситуациях, в том числе и в интимных отношениях проблемы, способность прощать или не замечать (делать вид, что не замечает) чужие ошибки, тонкий эстетический вкус, но вместе с тем и нетребовательность, и что существенно, желание одаривать — всем, что есть у настоящей женщины, и в первую очередь, безусловно, нежностью.

Правда, у Н. тоже были свои заморочки (кто без них?), но одна перевешивала прочие.

Возраст.

Очень уж она переживала их разницу в возрасте — отсюда и всякие несуразицы. Однажды их даже приняли за мать с сыном, и с тех пор вместе они никуда не ходили — ни в театр (хотя она любила), ни в кино, ни в кафе, хотя он ее не раз приглашал. Разве что по улице пройтись вечером, когда все кошки серы, не больше, и то она вся напрягалась. Даже в магазине, если заходили вдвоем, и то ей казалось, что на них оглядываются, хотя никто и не думал. Да если бы и оглядывались — что с того? И тем не менее. Так что остальные встречи происходили только у нее дома, в уютной однокомнатной квартирке, которая у нее осталась после давнего развода с мужем.

Было в этом что-то болезненное, жалкое и унижительное, отчего он часто чувствовал себя не в своей тарелке, особенно если она была не в настроении. Правда, вида она старалась не подавать, но он сразу чувствовал по ее чрезмерной задумчивости и даже отчужденности. Случалось, что и свидание их откладывалось по причине ее неважного самочувствия, в чем ему тут же начинали мерещиться ее совершенно беспочвенные переживания из-за возраста. То есть и вправду могла неважно себя чувствовать, но суть была в другом: она не хотела, чтобы он ее в таком состоянии видел, считала, что резко дурнеет.

Бывали и вспышки ревности (совершенно безосновательные), которые она тоже всячески пыталась скрыть, ничего ему не высказывая, а просто замыкаясь в себе и становясь холодной и безразличной. Раз он намного моложе, значит, наверняка засматривается на сверстниц и даже более юных, не может не засматриваться.

Убедить ее в том, что все это ерунда и никто его, кроме нее, не волнует, было невозможно. То есть она вроде как и верила (или пыталась верить), но это было сильнее ее, хотя и говорила, что принимает все,

как есть, что совершенно не намерена в чем бы то ни было ограничивать его свободу и вообще благодарна судьбе за такой неожиданный и упоительный глоток счастья.

Исчезновение Н. для Ф. оказалось неожиданным, хотя что-то в этом роде предчувствовалось. Он, впрочем, догадывался, куда она могла поехать: не раз уже говорила, что хотела бы поехать на море, но все откладывала то по одной причине, то по другой. Как-то раз у нее вырвалось: ей кажется, что после даже недолгой разлуки все между ними закончится. Он в ответ только пожал плечами: глупости, с чего бы? Но она была твердо уверена, что именно так и будет, переубедить ее было невозможно.

В последнее время их отношения несколько разладились: голос ее по телефону бывал сумрачным и не очень приветливым, естественно, и он стал звонить реже — надо было, чтобы этот период миновал сам по себе, как уже случалось, форсировать что-либо бессмысленно... Тем не менее ему не хватало ее, не раз вечером он подымал трубку, чтобы позвонить и, может, договориться о встрече, но, вспомнив про ее настроение, бросал. Все-таки глупость: люди сами измышляют себе невесть что, и потом из-за этого все портится — ни объяснить, ни убедить. И всем хуже, все от этого только страдают.

Возраст... Лично он об этом вообще не задумывался. Вот уж полный бред: если человек нравится, если с ним хорошо, то при чем тут возраст? И потом человек таков (в смысле возраста), каким себя чувствует. Возможно, у женщин это несколько по-другому, но ему казалось, что тут не должно быть особой разницы. Все зависит от личности.

Н. была ему нужна — вот что главное. Особенно остро он ощутил это после ее исчезновения. Телефон

не отвечал, дверь не открывали, никто ничего про нее не знал, даже близкая подруга, у которой в гостях они несколько раз бывали вместе (либо не хотела говорить). То есть она знала, что та уехала в Крым, но куда и насколько ей тоже не было известно.

Что оставалось? Только ждать.

Вот тут-то Ф. вдруг и прижало. Вместо того чтобы, почувствовав свободу (которой у него, впрочем, никто и не отнимал), разгуляться на воле, пожить в свое удовольствие, он неожиданно начал киснуть. Даже ночью ему снилась Н., хотелось прикоснуться к ней, ощутить тепло ее кожи и запах волос, услышать звенящий лаской голос, он тянулся рукой, а наталкивался на пустоту, просыпался, маялся бессонницей, засыпал и снова тянулся. Расстояние между ним и ей даже во сне оказывалось неодолимым.

В какой-то момент он дернулся лететь в Крым, но где бы он там ее искал? Никаких зацепок у него на этот счет не было. И потом, поехал бы он туда, а она как раз бы вернулась, все-таки прошло уже больше месяца (казалось, год), пора бы ей... Нет, лучше уж не дергаться и ждать. Приедет она, и все тогда прояснится. Он ей докажет, убедит ее, что нет никаких проблем, что ее комплексы — полная туфта, никакого значения ее возраст не имеет, а обольстительность молоденьких девочек — типичный миф, мечты угасающих плейбоев, она-то, умная женщина, должна понимать!

Ох, как ему не хватало ее! Словно части своего тела лишился. Пустотой сквозило так, что места себе не находил. И во сне все пытался дотронуться до нее (маниакальное такое стремление), а она ускользала и ускользала.

И вот в одну из ночей, когда он то ли спал, то ли пребывал в полусне, странное видение ему снизошло:

он — вроде и не он, а довольно-таки пожилой человек, волосы седые, морщины на челе, под глазами одутловатость, да и состояние соответствующее — вялость ужасная, веки не поднять, ну и прочее. И вроде как жизнь — позади, впереди — ничего, только и свет в окошке — она, Н., но ее нет и нет и где она — неведомо, а он ждет и ждет, не может дожидаться. И оттого, что нет ее, ему еще хуже, как если бы тяжело заболел и никого рядом, воды подать некому.

Минорный такой сон.

И глупо все так, ну что ей взбрело?

3

Тут-то и начинается самая настоящая фантастика.

Утром после той ночи Ф. просыпается с таким огромным трудом, словно выкарабкивается откуда-то из глубокой темной ямы: изнеможение полное, руку поднять и вообще пошевелиться — и то тяжело.

Он и вспомнить не мог, когда с ним такое было (и было ли?). Все, вероятно, геомагнитные бури, которые раньше его не затрагивали, а теперь, похоже, и он сподобился. И его не обошло. Всегда ведь все случается в первый раз. То нет-нет, а потом вдруг — раз, на тебе...

Это, впрочем, ладно, но то, что увидел он, взглянув в зеркало, просто оглушило его. Оттуда, из зеркала, перед которым он обычно брился и причесывался, на него смотрел чужой человек — волосы седые, морщины, одутловатость, мешки под глазами. Старик не старик, но что-то вроде того. Жутко смотреть. Словно ссохся весь, скукожился, даже ростом вроде меньше стал... К тому же и слабость безумная, присесть хочется, прислониться к чему-нибудь.

Ужас!

Ф. еще не оправился окончательно от шока (щипки не помогли), как в дверь позвонили. Держась за

стену, он, еле передвигая ноги, медленно прошаркал к выходу, долго возился и с прежде заедавшим замком, пока наконец не открыл. На пороге — стройная молодая женщина в легком белом платье, чуть раздуваемом сквознячком (нежное струение).

— Простите, мне нужен Ф., — красивый, мелодичный голос, до боли знакомый. Улыбка светлая такая, приветливая.

— Это я Ф., — еле-еле шепчет он, как-то странно шепелявя и шамкая при этом, чувствуя словно одеревенение языка.

Он — Ф. (вроде бы).

Женщина же будто не слышит его.

— Тут совсем недавно жил Ф., — она называет его фамилию.

— Это я — Ф., — механически повторяет он, испытывая неловкость и, что еще хуже, тупиковость ситуации.

Они еще некоторое время смотрят друг на друга, потом женщина опускает глаза:

— Тут какая-то ошибка, простите. — Она поворачивается и легко сбегает по лестнице, она торопится, словно за ней вот-вот могут погнаться.

Устало привалившись к косяку, Ф. долго смотрит ей вслед и все еще обоняет витающий у порога знакомый запах духов. Когда-то, давным-давно, лет сорок-пятьдесят тому назад, если не больше, он был близок с женщиной, у которой были похожие духи. И похожий голос.

Боже, как же давно это было!..

Дождь

Кажется, Шопенгауэр сказал, что тот не философ, в ком нет ощущения призрачности мира. В таком случае философия — не что иное, как попытка — извлечь мир из этой призрачности. Из застилающего явления и вещи белесо-серого тумана, из ласковой майи, стелющейся перед нашими земными глазами, сквозь которые смотрят еще другие глаза, тоже наши, а может, и не наши, и те глаза тоже видят и не видят, и так неведомо сколько таких глаз, но печаль-то как раз в том, что мир все равно ускользает — не достичь нам его...

А может, мир на самом деле прост как дважды два — настолько прост, что попытки приблизиться к нему и тем более проникнуть в его суть заведомо обречены на провал, — ни сути, ни глубины, ни сложности, а просто он — есть, а все что мелькает перед нашими глазами, это все от воспаленного воображения, от ложных интенций познать и преобразить... Так что

шут с ними — и с майей, и с Шопенгауэром, и со всей этой мудреностью, которую производит праздничный и гордый ум человеческий, не знающий куда прийтнуться...

Да, мир прост, как рыба в чешуе, и этим замечателен. Мир — эвклидов, что бы ни говорили. Только все равно ведь два (простое) пишем, три (сложное) в уме...

Голубое небо, янтарные стволы сосен, сероватое море с желтоватыми кудельками пены возле берега, дюны, беспечная радость детворы, кубарем катящаяся по чистому зыбкому песку, вдоль понастроенных в нем каналов, средневековых замков, норок и прочего. Быстро исчезающие вмятинки от детских ступней. И солнце, совсем не по-северному жаркое, море теплое, разве это Балтика?

Впрочем, дымка в небе, облакавшая солнце вот уже две недели подряд, неожиданно сгущается в облачко, потом в тучку, темнеет, клочковато расползается по небу, и вот — мелкий, прохладный, точно балтийский дождик. Пора. Струйки сбегают по коже, горячей от долгого солнца. Хорошо.

Однако и радость быстро сменяется грустью, все вокруг наливается влажной тяжестью, брызгает, словно ощутив бремя существования. Серая плотная пелена дождя за окном.

С этого все начинается. С пелены.

В комнату стучат, на пороге директриса пансионата, полная немолодая женщина с мелкозавитыми серебристыми волосами, похожими на парик (не исключено). Такой же мелкозавитой у нее и черный пуделек Джонни, любимец детворы, с ним она обычно прогуливается во дворе. На этот раз пуделька нет, напрасно дети выглядывают за дверь, надеясь набро-

ситься на него с неустанной нежностью. Крупным женским телом директриса перегораживает им проход: так, всем плотно закрыть двери и окна и никуда не выходить до особого распоряжения (звучит грозно). От кого должно исходить это «особое распоряжение» — от нее ли или от кого другого, остается неясным. Как, впрочем, и все прочее. Неопределенное пожатие полных, слегка оголенных плеч: ничего неизвестно (так ей и поверили), но надо все срочно закупорить и никуда не отлучаться.

Как все быстро меняется в этом мире!

Только что в комнату сквозь настезь распахнутое окно вливались свежий морской воздух, смолистый запах сосен, и вдруг — духота. Человек без воздуха — как рыба без воды, глаза выпучены, ноздри широко раздуваются, губы разошлись. Они сидят на кроватях, напряженно прислушиваясь, словно там, за окном, в непрерывном шелесте дождя можно что-то расслышать, понять что происходит. Почему-то кажется, что возникшая угроза связана именно с ним, с дождем. Лиловатый оттенок, свинцовость, придавившие землю тучи — хмурый отчужденный лик природы. Еще день, а темно — словно вечер. Наверняка дело в нем, в дожде. Хотя, может, вовсе и не дождь, а ветер (смутная догадка не дает покоя).

Как отделить ветер от дождя, дождь от неба, небо от воздуха?

Еще бы им не догадываться. Пасмурный (чем-то даже похожий на этот) день в Пушкине под Питером, первое мая, дождик накрапывает, то усиливаясь, то замирая, они стоят неподалеку от Екатерининского дворца, прикрывшись зонтами и капюшонами курток, а под знаменитой аркой нескончаемой колонной вышагивают на демонстрацию пионеры, в белых рубашонках и блузках с алыми полыхающими галстука-

ми, с разноцветными воздушными шарами, барабанщики с барабанами... Зябко смотреть.

А потом всех, кто попал под тот первомайский дождик, вызывают на медицинское обследование.

Черная быль.

Неужели *тот* дождь их все-таки достал?

Странная тишина в пансионате, словно никого нет, только шум дождя за окном, барабанит по стеклу, словно пытаюсь проникнуть внутрь. В серой пелене — черный угрюмый контур. С почти мистическим ужасом они глядят туда, во все более сгущающиеся сумерки, как будто дождь (главная угроза) или что-то там, невидимое, но от этого еще более грозное, действительно ищет щели, хочет просочиться к ним... Занавески задернуты, но и через них, мерещится, кто-то тяжело дышит там, дует, плюет... Детвора жметесь на краю кровати, дальней от окна. Комната неожиданно маленькая и узкая, все близко, рядом, стены, окна (два), не отстраниться, не спрятаться... Маленькая начинает хныкать — ей душно и надоело, старшая более терпелива, но и взрослым не по себе (у жены разболелась голова) — ни информации, ничего...

Хоть бы какая-то определенность!..

Время замедляется, вытягивается в длинную толстую кишку, сквозь которую их медленно тащит, пропихивает чуждая неведомая сила. Так, вероятно, мог чувствовать себя Иона во чреве кита, вероятно...

Страшно представить себя во чреве.

В дверь заглядывает сосед, губы его двигаются, но звуков почему-то не слышно. Потом вдруг прорезается, доходит: не передавали ли что-нибудь по радио? Это сосед спрашивает. А у них и радио-то нет. Зачем

им радио? Взгляды устремлены на соседа, у того под окном малиновый «жигуленок», с которым тот каждый день возится, что-то подкручивая, подмазывая и всяческим образом пестуя. Его заботливость — предмет постоянных насмешек, но теперь именно «жигуленок» становится объектом тайных вожелений, — ведь если что, то на нем только и можно выбраться (если можно). Если, конечно, сосед не откажет. Есть ведь и другие претенденты...

Потребность в деятельности (невыносимо сидеть сложа руки) наконец находит выход. Если дождь и они побывали под ним, пусть даже совсем недолго, то срочно надо смыть его следы. Программа следующая: немедленно купать детей, мыться самим, стирать вещи... Хотя бы это, лишь бы не сидеть без дела, не маяться в ожидании, которое неведомо сколько может продлиться.

Горячей воды нет — ее дают только два раза в неделю, по вторникам и субботам, а теперь только четверг. Воду приходится греть маленьким кипятильником, это долго, но другого способа нет.

Вот и суматоха. Гремят ведра, голоса дети (младшая не хочет мыть голову), куда-то запропастилось полотенце, угроза «выдрать» витает в воздухе...

Когда этот этап пройден, все в изнеможении валяются по кроватям. За окном почти совсем темно, дождь, дождь, дождь...

— Боже, когда все это кончится? — всхлип.

Напряжение нарастает.

Долгий проход М. по длинному полутемному коридору.

Обычно именно в эту пору, в предночное сбивчивое время в пансионате особенно оживленно, из комнат несутся возбужденные голоса, музыка, а теперь —

словно вымерло. Двери закрыты, за ними ни звука. Зато в телевизионной людей, как сельдей в бочке (третье рыбе сравнение). Все не отрываются от экрана: крутят какой-то очередной сериал. На самом деле все ждут последних новостей, до них минут пять-семь. Однако эти пять-семь длятся нестерпимо долго, особенно в такой духоте (окна задраены, шторы задернуты). Крупные капли пота стекают по вискам, по лицу, по спине... Какой-то женщине дурно. М. стоически терпит до конца информационной программы, все, о чем говорят на экране, доходит будто сквозь туман, к тому же ничего нового, все по-прежнему покрыто мраком.

Люди вяло расходятся — пожухли отдохнувшие смуглые лица, совсем недавно еще такие жизнерадостные, осунулись, в глазах тревога...

Душно. Что-то вязкое, липкое обволакивает тело, теснит, сковывает, М. пытается высвободиться, торопится, все быстрее, все резче, его тянут куда-то вниз, в крошечную мглу, он отталкивается из последних сил, вскрикивает и... просыпается.

Ночь. Дождь. Сонное посапывание детей. Младшая причмокивает и что-то невнятно бормочет. За шторой белесое пятно одинокого фонаря во дворе, размытые тени деревьев. М. с отвращением пьет из графина теплую затхлую воду. Жена тоже не спит, он видит ее блестящие в темноте глаза. Не волнуйся, все будет хорошо, успокаивает он ее (и себя).

А почему, собственно, все должно быть хорошо? Почему он так уверен в этом (а он разве уверен?) Просто он так хочет, и все хотят, все комнаты в пансионате пронизаны сейчас одним единым желанием!

Может, и правда обойдется?

Или они просто спят, им снится... Проснутся — все по-прежнему: солнце, море, причудливо изогну-

тые в противостоянии ветрам прибрежные сосны, веселые детские клики... Подхватывает теплая, баюкающая волна уверенности: обойдется...

Утром будят голоса с улицы.

Дождя нет, хотя небо еще в тучах. Сосед как ни в чем не бывало, подняв капот, возится со своим «жигуленком», рядом директриса с черным кудлатеньким пудельком Джонни на поводке. О чем-то они негромко беседуют.

М. с шумом распахивает окно. Тут же на подоконник вскарабкиваются и дети: ау, Джонни!

Свежие утренние запахи кружат голову. Слышно, как скребется за соснами море.

Ну что, что?

Все то же неопределенное пожатие плеч: вроде повышенная солнечная активность... Землетрясение в Японии. Наводнение в Германии. Ураган в Тверской области. Столкновение танкеров в Индийском океане. Обострение на Ближнем Востоке. Побег рецидивистов под Самарой. Авиакатастрофа на Чукотке. Вспышка холеры в Казани. Взрыв на рынке в Ростове. Забастовка шахтеров в Донецке. Прорыв канализации в соседнем поселке...

А дождь, дождь?

Что дождь?..

В самом деле, что дождь?

Над соснами из серой мутной утренней пелены неуверенно, с кинематографической замедленностью проступает тревожная алая тонкая полоска...

Страх вратаря

Я не читал романа Хандке, не смотрел фильм Херцога, но мне почему-то ужасно нравится название — «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым ударом». Что-то в нем такое, особенное, словно речь вовсе не о страхе вратаря, а о чем-то ином, куда более существенном, да и вообще не о футболе.

А испытывает ли вратарь страх?

Волнение — да, напряжение — безусловно, азарт — разумеется. Ведь пенальти (так еще называется штрафной удар с одиннадцати метров) — все равно игра, все равно спортивный поединок, схватка двух соперников один на один — вратаря и игрока, выполняющего удар.

Ну еще мяча и вратаря (это отдельно).

Одиннадцатиметровый — психологически самое трудное испытание для вратаря (как, впрочем, и для

того, кто бьет штрафной). В игре могут быть самые разные ситуации, причем не менее сложные и голевые, чем пенальти, но эти ситуации внезапно возникают в процессе игры, в ее динамике, им сопутствует неожиданность, и вратарь тоже участвует в игре, он должен постоянно быть начеку и адекватно отвечать на эти внезапные вызовы.

К тому же он не одинок, даже если кто-то из нападающих прорвался сквозь защиту и вышел к воротам. Все равно вратарь вместе со всеми, просто так получилось, что противник обыграл защитников, но все равно они здесь же, рядом, — бегают, суетятся, пытаются перехватить соперника, они разделяют напряжение и пыл борьбы, да, они вместе, ситуация стремительно развивается, у вратаря нет времени ни для рефлексии, ни для страха.

Мне приходилось когда-то стоять в воротах и даже вроде неплохо. Бегать я никогда не умел, начинал задыхаться, быстро уставал, колело в боку, а вот с ловкостью и прыгучестью было получше, да и реакция недурна. К тому же помогало чутье: предугадать действия приближающегося к воротам противника, правильно выйти на мяч — уже половина дела.

Многое, конечно, зависит еще и от вдохновения.

Помню матч, когда атаки наших соперников следовали одна за другой, удар сыпался за ударом, защитники явно были в растерянности, не справляясь с таким жестким прессингом, но зато я был настолько собран, что самоотверженно отражал все мячи: в угол или в девятку — все мне было по силам.

Народ просто диву давался — такого никто от меня не ожидал, а я, чувствуя нарастающее удивление и даже восхищение окружающих, просто летал по воздуху, бросаясь на мяч аки лев и не щадя локтей и коленей. Все было прозрачно: замыслы атакующих, траек-

тория мяча, действия защитников... Я был в центре игры. Ах, какую волшебную легкость, даже несмотря на усталость к концу матча, ощущалась в теле, какие послушность и гармоничность!

Это был мой матч во всех смыслах. Выложиться до конца, на полную катушку, проявив все свои способности и при этом победить, — величайшее из удовольствий. Футбол это позволяет, как, впрочем, и любой вид спорта.

Другое дело — жизнь. В конце ее даже максимально осуществившегося человека все равно ждет фиаско. Человек никогда не уходит победителем — в этом есть своя печальная справедливость, уравнивающая богача и бедняка, царя и раба, здорового и больного. Победителя и побежденного.

Всех ждет одна ночь.

Однако речь не том.

В том самом матче случился и пенальти. То ли подножка, то ли игра рукой кого-то из защитников — уже не вспомнить.

Я в воротах. Свои и чужие группками теснятся позади штрафной. Судья торжественно устанавливает мяч на одиннадцатиметровой отметке, мяч чуть-чуть откатывается, видимо, попав на неровное место, и судьбе приходится возвращать его на место. Теперь очередь бьющего: только что разминавшийся поодаль, он приближается, примеривается, потом отходит на некоторое расстояние для разбега и после минутной паузы начинает движение.

Я вижу зрителей, привставших со скамеек, чтобы лучше разглядеть этот решающий момент, вижу сосредоточенные лица друзей по команде, ободряющую улыбку тренера, и почему-то небо над стадионом.

Все происходит как бы немного замедленно. Нет, никакого страха я не испытываю. Футбольное поле

неожиданно раздвинулось до пределов чуть ли не мирового пространства, где завывают вселенские ветры. В то же время взгляд ловит шевеление черного жучка в вытопанной до желтизны траве возле ворот, спешащего куда-то с соломинкой рыжего муравья, а сами ворота кажутся неимоверно огромными, такими огромными, что не забить в них мяч надо очень постараться.

Нет, это чувство нельзя назвать страхом. Оно скорее похоже на обреченность: нельзя уйти, убежать, отменить, уклониться, как в обычной жизни. Все должно произойти через минуту-другую. Нет, небо не рухнет, горизонт не обвалится, но ты все равно — как натянутая струна, как сжатая и готовая вот-вот распрямиться пружина. Ты не смотришь на игрока, на зрителей, небо и деревья — только на мяч, но тем не менее видишь все окрест, словно оно само вливается в твои глаза.

Все на мгновение замерло и вместе с тобой ждет удара, ждет твоего броска, ждет разрешения, кровь истоиво стучит в висках мира, не только твоих. Закупорившийся сосуд должен открыться, чтобы не разорваться и кровь смогла снова потечь, разнося по капиллярам живительный кислород.

Дело вовсе не в забитом, взятом или пролетевшем мимо мяче, не в успехе или неудаче. Что-то происходит в это мгновение, словно обычный удар черной бутсы (или кеда) по мячу связан с чем-то еще, более глубинным, что ли..

Где же там страх?

Впрочем, я знал одного игрока, причем неплохого, который больше всего боялся удара мячом по лицу. Не вообще мячом, не одиннадцатиметрового (он не был вратарем), хотя во время тренировок каждому игроку приходится немного постоять в воротах, что-

бы почувствовать их, что называется, собственной шкурой.

Это был действительно страх, причем почти панический, и почему-то непременно попадания в лицо, что случается вообще-то не так уж часто. Поэтому он почти никогда не играл головой, даже если предоставлялась возможность забить гол. Нет, тут на него можно было не надеяться. Ногой — да, но только не головой, словно эта часть тела у него была хрустальной и мяч мог повредить ее.

Во время игры он забывал о своем страхе, но если приходилось ставить стенку во время штрафного, на него было больно смотреть — такая тоска в глазах. В момент удара он тут же, подобно вратарю, выкидывающему вперед руки, закрывал лицо и становился похож на маленького обиженного мальчика. Сколько над ним ни подшучивали, ни издевались, ни злились, все напрасно, он просто не в силах был побороть страх. И это при всех прочих отличных для футбола данных, какие у него были: отличная скорость, дриблинг и вообще. Но тут словно заколодило — ничего не мог с собой поделаться.

Я взял тогда тот мяч. Не вспомнить уже, насколько действительно хорош был удар, но мне он оказался по плечу. Кое-кто даже аплодировал, а тренер после матча крепко пожал руку и одобрительно похлопал по плечу. «Ты можешь», — сказал он.

Тогда это было важно и приятно, ты вырастал в собственных глазах, но на деле самым важным было совсем иное — скорей всего, то самое удивительное единение с миром, которое обреталось в минуту перед ударом: ты — лишь соединительный провод, по которому пробегает волшебная искра.

Почему же тогда так привлекает эта фраза: страх вратаря перед одиннадцатиметровым?..

Ответа у меня нет. В конце концов, кто-то ведь может испытывать и такое чувство, и оно будет совершенно особенным, потому что эти фатальные одиннадцать метров иногда действительно равняются расстоянию в жизнь.

Музыка над городом

— Ну что, ты готова? — нетерпеливо спрашивает он.

— погоди, не так быстро, дай привести себя в порядок.

Она всегда собирается долго, хотя сама так не считает. Даже напротив. «Я собираюсь очень быстро, — гордо бросает в ответ на его поторапливания и недовольство, что слишком медлительна. Ему же всегда невтерпеж, всегда он спешит, хотя времени у них воз и маленькая тележка.

Сцена сборов повторяется едва ли не каждый раз: он нервничает, торопит, беспокойно меряет шагами коридор, но ее этим не смутишь, она упрямо будет делать все в своем ритме, сколько бы ее не дергали. Причесать и уложить волосы, припудриться, подкрасить губы — все эти женские штучки-дрючки, без которых они не могут ни в двадцать, ни в шестьдесят, словно это действительно так важно. Он знает, что

они все успеют и будет хорошо, непременно будет хорошо, он это чувствует...

За окном весна, голубое прозрачное небо, только-только проклюнулись первые почки, а там, не успеешь оглянуться, и юная нежная листва, все это уже совсем близко, а пока ожидание растворено в воздухе (теперь ожидание для них важнее, чем осуществление), в раздвинувшемся вдруг, готовом вот-вот зазвенеть пространстве, и что тебе двадцать, что семьдесят (или восемьдесят), жизнь продолжает манить и обещать что-то еще, неизведанное, и надо идти ей навстречу, слушать ее мелодию...

Он нетерпеливо, с некоторым даже раздражением окликает:

— Ну скоро ты в конце концов?

Разумеется, она скоро, она уже готова. На ней голубое шерстяное платье, чуть прикрывающее колени, — стройная до сих пор, с некоторой склонностью к полноте, красивая фигура, салатная косынка на шее, летучий аромат ландыша, ощущение свежести и легкости, то самое, что когда-то покорило его...

К любимому парку они идут мимо многочисленных палаток с разными товарами (от туалетной бумаги и канцелярских принадлежностей до хлебобулочных изделий). Вечереет, народ выползает из домов прогуляться по свежему весеннему воздуху, парочки молодых и немолодых, стайки и группки тянутся к парку, к его еще притаенной предвесенней жизни. Как-никак воскресенье, выходной день.

Они идут не быстро, он чуть впереди, она поотстав (куда ты так несешься?), странно, всегда они не совпадают в ходьбе: ее шаг нетороплив и размерен (плавен), его — нервен и стремителен даже теперь, когда силы уже не те. Под руку он, впрочем, и никогда не умел ходить, ее попытки его притормозить, придержать,

подстроить под свой лад только раздражают (чего виснуть?), она не обижается (что уж теперь?). Идут как бы следом друг за другом, он на шаг опережая, будто и не вместе. Это, впрочем, вовсе не значит, что он действительно спешит, просто привычка, если угодно, полуходьба-полубег. Даже если у него и получается приурочить шаг, то ненадолго, снова он в отрыве и лучше его отпустить: далеко не убежит. И правда, оторвавшись слишком, он останавливается и ждет, недовольно поглядывая в ее сторону.

Прогулкой это назвать трудно: они вместе и отдельно.

Перед деревянной сценой, устроенной под полукруглым навесом, довольно большая заасфальтированная площадка, окруженная скамейками, на которых уже угнездился пенсионный люд, старушки (в основном), иногда и старички, это в основном зрители, болельщики своего рода. Правда, и некоторые из них порой, раздухарившись, отваживаются, хоть разок, трудно смириться со старостью, особенно если душа так себя не ощущает.

Оркестрик появляется обычно ровно в шесть, но может и не появиться вообще, и тогда врубят через колокольчик магнитола (обычно слишком громко), и тогда будет, конечно, хуже, оркестр — все-таки живая музыка, хотя бывает и что не очень профессионально, и репертуар какой-нибудь либо слишком старомодный, либо, наоборот, современный, больше для молодежи. Часто это зависит от того, кого набралось больше — помоложе или постарше, а то просто от настроения музыкантов (и от их возраста).

Молодежь подтягивается ближе к ночи, к закрытию парка, когда веселье в самом разгаре. Толкотня, запах пота и винных паров, визги и клики. Бывает, что и дебоширить начинают, несмотря на пару-трой-

ку дежурящих поблизости милиционеров, пристают к девушкам, выясняют отношения и тому подобное, тесновато и суетно.

А пораньше — больше пожилых, вроде них, тоже ведь хочется. Многие уже знают друг друга, потому что приходят регулярно — кто посмотреть, кто и потанцевать. Немало, конечно, и случайных людей, выбравшихся просто погулять, но привлеченных музыкой. К вечеру, особенно с наступлением темноты, здесь главное место — открытое кафе, танцплощадка, огни фонарей, бурление жизни...

Как мотыльки на свет.

Да, ожидание для них теперь значит не меньше, чем все прочее. В ожидании уже есть все дальнейшее, но еще и острота предвкушения. Нетерпение лучше умерить, это в молодости нормально, когда времени еще столько, что не объять, и можно погонять его — лишь бы скорей. А потом все проходит — и зачем торопились? Увы, все так быстро проходит, ожидание нужно лелеять, как вообще все, каждую минуту лелеять: чем она длиннее, тем... А впрочем, без разницы, так ли сяк, все равно время не удержать, сколько его еще осталось? Но об этом можно забыть, обо всем можно забыть, когда музыканты, побрякав разнострунно для пробы, размявшись и настроившись, начнут наконец играть.

Они будут играть, а все будут слушать — поначалу, да, все будет пока прислушиваться, словно нащупывая в очередной мелодии некий тайный нерв, которому вдруг отзовется душа — и потянет, повлечет туда, поближе к сцене, на асфальтированную площадку, в эпицентр рассеянного, неяркого света, вокруг которого постепенно, чем ближе к ночи, сгущается тьма. Пока там пусто, но лица пришедших сюда людей, случайных и неслучайных, уже оживились, члены

задвигались в ритм, подошвы нетерпеливо постукивают о землю, как бы пробуя ее твердость и прочность.

Ритм, ритм...

Ну и что, возраст, коли руки-ноги пока двигаются, если в душе еще что-то такое теплится, трудновыразимое, рвется наружу...

Они, как самые отважные, выходят одними из первых, когда площадка еще почти пустая. Выходят всякий раз словно впервые. Он снова идет чуть впереди, ведя ее, как маленькую девочку, за руку. Смелей, смелей... Не съедят же их. К чему тут излишняя застенчивость?

Разрешите познакомиться...

Правой рукой он обвивает ее талию, левой держит на отлете ее руку. У нее прохладная узкая ладонь, в его руке она быстро согревается. Они начинают с медленного танца, собственно, больше и не надо. Главное — почувствовать друг друга. Тепло его ладони сливается с ее теплом. Теперь ей уже не зябко. Пусть и медленное, но движение согревает их, тела их соприкасаются, оставляя, впрочем, друг другу некоторую свободу, он плавно ведет ее, чувствуя, как естественно и охотно подчиняется она...

Эти первые минуты еще полны напряжения — преодолеть скованность, забыть о себе, вспомнить, что они уже не по отдельности, а — нечто большее, слитное, одно существо...

Когда-то так и было, в этом самом парке, сразу после войны. Помнишь? Еще бы он не помнил. Парк совсем пустынный, кое-где в глубине противотанковые ежи, там опасно из-за всякой шпаны, и только здесь, недалеко от входа, единственное цивилизованное место — эта площадка, даже без сцены (разобрали на дрова), и играл духовой оркестрик. Она была в

платьице и каком-то теплом жакетике поверх, а он в гимнастерке и сапогах, его еще не демобилизовали. Все было впереди, они выжили.

Танцевать с ней одно удовольствие. Каждое движение находит быстрый и точный отклик, как бы продолжает его движение, тело у нее легкое, несмотря на некоторую полноту, они чувствуют себя совершенно свободно, ничто не мешает им, удивительное это чувство — другого как себя, ни сопротивления, ни своеволия, ни стремления властвовать, в жизни так не получается, а здесь — да, здесь у них полная гармония.

Площадка быстро заполняется. Музыканты разогрелись, теперь они лабают что-то быстрое, ритмичное, современное. И пожалуйста. Они могут и это (не только вальс или танго), главное — чувство ритма и друг друга. Даже если что-то не так, они все равно этого не замечают, все зависит от степени погружения, они уже далеко внутри, они прошли то расстояние, которое отделяло их от прошлого, и теперь его больше нет — есть только настоящее, жакетик на ней бархатный, еще от бабушки, ласкающе нежный под его грубой шершавой ладонью, восхитительно мирное, почти неправдоподобное ощущение — близость настоящей весны, настоящей, полной жизни.

Азарт танца захватывает, они отпускают друг друга на некоторое расстояние, сходятся и расходятся, она грациозно следует за ним, а он крутит-вертит ее, как балерину (ах!), сердце у нее прыгает и замирает (ощущение полета), но она доверяет его руке — он всегда поддержит ее, голова кружится, словно во хмелю, но вот уже снова сошлись и она может крепко опереться на его руку.

Они почти не отдыхают, танец за танцем, оба тяжело дышат (может, хватит?), но усталости будто нет,

музыка не отпускает. Если что-то и бывало между ними, неладное (как без этого?), все забыто, она вдруг прижимается к нему (музыка), словно что-то вспомнив, и он чувствует ее всю, словно растворяющуюся в нем (или растворяющую его в себе), он вопросительно смотрит на нее (что?), но она только улыбается ему, улыбается, улыбается...

Часа через два, натанцевавшись до боли в мышцах, до гула в ушах и потемнения в глазах, они уходят, взявшись под руки. Он сильно горбится, она прихрамывает. Ночь близка, хотя оркестр еще гремит. В ее придвинувшейся вплотную глубине грезится тишина (слышишь?). Теперь оба они медленно бредут, вровень, иногда по пути присаживаются на какую-нибудь подвернувшуюся скамейку (все давно изучено) — передохнуть, прохладный апрельский ветер обвеивает все еще разгоряченные лица. Он снимает пиджак и накидывает ей на плечи, придерживая рукой и предупреждая ее протест («Ты простудишься!»). Какой вечер! Незаметно для нее он закидывает в рот таблетку нитроглицерина, все-таки прихватывает, что делать... Но это почему-то совершенно не беспокоит его: ничего, отпустит... Не в первый раз.

Оба не замечают, что устало улыбаются в темноту, каждый — чему-то своему (или общему?). Теперь — до следующего воскресенья, которого они будут ждать, как праздника (ожидание тоже праздник), и оно непременно наступит, с оркестриком или магнитолой, но уже, может быть, с первыми нежными листочками. Они прислушиваются к доносящейся из парка музыке, все глуше и глуше... Ветер относит ее в сторону, но они все равно слышат...

Он долго не засыпает (сердце все-таки побаливает) и потому не выключает радио — музыка, музыка,

музыка... Рекламы ночью нет, только изредка встрянет деланно бодрый, как бы немного придушенный, с легкой хрипотцой голос диктора или дикторши, сообщит время и название радиостанции, и снова песни, музыка, песни... Под одну из них он наконец засыпает.

Ему снится, что они танцуют. То есть он танцует с ней (хотя иногда кажется, что это не она, а кто-то еще, какая-то другая женщина, но это мимолетно, мгновенно, потому что ни с кем у него так не получалось).

И еще он чувствует в ночи какую-то звенящую полноту, какую-то тягу из словно приоткрывшегося жерла, дыхание весны и еще чего-то неясного, то ли зов, то ли что. От волнения сон вдруг пропадает, и опять он лежит с открытыми глазами, вслушиваясь в мелодии (то ли по радио, то ли в нем самом), на стене танцуют под порывами ветра, сплетаясь, тени деревьев, и кажется, что времени нет, все по-прежнему молоды и жизни нет конца...

Шамбала

Теперь их шестеро в автобусике, не считая шофера Володю.

Четверо мужчин и Лида с детьми — пятилетней Светочкой и семилетним Юрой. Светочка — тихая и задумчивая, Юра вихраст и серьезен, оба смотрят в окно, за которым горы, горы, горы... Между горами — просинь, постепенно густеющая. На вопросы Юра отвечает смущенно, а иногда просто кивает головой, отчего каштановый завиток на макушке потом долго подрагивает.

Лида часто наклоняется (особенно после очередного ухаба) к Светочке: «Как ты?», но малышка держится достойно: «Ничего...» — и поправляет то и дело сбивающуюся набок сиреневую косынку.

На каждом перевале они делают остановку. Снова звучат тосты, и голос Исидора Санеева, как обычно, перекрывает все остальные. «Ты видишь, как над уль-

ем тьмы, восходит диск луны бестенной?» — эхо ползет по горам, множится, вызывая где-то в недалеких Гималаях снежные негаданные оползни.

Исидор же гремит, коренастый, широкий в кости, почти квадратный, с крупной, ежиком стриженной головой.

Шаманит.

Это он сам так говорит: настоящий поэт — всегда шаман. От него действительно веет древней пещерной силой, особенно в подпитии. Все остальные в окружении гор кажутся маленькими и жалкими, один Исидор им под стать, человек-гора, несмотря на свой небольшой рост.

Своего рода гипноз: он кружится, встает на колени, приседает, проливает водку, машет куском жареной баранины — вихрь проносится над горами, и не надо никаких книг, слова должны раствориться в сияющем свете неба, они как утро, как звон ручья, как накрытые туманом горы, человек должен помнить, что он ничем не отличается от этих гор, от воды, от ветра, нужно сохранять в себе природу и мир, цивилизация — опухоль на теле земли, Запад — закат, Азия — свет, Россия — Евразия, жизнь прекрасна...

И все пьют, в том числе и Лида. Да и как не выпить, не отозваться на огненные, из глубины души рвущиеся слова большого поэта Исидора Санеева?

Поэт Гурьев (он же телохранитель) сочувственно шепчет: «Да-да...»; задумчиво усмехается, вертя в пальцах граненый стакан публицист Пажитов (доверенное лицо), друзья из администрации понимающе кивают...

Кончается тем, что главный из них велит остановиться возле невысокой аккуратной, словно специально предназначенной для сувенира горушки и тут же она, под мелодичный звон сдвинутых сосудов, торжественно преподносится в дар Санееву.

Отныне это — «Исидорова гора».

И главный, поправив сползший в сторону галстук, под общие рукоплескания крепчайше лобызает Санеева. Наобнимавшись, Исидор горным козлом, неожиданно легко для своего кряжистого тела и возраста, взмывает на небольшой выступ метрах в двух от земли и уже оттуда, с высоты льется его возвышенная поэтическая речь: свет-тьма, закат-восход, природа-цивилизация, любовь-ненависть, жизнь-смерть...

Только Гурьев (телохранитель) чуть-чуть дергается, проявляя некоторую обеспокоенность из-за столь неожиданного вознесения своего патрона. И понятно: скользкие лакированные туфли не слишком подходящая для альпинизма обувь. Впереди же еще долгая дорога.

Они уже три дня в пути по горным селениям.

Исидор Санеев баллотируется в депутаты по местному административному округу, ему надо самому проехать везде, выступить перед людьми, узнать про их проблемы и нужды.

Ему нравится это общение, он с удовольствием разговаривает с электоратом и с еще большим читает свои стихи. И надо признать, люди откликаются на поэтическое слово, им нравится этот сильный, властный, знающий жизнь человек со смуглым мужественным лицом и пламенным темпераментом.

Удивительные слова он находит для людей, но самое главное для него, самое заветное, самое магическое — Шамбала.

Оно и понятно: именно здесь, по соседству с сияющими вершинами Гималаев (крыша мира), это слово звучит как нельзя более зазывно и чарующе: Ша-м-ба-ла!

Где-то здесь (или там), совсем недалеко, за неприступными, непроходимыми отрогами, крутыми рассе-

линами и пропастями, за альпийскими лугами и вечными ледниками — да, там (почти что здесь) она, колдовская, осиянная нездешним светом, таинственная.

Душа обмирает.

Лида восторженными глазами смотрит на Санеева, на горы, на небо, на березовые колки, на бирюзовую воду Катуня... Ах, как ей нравятся здешние места, более красивых она нигде не видела. До иных островков здесь и цивилизация еще не добралась. Древность такая, что трудно поверить. Рисунки наскальные.

А люди какие! Люди... И в них что-то древнее, первозданное. Потрясающе!

Лиду с детьми подобрали в одном из поселков. Объявилась она неожиданно, запыхавшаяся, с огромным рюкзаком (больше нее), да и на ребятишках прицеплено нечто... До Токмаково ей. Нельзя ли с ними?

Лида — москвичка, в командировке от одной из центральных газет, готовит материал о Рерихе, тот тоже бывал в этих местах. Вот уже два месяца она здесь, и все никак не может успокоиться — такая красотища! Такой простор! Так к близко к небу! Рерих, кажется, говорил: Алтай и Гималаи — два магнита, два устоя.

А какое горловое пение она слышала!

«Шамбала — там...» — показывает она рукой туда, где в предвечернем темнеющем небе изредка вспыхивают оранжевые и бордовые полосы.

Светлые, словно выгоревшие волосы, косынка на шее, джинсики, совсем еще молодая. С детьми.

Лида-Лида...

Время от времени Санеев, подсакивая грузным телом на очередном ухабе, спрашивает Лиду, как это она не боится одна, в такой глуши. Да еще с детьми. Тут

ведь всякие ходят, мало ли кого можно встретить, — и в голосе кандидата неодобрение.

Странная эта Лида.

Говорит, что дети — ее защитники. Семилетний Юра (независимый вид) и пятилетняя Светочка (носик кнопочкой). Ладонью гладит ласково по волосикам. И что здешние духи оберегают тех, кто пришел сюда с чистым сердцем.

Слова.

Почему-то Санеева беспокоит такая отвага Лиды, как будто нет вокруг никаких опасностей, особенно для одинокой молодой женщины, такая ее самостоятельность (да еще с детьми).

Низко наклоняясь к Лиде при очередном сотрясении, Санеев качает крупной головой.

Горловое пение... Причем тут пение?

Ох, велика Россия, далеки здесь расстояния между населенными пунктами, да и дороги — ох! Тяжело колотится сердце выдавшей виды «газели», напрягаются, накручивая километры, колесные оси, амортизаторы, подвески. Пыль дорожная ложится плотным слоем на лицо и сиденья.

Очередной привал возле источника.

Бутылка водки, баранина, помидоры на расстеленной скатерке, граненые стаканы.

Пока Лида с детьми удаляется за ближнюю горушку, Санеев перекидывается с доверенными лицами о женщинах. Трудно с ними, беда просто! Особенно с городскими. И что им дома не сидится? Еще ведь и детей за собой таскают. Рерих, понимаете ли! А как же семья, муж, дом? Все им шамбалы-мамбалы мерещатся, шуры-муры всякие...

Коллега (и телохранитель) Гурьев кивает: «Да, да...»

Нет, все-таки сечь их надо, сечь, чтоб знали свое место. А то слишком много воли взяли, закусили уди-

ла — не удержишь. Не в традициях это, чуждое, неправильное.

Журчит ледяная вода в роднике, ломит зубы — хорошо! Водка хорошо, вода хорошо, баранина хорошо! Россия не Запад, у нее своя статья, свой путь, свое назначение.

Правда ведь, как только муж отпускает? А скорее всего, безмужняя. При муже-то вряд ли. А впрочем, нынче все возможно, все эти тлетворные веяния, феминизмы-эмансипизмы всякие. Обидно!

— Лидка, — громыкает Санеев, заметив появившуюся из-за горушки Лиду с детьми, и машет рукой, — иди к нам, закуси...

— Поедьте, — говорит Лида, — время позднее, детям спать пора...

— Не торопи, Лида, — говорит публицист Пажигов. — Жить надо плавно, в гармонии... А то все спешим куда-то, все торопимся... — Выпей лучше, — и тянет Лиде стакан.

— Шамбала зовет, — шутит Исидор.

Они все еще едут.

Ночь вокруг, только свет фар выхватывает из темноты округлые очертания гор да неровные срезы березовых рощиц. И далеко вверху сиреневый свет звезд, затуманенных млечной дымкой. Необъятно мировое пространство, человек в нем мал и немощен, и где-то совсем неподалеку, за снежными вершинами и утесами великих Гималаев, где-то там (где?) она, страна святых и отшельников, краеугольный камень мира — Шамбала.

Мужчины закуривают.

— Эх, Лидка-Лидка, и что ты с нами делаешь? — хрипло произносит Санеев и гладит Лиду, как ребенка, по голове. — Глупая ты баба, непутевая, ты уж на меня не обижайся, я ведь любя, сама понимаешь.

— Конечно, конечно, — отстраняясь, быстро говорит Лида.

— Что Юра, непутевая у тебя мамка, да? — преследуя какую-то свою тайную глубокую мысль, обращается теперь Исидор к клюющему носом мальчугану, и не дождавшись ответа, повторяет: — Непутевая, да...

— Может, вы не будете курить, — просительно произносит Лида. — Все-таки дети в автобусе.

— Ну, это никак невозможно, — возражает Исидор. — Как это не покурить? А я вот вам сейчас стихи читаю? Хотите?

Пристально глядя на женщину, он тихо и размеренно начинает, тихо и размеренно, словно гипнотизируя ритмом, но постепенно увлекается, голос его поднимается все выше, становится все громче, и тесно уже Исидору в автобусике — то привстанет, опираясь коленом о сиденье, то выбросит вперед сильные руки с растопыренными пальцами, то вдруг почти упадет на Лиду или схватит ее за плечо и потянет к себе, горячась и, кажется, впадая в сомнамбулическое состояние.

Испуганно жмется в угол Лида, закрывает собой задремавшую Светочку, а Исидор, как горный орел, крылит над ней, готовый вот-вот стремглав пасть на свою жертву и унести в царственных когтях к себе на горную вершину.

В какое-то мгновение стихи, видимо, иссякают, и Исидор, низко склоняясь к Лиде крупной головой, говорит:

— Нет, ты посмотри, женщина, какая рука, — он сжимает и разжимает толстые узловатые пальцы, — эта рука способна подковы гнуть, а ведь она — нежная, если бы ты знала, какая она нежная! Но она может быть и твердой, — неожиданно суровеет Санеев, откликаясь, похоже, каким-то тайным своим мыслям. — Она

может быть железной, чувствуешь? — Пальцы Санеева сжимают запястье Лиды. — Чувствуешь?

Тяжелая рука обвивает ее стан.

— Чувствуешь?

Лицо Лиды тонет в полумраке и не совсем понятно, чувствует она (и что?) или не чувствует.

Но Исидор, кажется, и не ждет ответа. Одна рука его по-прежнему обнимает Лиду, другая ловко перехватывает у Пажитова протянутый стакан с водкой.

Юру и Светочку мутит. Мальчик прижимает взмокший от неожиданного жара лоб к прохладному стеклу, в сощуренных глазах бледные вспышки. Светочка пьет из пластмассовой бутылочки ледяную родниковую воду, зубы постукивают о край, вода проливается.

— О Господи! — тяжело вздыхает Лида.

Мужчины, загасив сигареты, смущенно затихают. Исидор, нахохлившись, мрачно смотрит вперед, голова задремавшего Пажитова время от времени падает то на грудь, то на плечо Гурьеву.

— Сейчас уже будет Токмаково, — успокаивает шофер, — чуть-чуть осталось...

И действительно, не проходит и пяти минут, как на повороте из мрака выныривают редкие огоньки деревни, куда так стремилась Лида. Она с детьми выгружается, шофер помогает ей с рюкзаком.

— Спасибо, что подвезли, — бормочет в немую полутьму автобуса Лида.

Как водится, в последний миг из-за облаков выныривает серебристый рог луны с розоватым, каким-то нездешним отсветом-тенью, выхватывает из окружающей мглы смутно проступающие очертания гор.

А там, дальше, в глубине, в вышине, в неведомых пространствах, где-то там она, кристалл невиданной чистоты и красоты, — царственная страна.

Шамбала...

ЛАПЛАНДИЯ

История одной болезни

Повесть

Ловлю себя на том, что продолжаю с ней говорить.

Ну да, ее нет, а мне все кажется, что мы разговариваем, и это вовсе не во сне. Даже не столько я с ней, сколько она со мной. Собственно, так и было. Она говорила, а я удивлялся себе, что слушаю. И меня даже не смущало, что она заполняла разговор собой, хотя, случалось, неожиданно переключалась и на меня, подробно выпрашивая о моих делах и вообще. Все ее вдруг начинало интересовать, даже такие вещи, о которых обычно не принято спрашивать.

Непосредственность, с которой она вторгалась в самые разные, в том числе и достаточно интимные материи, была по-своему обворожительна, и задавала она вопросы с той естественностью, какая возможна только между очень близкими людьми, и не просто близкими, а довольно долго живущими вместе.

Мы же оставались просто друзьями (после довольно быстротечного романа), изредка перезванивались, изредка встречались, одним словом, поддерживали отношения.

Ну и разговаривали...

Не знаю почему, но, видимо, это настолько вошло в меня, что теперь я как бы ощущаю в себе два сознания. Это можно счесть признаком начинающейся шизофрении, однако на самом деле со мной все нормально, никакого раздвоения и бреда нет, вслух я с собой не разговариваю и женским именем себя не называю, да и по ночам никого не зову и не вскакиваю.

Тем не менее я действительно слышу ее голос, ее интонации, и часто вещи, на которые я бы не обратил внимания, вдруг проявляются во мне в оболочке ее слов и даже с ее интонацией. И тогда мое зрение перестает быть только моим, к нему примешивается нечто иное...

Честно говоря, я не подозревал, что так будет. И не думал, что в конце концов дойдет до мучительной тоски по ней. Потому что когда часто слышишь голос и он что-то значит для тебя, то постепенно обостряется желание увидеть говорящего, дотронуться до него, ощутить живое тепло плоти... Даже не знаю, как это произошло. Для себя я определил это как «травму отсутствия» и тут же понял, что это не мое определение, а ее, Ледино. Так бы, скорей всего, она и сказала. Леда любила давать определения, как бы извлекая из явления сгусток смысла, а потом уже начинала играть с ним, как с мячиком, подкидывая вверх, ударяя об землю или бросая мне и ожидая ответного паса.

Наши виртуальные разговоры ничуть не смущают меня, единственное, что меня тревожит — до

какой степени способна распространиться такая экспансия.

Можно, конечно, двигаться в другом направлении, а именно к даче по Рублевке.

Так вот, дача.

Лес в полкилометре, тропинка вьется к железнодорожной станции, мимо высоких мачтовых сосен. Река, блестящая зеркальностью воды, на которой время от времени возникают круги от плеснувшей рыбы либо прочерчивают свои извилистые маршруты возле берега жуки-плавунцы, образуя на поверхности рябь, часто принимаемую за клев. Участок большой, чуть ли не с гектар, и на нем сосны и ели, дом — бревенчатый, двухэтажный, с мезонином, настоящий дачный дом, в котором можно жить и зимой. В доме самая простая, сильно подержанная, а иногда и обветшавшая, но вполне стильная (а ла 19 век) комиссионная мебель, отслужившая свой вековой городской срок и теперь доживающая здесь, как заслуженный пенсионер, впрочем, продолжая свою преданную работу. От этой долгой службы в доме какой-то особый, немного затхлый, сыроватый, припахивающий мышами и пылью воздух, особенно ранней весной или поздней осенью.

Собственно, все и началось с этой дачи, с тропинки к ней через лес, вдоль реки, мимо колодца с чистой родниковой водой. Там мы познакомились, и туда она поехала в последний день, в свой самый последний день... Должна была туда поехать непременно, потому что это было ее заветное место, и она должна была проститься с ним, не могла не проститься...

Там все пахнет детством, говорила она, хотя нельзя сказать, что была сентиментальна. Едва сойдя с электрички, тут же начинала шевелить тонкими ноздрями

небольшого аккуратного носика — не просто вдыхала легкий загородный воздух с замешавшимся в него горьковатым дымком костерка от сжигаемых где-то листьев или травы, а выбирала свои запахи, родные, памятные опять же с детства — бузины, папоротника, цветущего шиповника, того же дымка... Ноздри шевелились, как у гончей, вышедшей на след. И шла по направлению к даче целеустремленно, словно торопясь к чаемой давно цели, сосредоточенная, собранная, молчаливая. Это потом я стал догадываться, что она, возможно, уже тогда то ли решалась, то ли, приняв решение, готовилась к предстоящему расставанию, и каждый шаг, каждый вдох, каждое движение были для нее прощанием.

Ее тянуло туда постоянно, хотя на этой самой дорожке с ней случались всякие неприятные вещи, особенно в последние месяцы, словно кто-то (Ледина версия), догадавшись о ее тайных намерениях, нарочно стремился избавить ее от предстоящих тягостных переживаний, связанных с близящимся расставанием, старался помочь ей освободиться от привязанности к этому месту.

Здесь поздно вечером (не боялась ходить одна, часто возвращаясь сюда из города после работы) за ней как-то увязался маньяк не маньяк, но явно озабоченный — шел рядом с ней и все пытался склонить ее к соитию, она отшучивалась, говорила (тонкие губы складывались в горькую усмешку, они у нее почему-то всегда горько кривились, когда она иронизировала или шутила, словно знала про жизнь что-то очень нелестное, но вынуждена была с этим смиряться), что на земле сейчас холодно (вечер был прохладный), неуютно, никакого удовольствия, даже куртка озабоченного (предложил) не поможет, и так, мягко отстраняя, обволакивая словами, дотянула до опушки, где близко уже были дачи, — и тут

уже стало понятно, что преследователю ничего не светит.

«А может, надо было уступить ему?» — такая под конец неожиданная реплика.

Это было в ее духе. Ее неожиданные эскапады поражали всех, в том числе и меня, хотя, наверно, пора бы к ним уже и привыкнуть. Она могла, крепко захмелев, например, вскарабкаться на стол и устроить на нем стриптиз. Могла постричься наголо и так щеголять на светских раутах. Ей ничего не стоило прыгнуть одетой в водоем около какого-нибудь фонтана, в самом центре города, и там весело плескаться, подобно маленькой девочке.

Вообще в этой невысокой красивой зрелой женщине жила пятнадцатилетняя озорница, неугомонная проказница, любившая всякие шоу — то ли для самой себя, то ли для других, и никогда нельзя было быть уверенным, что все пройдет гладко и мирно.

Однажды в какой-то компании прицепилась к человеку только потому, что тот как-то нелестно отозвался о некоем писателе, имени которого я даже не слышал. «А что вы читали из его произведений?» — строго спросила она. «Не имеет никакого значения, его позиция меня не устраивает — вот и все», — попытался уклониться тот. «Погодите, как это не имеет? — возмутилась Леда. — Назовите хотя бы одно!». Поскольку компания была довольно разношерстная и, в общем, не очень знакомая, запахло скандалом. Человек здесь пользовался авторитетом, Леда же нарушала некую субординацию.

А это еще хуже. Стоило ей почувствовать что-то искусственное, нарочитое, какие-то негласные правила игры, как она их тут же стремилась нарушить. Ну да, нарушительница. Самая настоящая. Сначала незаметно, но постепенно все ярче и ярче в ней раз-

горался огонь, который в какое-то мгновение непременно должен был взметнуться и обжечь тех, кто был рядом. Ее начинало нести и остановить было невозможно.

Пассионарная натура! Ее энергия просто перехлестывала через край, не находя себе выхода и перерастая в агрессию. Безудержное веселье легко могло превратиться в столь же безудержное отчаяние. Отблески темного пламени начинали вспыхивать в смуглом лице, все более напряженном. Остановить ее было трудно, только если крепко взять за руку, как расшалившуюся девчонку (попробуй-ка) и, пока не поздно, увести прочь.

Однако поздно было с самого начала. Хотя, конечно, так бывало не всегда, могло и пройти достаточно мирно — вообще-то ее любили, как любят красивое и своенравное, подчас непредсказуемое существо. Смиряться с ее вспышками.

В непредсказуемости есть романтика, и, если честно, меня это тоже влекло, — с ней не было скучно. Беспокойно — да, но не скучно.

Правда, частенько я не мог отделить в ней естественность от представления, причем настолько тесно слитых, что и впрямь не поймешь, где правда, а где фантазия. Иногда выходило безупречно, а иногда...

Звонок в дверь. На пороге Леда, на плече черная выгнувшаяся скобой кошка. Бледное лицо рядом с мглистым, растворяющимся в сумраке зверем.

Эффектно.

Кошку только что подхватила на лестнице. Кошка мяукает, выгибая спину, цепляется когтями за свитер и, видимо, больно прихватывает кожу, отчего Леда морщится, и только это выдает некоторую натяжку. Мизансцену надо выдержать. В конце концов зверь с утробным мяком спрыгивает на пол и шмыгает обратно на лестничную клетку.

Финита. Леда страдальчески кривит губы (кошкатоки покарябала ее). А может, ее ранит незадача с мизансценой, вероятно, отразившаяся и на моем лице.

В Лапландии мы и познакомились.

На какой-то вечеринке в городе, которая оказалась чрезвычайно скучной, приятель предложил потихоньку слинять и рвануть, пока не слишком поздно, на одну дачу (тогда я впервые услышал это странное имя — Леда), не очень далеко от города. Была весна, конец мая, субботний вечер, и домой не хотелось. А за городом цвели вишни и яблони, воздух был — застрелись... Так я и оказался там, и уже приближаясь к грубовато сколоченному забору, который потом почему-то волновал меня не меньше, чем сам дом), мы услышали громкие веселые голоса, смех и крики — там всю бурлила жизнь.

Леда была в джинсах и светлой блузке с низко растегнутым воротом. На шее — медальончик. Потом мне часто вспоминался этот момент, когда я впервые увидел ее. Я ее действительно увидел: распахнутые окна, луна, прозрачные майские сумерки, фонарь за забором, ранняя, нежно зеленая, еще не заматеревшая листва, неподалеку от дома костерчик — таинственное смешение света и тени, отчего кожа у нее фосфоресцировала, а в лице было какое-то непередаваемое выражение...

Народ беззаботно веселился, играя в какие-то детские игры вроде фантов и попивая вино, а мне почему-то нужно было срочно еще раз заглянуть в ее лицо, снова поймать взгляд...

Когда я рассказал ей про тот, первый вечер, она только пожала плечами: ну и что такого?.. Просто произошло совмещение каких-то энергетических по-

лей (разгадка), вот и все. Ведь не с каждым же, кто с ней знакомится, происходит то же самое.

Совмещение энергетических полей — лично мне это ничего не говорило. Я ощущал не некие загадочные мистические поля (то ли есть, то ли нет), а — себя самого, свою раскрепощенность и легкость рядом с ней.

Думаю, это происходило именно благодаря ей. Если что-то делала, то делала это как бы для себя, так, словно иначе не могла и тем самым всю ответственность брала на себя, а не уступала чьему-то там давлению или домогательствам. Она полностью совпала с собой (так казалось) — редкое свойство. Могла казаться экспансивной, экстравагантной, взрывной, капризной, непредсказуемой, невыносимой, какой угодно, но все это настолько безоглядно, что зазора не возникало. И ты сам невольно подтягивался к этой цельности — без малейшего усилия, словно так и должно быть.

Не забуду ее впервые обращенное ко мне для поцелуя лицо. Только теперь, когда все уже стало прошлым, я вижу и ее внезапную решимость, и волнение, и невероятно расширившиеся зрачки.

Это произошло там же, на даче, во время следующего моего визита туда, перед самым отъездом... Мы прощались, и вдруг — словно короткое замыкание. В сумерках лицо-глаза-губы — совсем близко!

Да, лицо.

В какие-то мгновения оно вдруг становилось у нее сосредоточенно-печальным, замкнутым, отрешенным, с горькой складкой у губ, словно она съела что-то очень невкусное. Или казалось, что вот-вот заплачет. Но плачущей я ни разу не видел ее.

Во всяком случае при мне — ни разу. И никогда не поднимала голос. Обижаясь, темнела смуглым ли-

цом, уходила в себя, смотрела невидящими глазами, словно тебя не было рядом. Словно ты исчез, растворился в воздухе.

Однажды я сказал: «Ты сильная». Разговор тогда, кажется, зашел о наших все более осложняющихся, уже почти исчерпанных отношениях, хотя под пеплом еще что-то продолжало тлеть (и как я потом убедился, во всяком случае касательно себя — так и не угасло окончательно) — нас неудержимо относило в разные стороны.

«Да, ты так считаешь?» — Она даже не усмехнулась, но в этом ее вопросе отчетливо послышалось несогласие.

Правда, градус ее жизненной силы иногда резко падал, почти до нуля, причем в самых странных ситуациях, — вдруг охватывала черная меланхолия (но и тут чувствовалась какая-то недюжинная сила — отрешенность и горькая складка у губ, а не романтическая грусть), особенно весной.

Именно весной у нее начиналось что-то вроде депрессии. Такое ощущение, говорила, что от тебя что-то требуется, причем очень настойчиво, а ты не знаешь что. Это как болезнь, только без каких-то особенных физических признаков, просто тоска...

В одну из таких минут она сказала: «Мне кажется, я скоро умру...»

Тогда я не придавал этой фразе большого значения — все мы иногда так говорим, как бы примеряя на себя, хотя по-настоящему мало кто в это верит. Но тем не менее допускаем, и произносим с кажущейся беспечностью, будто стараясь привыкнуть к самой мысли, приучая себя к ней. Или просто напоминаем себе.

Кто-кто, а уж Леда меньше всего вызывала мысли о небытии — столько в ней было азарта жизни.

А может, в иные минуты она догадывалась? Подозревала что-то?

Или слышала зов небытия, потому что иногда этот зов становится не просто различим среди прочего, но и неотступен, заглушая все остальное. Он, как песнь Сирен, завлекает в неведомое, обещая покой и тишину — ту абсолютную свободу, которой бессознательно жаждет человек и от которой сломя голову бежит.

Однажды (в детстве) Леда слышала, как бабушка говорит отцу, что не может найти с внучкой контакта. То есть с ней, с Ледой.

Это у них было общее слово — материно и бабушкино (несмотря на их более чем прохладные отношения, «вооруженный нейтралитет», как определил сложность их сосуществования отец) — «контакт». То есть понимание, вроде так. Но что-то это слово подразумевало и еще, понимание — одно, а контакт — другое. Контакт без понимания возможен, а понимание без контакта — нет.

Обе они, мать и бабушка, обидевшись, сторонились друг друга так, словно совсем чужие (и вправду чужие, поскольку бабушка как никак была матерью отца). Закаменевали. Так и с Ледой. Да и с отцом тоже, на которого обычно сливали каждая свое, стараясь перетянуть на свою сторону, а тот, бедный, пытался лавировать и спотыкался на ровном месте, — казалось, им обеим доставляло удовольствие мучить его.

Мать — сыну (касательно его нежелания ссориться с женой): «Ты тряпка!» Жена — мужу (касательно его нежелания встать на ее сторону ввиду несправедливых упреков со стороны свекрови): «Ты маменькин сынок!»

Если отец не выдерживал и начинал выяснять отношения, пытаюсь установить равновесие и хрупкий мир, то ссорился с обеими и в конце концов сбегал в контору, отсиживая там до позднего вечера и возвращаясь, когда жизнь дома сонно замирала.

У бабушки был свой задвиг: не могла простить отцу женитьбы на матери. То есть не то что бы она так люто ненавидела мать, скорей всего обычная ревность и властность, усугублявшаяся совместной жизнью с семьей сына. Банальный такой расклад, из которого каждый выбивался как мог, пытаясь найти некое оригинальное решение. Мать Леды абстрагировалась от быта, заявляя, что она не хозяйка здесь, и чуть что — тоже норовила куда-нибудь исчезнуть из дома: на концерт или выставку, к подруге или в парк, или, как и Леда, в Лапландию — короче, старалась жить другой, отдельной от дома жизнью. Отец сопровождал ее не часто, предпочитая свою лабораторию, даже в выходные дни.

А потом случилась эта страшная болезнь, которая достаточно быстро сожгла мать дотла, так что бабушка осталась царить на своей Медной горе в гордом и непримиримом одиночестве, ведя борьбу со своими собственными многочисленными недомоганиями (возраст!): чем хуже самочувствие (сердце, желудок, желчный пузырь, сосуды и пр.), тем больше обида и отчуждение, строже голос, мрачней вид, да и любимый Ледин борщ все реже и реже. Все неприступней крепость.

Только если уж ее очень сильно прихватывало (сердце), то тут она неожиданно радикально смягчалась, даже кроткой становилась, вполне искренне, вероятно, из чувства самосохранения избегая каких-либо резких движений и конфронтаций. Даже с невесткой (когда та еще жива была) ее отношения несколько сглаживались: они начинали разговаривать, а не пререкаться, как обычно, или угрюмо и гордо молчать, подчеркивая тем самым свое неприятие.

Тут-то и обнаруживалась в ней бабушка, та самая, которая могла положить сухую прохладную ладошку на головку внучки, положить и погладить по волоси-

кам, навевая мир и покой. Старая седая бабушка (до последнего дня не старая и не седая, а бодрая и деятельная, несмотря ни на что), пахнувшая борщом и пирогом с яблоками.

Такая она приходила к Леде в ее снах, из каких-то детских неосуществленных фантазий. Тенью приходила, старая, кроткая, добрая. Может, это вовсе и не ее бабушка была, кто знает.

О подозрении на болезнь я узнал не от самой Леды, а от нашей общей знакомой Р. Ты разве не в курсе?

От той же болезни умерла мать Леды, когда дочери было пятнадцать, и в их доме если слово это звучало, то с каким-то чуть ли не мистическим оттенком — страшное. На нее произвело такое большое впечатление, что потом любое собственное непонятное недомогание стало казаться симптомом. Любая припухлость на теле вызывала панический ужас и заставляла ощупывать, оглаживать подозрительное место — не стало ли больше, не растет ли, мягкое или твердое?

Стоило чему-то заболеть, тут же накатывало: оно!

Даже если и нет, то, возможно (что-то ведь там не то?), зарождается.

С тех пор Леда ненавидела разговоры о болезнях. Ты не представляешь, сетовала, как это жить в доме, где кто-то давно болеет. Такое впечатление, что жизнь остановилась и прокручивается снова и снова на одном месте, как заезженная пластинка. Сплошная физиология. Как работает желудок, во сколько проснулся и когда заснул, подействовало лекарство или не подействовало, там болит — здесь не болит, высокое давление или низкое — клиника...

Мать, бабушка...

Леда не считала себя хорошей дочерью или внучкой. Когда болезнь (и страдание) становятся привычными, к ним трудно относиться с сочувствием. Та же

рутина, как и все прочее. Она уезжала (убегала) в Лапландию и оттуда моталась сначала в училище, а когда стала работать — на службу, чтобы каждое утро не выслушивать очередной отчет о том, был ли накануне стул и какой — жидкий или твердый, или имеет место запор (два-три-четыре дня). Это ужасно, когда дом превращается в больницу, пахнет лекарствами, мочой, карболкой, еще чем-то... Невыносимо, когда каждый день повторяется одно и то же — те же слова, жесты, выражения лица... Вроде постоянный упрек тебе, что ты — молодая, здоровая, легкая на подъем... Вроде как ревность. И разумеется, недовольство, что мало внимания, хотя, видит Бог, она, Леда, старалась.

Конечно, ей было жаль мать, жаль бабушку. Тяжело видеть, как на твоих глазах родной человек превращается в тень, когда исчезают потребности, желания, иссякает интерес к жизни и все сводится к одному — собственному сегодняшнему состоянию. С этим трудно смириться, но и сделать ничего тоже нельзя. Повисало неподъемно, вызывая вину не вину, но что-то в этом роде, тягостное.

Вот-вот, не оттуда ли?

Вроде как месть матери (бабушки) дочери (внучке) за равнодушие (которого на самом деле не было).

Думать так было не хорошо, но Леда с каждым днем сбрасывала тонкий слой условностей: хорошо-не хорошо, кого это волнует?

Похоже, подозрение, о котором сразу догадалась (чуткая) по поведению врача, застало ее врасплох. Она тут же сорвалась в Лапландию и там напилась до положения риз.

Я знал за ней это свойство: она вообще не умела пить, хмелела от одной рюмки и потом начинала вытворять глупости. А стоило выпить чуть больше, становилось дурно. Она это тоже знала и потому всячес-

ки избегала спиртного, предпочитая сигареты — тут она себя не ограничивала. Когда в руках у нее не было тонкой дымящейся бумажной трубочки, она чувствовала себя не в своей тарелке. Сигарету обычно не выкуривала до конца, и вообще процесс был неотрегулированный: та могла гаснуть по десять раз, она ее зажигала, чиркая спичками или зажигалкой, которых у нее валялось бесчисленно где попало, даже в шкафу с посудой.

Так вот, напилась она в тот день страшно — сидела на веранде одна и глушила рюмку за рюмкой «Кагор» (водку не переносила), который купила в киоске на станции.

Был сентябрьский сравнительно теплый вечер, в приоткрытое окно вливался щемящий аромат осенних листьев и сырой земли. Ей вдруг все показалось сном — поликлиника, напряженный взгляд врача, просмотревшего ее рентгеновский снимок и результаты анализов, его сразу изменившаяся речь, какая-то дерганная, невразумительно-уклончивая, мудреные словечки и термины, она и расслышала мгновенно — тревогу.

То, что вдруг почудилось в его словах, тут же встало стеной между ней и жизнью. Но между ней и жизнью здесь, в городе, где была больница, квартира, разные конторы, для которых она что-то делала как дизайнер.

В Лапландии эта стена должна была рухнуть, распаться на мелкие кусочки, испариться как призрак. Она и рванула туда, чтобы вернуться в прежнее состояние неведения, безопасности, уютности бытия. Но оказавшись в доме, который знала чуть ли не с самого младенчества, где все-все, буквально каждая вещь, говорили с ней на языке детства, юности, любви и доброго соучастия, она вдруг осознала, что то, прежнее состояние недостижимо — стена была и здесь.

Такая романтическая картинка: красивая женщина пьет вино на дачной веранде, курит и смотрит в окно на осенний багряно-желтый сад.

Потом бродила, едва держась на ногах, по участку, ее выворачивало на опавшие красно-желто-зеленые листья, и кончилось тоже тоскливо, как и должно было кончиться: лежала плашмя на диване, подставив поближе к изголовью пластмассовый тазик и время от времени роняя к нему голову...

Это она уже проходила (в самые скверные минуты) и даже название придумала: «кланяться тазику»... Без этого, говорила, тоже нельзя. «Тазик» ставит человека на место — чтобы не заносился. Если вдуматься, жизнь вообще не терпит праведности и правильности, о чем, кстати, свидетельствуют разного рода жизнеописания святых. «Тазик» — один из способов подобного опускания и напоминания, сколь грешен и слаб человек. Причем — самый, можно сказать, щадящий. Тут только физическое недомогание, без особых нравственных мук. Как если бы случайно отравился недоброкачественным продуктом.

Ну да, «тазик» был своего рода профилактическим средством: сбрасывал человека с горних высот духовного самоупоения или слишком завышенного представления о себе. Причем не обязательно даже путем алкогольного отравления, но и всякими прочими физиологическими отправлениями, в какой-то момент усиливая их до болезненности. Те же женские критические дни — природный остудитель всяческих самообольщений, мастурбация — как противовес вдохновенным романтическим заносам и пр. и пр.

В своих рассуждениях она бывала на редкость откровенна и, можно сказать, цинична. Мне иногда казалось, что *так* нельзя говорить, что тем самым нарушается некий баланс добра и зла. Она же ничуть

не смущалась, ошарашивая словами, которые лучше бы не произносить вслух. Забавлялась.

Как бы там ни было, но «тазик» в тот сентябрьский вечер ей, судя по всему, помог. Уже на следующий день она, несмотря на довольно тяжелое состояние, была способна мрачно, но более или менее спокойно обдумать ситуацию. В конце концов, никто ведь не застрахован. Что-то еще можно предпринять, к тому же и окончательного диагноза пока нет, предстоит дальнейшие исследования, так что, даст Бог, все обойдется.

В тот же вечер ее и посетила вдруг довольно отчетливая мысль (засевшая крепко и даже показавшаяся выходом, какая-никакая, а надежда), что теперь она может спокойно поехать к отцу в Штаты. На худой конец, повидать что-то новое, ну и, разумеется, медицина... Отсечь все предыдущее. Закончить одну жизнь и начать другую.

Отец давно звал ее к себе в Лос-Анджелес, а овдовев вторично, делал это еще более настойчиво, чем прежде. Особенно состоятельным его назвать было нельзя, но, с другой стороны, и не бедствовал, все у него было в порядке. Биохимик, он еще продолжал консультировать в крупном научном центре, где и ей подыскал какое-то местечко, так что не пропадет. Устроится, получит страховку, серьезно займется здоровьем. Отец был убежден, что она должна ехать, в конце концов она может и вернуться, если не приживется, никто ее гражданства не лишает. И она вдруг ощутила, что надо ехать, раз уже вещи здесь отторгают ее — всякие с ней случаи начали происходить.

Только что у нее в метро украли паспорт и кошелек, прямо из сумочки. Она даже не почувствовала. Ей можно было поверить: могла и не почувствовать. Дело даже не в том, что работали профессионалы (так

и было, наверно). Она подчас настолько погружалась в себя, что не заметила бы и исчезновения сумочки вообще, особенно теперь, когда решалась и не могла до конца решиться.

Может, это и стало одной из последних капель, потому что она сильно колебалась. Так сильно (плюс еще подозрения на болезнь), что встретить на улице — не узнаешь: лицо из смуглого превратилось в желтое, резко обозначились скулы, глаза стали еще больше, а главное, в них появилось не свойственное ей раньше (к горькой складке) выражение затравленности. Не то что б постоянное, но возникавшее вместе со складкой.

Что говорить, решение не простое, особенно для нее.

С отцом странные были отношения.

Чуть ли не боготворила его (говорила, что в детстве не могла заснуть, если отца не было дома, прислушивалась к шорохам в прихожей: пришел не пришел — он подолгу задерживался в институте), с другой — делала все так, будто хотела насолить ему. Все понимала, но поделаться с собой ничего не могла. Да и хотела ли, если честно? Что это было — своеволие, эгоизм? — трудно сказать.

Похоже, у нее было атрофировано то, что обычно называют чувством долга. Еще в детстве родители пытались ей втолковать, что нельзя жить, только подчиняясь собственным желаниям, есть еще и обязанности — то, что человек должен выполнять независимо от того, хочется ему или не хочется. Утром, перед уходом на работу, отец заглядывал к ней в комнату и просил прийти пораньше, чтобы поговорить, она соглашалась и приходила поздно, когда родители спали (маялись в ожидании).

Ей прощали (а может, просто терялись, не зная, что предпринять), но однажды, когда она пришла аж

под утро, не предупредив, не позвонив, отец встретил ее у порога и сказал: «Уходи!» Она сказала: «Отлично», с высокомерной такой усмешкой, дескать, наконец-то! Наконец-то ей не надо будет ни перед кем отчитываться, зависеть от кого-то, наконец-то ее оставят в покое и не будут доставать своими нравоучениями.

Скорей всего, именно эта усмешка и допекла отца. Он схватил дочь за воротник и, буквально втащив в квартиру, отхлестал по щекам. Это был первый и последний раз, когда он дотронулся до нее. Она смотрела на него сухими воспаленными глазами и видела неузнаваемое, искаженное гневом лицо.

Потом она сидела запершись в ванной, на холодном полу, прижав колени к подбородку и, словно окаменев (с ней бывало — обидевшись, будто впадала в столбняк), такими же сухими бесслезными глазами смотрела перед собой. Тихий стук вывел ее из этого состояния. Пусть она его простит (из-за двери), пусть не обижается, он ведь не хотел. Это он не ее — себя ударил.

Она не отвечала, не открывала, но отец продолжал стучать, не уходил, что-то бормоча в дверную щелку глухим, виноватым, жалким голосом. Ее вдруг начало трясти, сначала сухо, потом прорвало — полились слезы, причем так, что полотенце, которое взяла, сразу насквозь вымокло. Она давно не плакала (и вообще редко), а теперь всхлипывала с каким-то наслаждением. Даже не помнила, как открыла дверь.

Иногда трудно было понять, правду говорит или нет. Это еще в детстве началось и потом так и не кончилось. Часто она представляла ситуацию такой, какой ей хотелось (или кто-то должен был так видеть). Прогуливая школу, она беззастенчиво вешала на уши родителям про готовящийся фестиваль песни, в котором она якобы принимает активное участие.

тие (репетиции до одиннадцати вечера) или литературный конкурс (она чуть ли не в жюри и допоздна засиживается, читая представленные работы). Это могли быть капустник, соревнования по прыжкам в высоту или помощь пенсионерам соседнего со школой дома...

Родители всякий раз покупались на ее искренность, горящие глаза и почти художественные подробности (она даже исполняла какую-нибудь песню либо показывала эскизы плаката к очередному празднику). А потом вдруг открывалось (или не открывалось), что никакого концерта или выставки и в помине, а она мало того, что где-то допоздна ошивалась, еще и целую неделю (если не больше) не была в школе. Своего рода двойная жизнь — реальная и вымышленная.

В школе ей было откровенно скучно, и она к классу девятому этой скуки уже не в силах была выносить. Если раньше только присутствовала (как сетовала директриса), только отсиживала, не проявляя никакого интереса к тому, что происходит на уроке, смотрела в окно и о чем-то мечтала (о чем?), раздражая учителей, то в старших уже откровенно манкировала и вела себя вызывающе.

Родителям, конечно, это далось довольно дорого (теперь-то осознавала) — вызывали к директору, грозили исключением, никто в доме не спал, дожидаясь ее возвращений (единственная дочь!), бросались на ее поиски, даже пытались запирать, но все напрасно. Вдруг до нее что-то доходило (пробуждение), она на некоторое время включалась, подгоняла, насколько могла, запущенное (способная), но как только все устаканивалось — снова.

Странное состояние — полусна-полуяви, нечто похожее на нирвану: часто она даже не могла вспомнить, что с ней было, когда ее не было. Родители к

ней взывали, к совести и прочему, она терпеливо выслушивала, время от времени возражая, как бы все понимая, однако не всегда соглашаясь, но потом все быстро рассеивалось и... повторялось: где-то она бродила вместо или после школы, шла в парк, в кино, в Пушкинский, Зоологический или Исторический музеи и там в тишине бродила, глаза на картины или чучела (зачем они это делают?), подолгу пялилась на какое-нибудь древнее украшение — серьгу или изъеденный тысячетлетней ржавчиной клинок.

Она и сама не понимала, что с ней. Дурного-то ведь ничего не делала (ну покуривала). Родители, однако, не верили, донимали возмущенно-строгими вопросами: где была, о чем думала, когда прогуливала и прочее.

Да ни о чем не думала! Просто ушла, вот и все! Как это? А вот так! Вдруг стало невмоготу, как если бы она задыхалась, как если бы не хватало воздуха. Не могли поверить, что гуляла одна. Разумеется, одна, она была одна даже тогда, когда гуляла вместе с другими — такое состояние. То есть могла разговаривать, смеяться, валять дурака, но все равно — в отрыве, в каком-то своем пространстве — объяснить невозможно. Что-то протекало сквозь нее, чему не было названия, ветер и поток...

Тогда-то она, кстати, и открыла для себя японскую и китайскую поэзию. Все эти танки и хокку. Басё и Ду Фу. Ворона вспорхнула с ветки, ком снега свалился на землю, ветка трепещет...

Может, как раз тогда и происходило то, настоящее — слияние с жизнью, которого так не хватает.

Отец вдруг как-то подошел к ней (она, помнится, мурыжила какое-то правило по физике), положил руку на плечо и сказал: «А знаешь, мне вдруг показалось, что ты все делаешь правильно: мало ли кто как считает, каждый ведь живет как может и понимает, а

у тебя своя жизнь, значит, и своя судьба. И плевать на прочее! (Тут последовала пауза.) Но и отвечать готовься за все сама, все принимать, что последует — за ошибки, иллюзии, проступки, за все... Расплачиваться-то тоже тебе, а не кому-то другому. Хотя и нам придется, тут никуда не деться, мы ведь не чужие, твое тоже принимаем близко к сердцу. Не забывай только, что жизнь — одна, переиграть ее мало кому удастся, потом слишком поздно бывает, когда спохватываешься.

Что его вдруг тогда толкнуло к этому, какая-токая мысль?

Когда отцу предложили контракт в университете в Лос-Анджелесе, он звал ее с собой, и потом, спустя год или два, когда уже стало ясно, что обратно не вернется (он уже возглавлял там целую лабораторию) и с гринкартой у него был полный порядок, она отказывалась ехать, словно была обижена его отъездом. Хотя понимала, что все он сделал правильно — его институт медленно отдавал концы, зарплату платили мизерную, да и ту задерживали. И народ стал малопомалу расползаться — кто раздобывал грант, кто уезжал по контракту, кто ударился в коммерцию — жить-то нужно.

Между тем институт был не последний, как и лаборатория отца. Он, естественно, маялся, переживал, как-никак его детище, хождения по начальству ничего не давали. Везде было похоже: денег нет, наука никому не нужна, все всё понимают, но ничего сделать не могут. Бюджет, рынок...

В общем, всем до лампочки. Дело же спасения утопающих, известно, в руках самих утопающих. Заказы, которые удавалось отцу надыбать со стороны, были однократными и несчастными. Да и человек он был, по рассказам Леды, не слишком пробивной. К

тому же злился ужасно, что приходится тратить драгоценное время на черт знает что. Поэтому после какого-то очередного международного симпозиума на Западе он объявил, что больше здесь оставаться не может и не хочет — еще немного и он перестанет чувствовать себя ученым. Оно и понятно: когда уйма идей в голове, а осуществить их нет возможности, не мудрено впасть в отчаяние. А тут неожиданно предложили неплохое место в Штатах, да еще с перспективой перетащить туда сотрудников, то есть фактически сохранить всю лабораторию.

Леда, однако, сопроводить его отказалась. Да и так ли надо было, чтобы она ехала с ним? Здесь она могла присмотреть за квартирой и за Лапландией, за могилами матери и бабушки с дедушкой — известно что бывает с заброшенными могилами. Отчасти это была отговорка: квартиру, как и Лапландию, можно сдать, нанять женщину на кладбище — в общем, все было решаемо. Но вот чего она действительно не хотела, просто не принимала внутренне, так это чтобы кто-то чужой, неведомо кто (или даже ведомо) жил в их дачном доме (квартира ладно) — для нее это было чуть ли не кощунством.

Что ее действительно держало, так это дача. Лапландия. Так она ее почему-то называла — слово ей понравилось в детстве: белоснежное, свежее, ласковое. «Поехали в Лапландию» — звучало романтично.

Это была ее страна, ее укryвище. У каждого человека есть какое-то место на земле, где ему должно быть хорошо. Или не просто хорошо, а как-то по-особенному: где он ощущает особую полноту жизни. Он может не знать этого места и никогда не узнать, но если оно найдено, то будет постоянно тянуть к себе.

Именно таким местом для нее была дача. Сама говорила, что только там чувствует себя в своей та-

релке — запах хвои, особенный сыроватый воздух в доме, мебель, скрип половиц, старые журналы, нет, этого не выразить. Расставание с дачей казалось ей невысказанным: там витали духи прежней жизни — детство, юность, мать, бабушка... все было там в каком-то особом сплаве.

Сама мысль о расставании приводила в растерянность, вгоняла в тоску. «Пытаюсь представить и не могу...» — и задумывалась надолго. Это было похоже на «мне кажется, я скоро умру...», только звучало более естественно и убедительно. Если бы я не знал про ее привязанность к даче, то, может, и не поверил — только кажется, что мы без чего-то там не можем, а на деле оказывается, что запросто. К тому же собиралась не куда-нибудь, а в благополучную страну, где ее ждал отец и все молго устроиться очень даже неплохо.

Она взвешивала. За океаном наверняка ее ждут новые впечатления, но зато там не будет друзей, не будет знакомых улиц и — главное — не будет старого, но довольно крепкого еще двухэтажного дома, где она провела столько замечательных часов и где колеблемая ветром белая занавеска в окне любимой мансарды навевала тихие сонные грезы, дурманящие то предчувствием близкого-близкого счастья, то каким-то вкрадчивым ласковым покоем.

Может, кому-то это и могло показаться чересчур сентиментальным. Но я-то знал, что дача для нее действительно что-то особенное. Было всего два места, куда она могла надолго исчезнуть — дача и однокомнатная квартирка тетки Маргоши (старшая сестра матери), к которой Леда время от времени навещалась.

Удивительно, что при ее отчасти даже богомности она так трепетно относилась к обжитому пространству. При ней — пожалуйста, но чтобы кто чужой жил там год, два и больше — с этим она смириться не

могла. И действительно — все там оставалось, как много лет назад, словно законсервированное, музей не музей, но что-то в этом роде. Оторваться надолго — катастрофа!

Она не соглашалась поехать к отцу даже на время — посмотреть, как там у него, глотнуть воздуха, который потом мог бы стать ее воздухом навсегда (как писал отец, гораздо более чистый, чем здешний). Короче, капризничала и нервировала отца, который тратил немалые деньги на телефонные звонки (и ей присылал), сводившиеся к сплошным уговорам.

Кто знает, может, если бы она поехала к нему, он бы не женился во второй раз, на какой-то своей сотруднице, ирландке. А когда это произошло, то и вообще вопрос об отъезде отпал: на кой ляд ей нужно вторгаться в тамошнюю налаженную уже по-семейному жизнь отца. Ей это ни к чему, да и ему теперь тоже.

Однако обида еще больше усугубилась. Как же, раз отец окончательно решил полностью поменять жизнь — значит, и она теперь ему уже не нужна. Рядом есть женщина, вполне миловидная, рыжеволосая, с серыми, в голубизну глазами (отец прислал фотографию), значит, есть кому о нем позаботиться. А коли так, то и пусть!

Не везло, однако, отцу. Через три года он снова остался один. Да и возраст, семьдесят — шутка ли! Но если она и решилась бы, то не только из-за него.

В ней самой что-то такое сдвинулось — ну да, из-за подозрения на болезнь.

Надо было поставить точку и начать все снова. Если возможно. Надо было попытаться. В конце концов, Бог с ней, с Лапландией, если на карту поставлена жизнь. Ее жизнь.

А с теткой Маргошей, пока та была жива, все у них было очень душевно. Бывшая учительница лите-

ратуры, не построив ничего личного, та дышала этим миром. С Олешей была близко знакома, тот даже захаживал к ней на чашку чая — поболтать о том о сем, приглашала его в школу для выступлений, вместе нередко бродили по городу, иногда Юрий Карлович читал свое. Когда он умер, Маргоша сильно переживала: близкий человек.

Правда, одинокой ее назвать было трудно — постоянно навевались бывшие ученики, устраивали у нее в тесной комнатке самостийные литературные вечера, брали почитать книги, которыми все у нее было заставлено (иные с авторскими дарственными надписями).

У тетки Леда всегда находила утешение и совет, та относилась к ней почти как к дочери и никогда ее ни в чем не упрекала. Для Леды всегда стоял наготове мольберт, если вдруг вздумает порисовать. Она ходила с ним к Москве-реке (тетка жила возле Коломенского), но на рисунках ее возникали какие-то совершенно немыслимые фигуры и образы, похожие на таинственных птиц, в которых не было почти ничего общего с окружающим ее пейзажем. «А мне и не надо, — говорила она, — я ведь смотрю туда не для того, чтобы это рисовать, смотрю и смотрю, вот и все...»

Как ни странно, но тетке, воспитанной вполне консервативно, рисунки ее нравились, ими были увешаны (где оставалось место) стены, они стояли на полках.

Однажды я был у нее вместе с Ледой.

Маленькая, со стянутыми на затылке волосами, в накинутом на плечи сером пуховом платке, тетка поила нас чаем с вареньем и ликером, показывала книги, подаренные ей знакомыми литераторами, фотографии, где она с Олешей, ворчала на Леду, которая обещала ей привезти какую-то книгу и, натурально,

забыла, она все забывала, эта противная девчонка, у которой в голове один ветер и еще таинственные птицы, летящие не куда-нибудь, а, ясное дело, в Лапландию.

«А вот и не летящие, — возражала Леда весело, — они уже в Лапландии, это лапландские птицы, там они гнездятся, выводят птенцов, а из пуха, который устилает землю, отчего она необыкновенно мягкая и нежная, вырастают цветы». И это тоже было на ее рисунках — яркие разноцветные пятна, и впрямь похожие на цветы...

Тетка любовно трепала Леду по волосам как маленькую: «Дикая ты моя дикая, — приговаривала она ласково, — ну что с тобой делать?..»

Действительно: что с ней было делать?

«У тебя что, теток не было?»

Это она на мое удивление по поводу ее отношений с Маргошей.

Тетка звонила племяннице и говорила: «Я еду на кладбище», и Леда обычно к ней присоединялась, хотя та ее вроде не звала. «Не брошу же я ее», — то ли объясняла, то ли оправдывалась.

Тетка сама была уже близко к этой черте, а таскалась на другой конец города — прибрать могилы сестер (в том числе и двоюродных), цветы посадить, желтым песочком присыпать. Причем ее поездки всегда случались внезапно, часто без всякого очевидного повода, дня рождения там или дня смерти. И хотя в Бога тетка не верила, но по праздникам — на Пасху или в Прощеное воскресенье — обязательно туда.

«Пора», — говорила она Леде, и они ехали на Востряковское, сажали или ставили цветы, всегда живые (искусственных тетка не признавала), сгребали опавшие листья, сломанные сучья, протирали надгробья. Леда покорно следовала за теткой от могилы

к могиле, хотя те были в разных местах кладбища, друг от друга весьма отдаленных, читала надписи, приносила в большом пакете желтый песок, который обычно сгружали возле конторы, воду для поливки, собирала и выносила мусор, пока тетка рыхлила землю и втыкала саженцы.

Маргоша была неумной, ее хватало, несмотря на возраст и давнее, застарелое нездоровье. не только на родственные могилы, но и на соседние, если те казались ей слишком запущенными. Она и их попутно обихаживала, несмотря на Ледины протесты и просьбы не переусердствовать, потому что, вернувшись с кладбища, тетка, как правило, залегала дней на пять «как мертвая», пока более или менее не восстановливалась. Упрямая она была такая же, как и Леда (фамильное), если не больше.

Леда признавалась, что иногда начинает сердиться на тетку за эти ее спонтанные порывы на кладбище и в общем-то понятную, но чрезмерную хлопотливость. Конечно, такая самоотверженность вызывала только уважение, но вместе с тем начинало мерещиться и другое: тетка так выкладывалась, словно хотела лечь тут же и сейчас же, прикопав на последнем дыхании очередной саженец.

Еще Леда злилась на тетку, что та незаметно подчинила ее себе, а еще больше на себя саму, что покорилась чужой воле, пусть даже и в таком вполне великодушном деле, как уход за родными могилами.

Там (на кладбище) с ней, по ее признанию, происходили странные вещи. Сколько раз бывала на могиле матери и бабушки, но всякий раз (если без Маргоши) сбивалась, плутала, подолгу не могла найти... Хотя и приметы запоминала, и номера участков, и деревья — все равно. Могила как бы пряталась от нее, играла с ней в детскую знакомую игру. Даже дви-

гаясь по своему ряду, она до последнего мгновения, пока вдруг не возникло знакомое надгробие, не была уверена, что идет правильно. Тетка же, в отличие от Леды, ориентировалась мгновенно, почти не глядя.

Не раз случалось, что Леда, отправившись за песком к конторе, потом добиралась до места с тяжелым пакетом и двадцать минут, и даже целых полчаса (вместо ну от силы десяти), так что Маргоша осуждающе ворчала: ни о чем попросить нельзя, пошла и пропала, она даже беспокоиться начала. «Спишь, что ли, на ходу?»

Кто знает, может, она и впрямь впадала в состояние, похожее на сомнамбулическое: сон не сон, а какая-то заторможенность, воздухоплавательность появлялись, отчасти похожие на дремоту, что охватывает обычно за городом. Но только отчасти. Было и нечто другое, непонятное. Будто чувствовала исходящую от могил энергию (а не от свежего воздуха, как на даче, или от здешней земли, которая, впрочем, вся почти была сплошной могилой — столько понатыкано) — одурманивающую, почти хмельную. Вот только не могла понять, что это за энергия — жизни или смерти.

Вроде и помогала тетке — лопатку подать детскую, грабельки, веник, но часто с таким отстраненным видом, что тетка бурчала: ты вроде как здесь и не здесь... Зачем тогда ехать, она бы и сама справилась?

Лицо отсутствующее.

Она идет по дорожке, усеянной сухими хвойными иглами, где знает, кажется, каждую впадинку, каждую неровность, а человек в брезентовой зеленой куртке идет за ней, совсем как в каком-то фильме, идет и идет, сначала молча, все приближаясь и приближаясь, видимо, решаясь на последнее, потом он что-то говорит, не молчит, и она даже что-то отвечает, но почему-то ничего не осталось в памяти, самое

настоящее молчание — ведь они не общались, не разговаривали, как люди, его слова — все равно что хватание за руку, а ее — отталкивание этой руки, заговаривание, отвлечение внимания, сопротивление, короче, и расстояние от станции до их дачного поселка — через лес и поле, обычно казавшееся не столь уж длинным — теперь становится вдруг бесконечным. Можно побежать, но что-то подсказывает ей, что этого делать нельзя и если она побежит, то тогда он точно бросится на нее, потому что бегущий — всегда дичь, всегда объект преследования, убегание только провоцирует взрыв агрессии, а на ней неудобные для бега туфли, ему ничего не стоит догнать ее. И без того сердце прыгает как сумасшедшее, так что трудно дышать, а если бы она побежала, то тогда бы и вовсе выскочило из груди, разорвалось, еще что-нибудь...

А так она двигается как сомнамбула, произнося странные для самой себя слова. Лицо у парня темное, скошенное, хоть он и улыбается, ухмылка темная. Она голосом и словами пытается успокоить его, она пытается притушить все ярче разгорающееся пламя.

Кошмар этот часто повторяется в ее снах. И все происходит в полной тишине, в полном молчании. Она говорит, и он говорит, но слов совершенно не слышно, тишина такая, что можно оглохнуть. В этой тишине может произойти все, что угодно. И она, в очередной раз объятая ужасом, вдруг ловит себя (во сне) на том, что ужас — сладкий. Ну, может, и не совсем сладкий, зато точно влекущий.

А если все действительно произойдет, как мерещится в кошмаре? Если она побежит, а он бросится за ней (дыхание запаленное, прерывистое за спиной, у нее — со всхлипами), сухие хвойные иглы больно вонзаются в босые ступни (туфли скинула), ветер свистит в ушах, догонит непременно, она в конце концов споткнется (сил нет бежать) и упадет, а он на

нее, тело грузное, неловкое, тяжелый мужской дух — жестокий дух вождения, руки грубые (треск матери), безжалостные, как тиски, — сжимают судорожно, жадно, сдавливают — не разжать, не сбросить, мышцы — камень, везде камень, все вдруг окаменевают — земля, мужчина, ее собственное тело.

Почему же тогда ужас — сладкий? Ну, может, и не совсем сладкий, зато точно влекущий. Цепенеющее, превращающееся в камень тело — словно не ее. Она смотрит на него со стороны, распластанное на усыпанной хвоей твердой земле, на мужской торс, вдавливающий его в землю, пальцы впиваются в плоть, как бы прободая ее, карябают землю, накаляясь на хвойные сухие иглы...

Что же манит ее? Сон разбивается об острую раскаленную грань камня, рассыпается осколками мутноватое зеркало кошмара, тело, влажное от пота, обмякает — вот оно, вольно раскинувшееся, теплое, нежное, не тронутое чужой грубой рукой...

На нее частенько находили приступы отрицания своего тела. С подозрением на болезнь еще больше. Чередование любви-ненависти. То она вдруг начинала трястись из-за самого пустякового недомогания, самой пустяшной царапины, сразу бежала к врачу, проходила диспансеризацию, даже психотерапевта себе завела, денег не жалела на всякие дорожные питательные добавки, бальзамы, крема, зубные пасты, ортопедические подушки, стельки и прочую рекламируемую по ящику дребедень, даже обзавелась велотренажером со встроенным компьютером...

А то вдруг бросала все эти снадобья, которыми был полон шкаф, начинала запоем курить и вообще себя не жалела... Надоело, говорила. Шкура надоела. Все время надо за ней присматривать, ухаживать, холить — тоска... Скинуть бы ее к чертям, так ведь не

скинешь, надо носить и пестовать, иначе она быстро дает о себе знать: сил не остается для жизни...'

Иногда сядет возле двери и не может подняться. Знаю, надо идти, опаздываю, подвожу людей, а не могу — при одной только мысли, что нужно идти, ехать на метро, толкаться в вагоне, — сразу дурно становится. Или даже когда еще в постели лежит утром — стоит представить себе, что надо проделать все это: встать, умыться, причесаться, подкраситься и все прочее — зубы начинает ломить от тоски, зарыться бы носом в подушку и не шевелиться.

Придумывала самой себе какие-нибудь приятные завлекаловки на дню — купить что-нибудь из одежды, кисточку новую, в театр сходить, короче, как-то скрасить день — в надежде, что следующий будет другим, менее обременительным. Приведешь себя с горем пополам в порядок, кофе сварить крепкий, сигарету выкуришь, рюмку коньяка или ликера — ну и поплетешься... И как другие выдерживают? На работу каждый день по звонку, а вечером — домой, за три девять земель, в час пик, в снег и дождь... Хорошо, если на метро, а то ведь еще и на автобусе или трамвае. Ведь и детей отваживаются рожать, растить, умудряются жить с другим человеком — вообще... Тут и на простейшее-то недостает, на саму себя, а чтобы еще и с кем-то другим это как-то согласовывать, с чужими привычками, вкусами, странностями...

С физиологией она была в непростых отношениях. Даже особенно внимательной к ней Леду нельзя было назвать. Во всяком случае та ей если и не досаждала, то не давала расслабиться. Если она чувствовала назойливость с ее стороны, то начинала раздражаться или у нее портилось настроение. Это как если бы в ней жило какое-то существо, которое время от времени мало того, что предъявляло к ней какие-то требо-

вания, но и начинало командовать, а при несговорчивости еще и норовило наказать, демонстрируя свою власть над ней.

Про один свой роман Леда рассказывала, что возможность (или, верней, даже неизбежность) его стала отчетливо ясна в тот момент, когда... когда ей вдруг срочно понадобилось... пописать (гуляли в Измайловском парке) и она откровенно, причем неожиданно для самой себя, без всякого стеснения, сообщила об этом своему кавалеру, с которым совсем недавно познакомилась. Сказала и устремилась за деревья. Казалось бы, что особенного, захотелось и захотелось — что естественно, то не стыдно, но вот именно легкость и нестеснительность, с какой она поведала об этой своей неотложной надобности спутнику, поразили ее саму. Это могло означать, что обойдется без ненужных заморочек в отношениях, долгого притирания друг к другу, без проб и ошибок... Дорогого стоило.

Так, между прочим, и случилось, хотя и ненадолго (у нее не бывало долго) — у человека была семья, а это изначально предопределяло скорый финал: Леда, при всей своей часто подчеркиваемой свободе от предрассудков, уводить чужого мужа не собиралась, категорически, даже если сам этот человек ради нее был готов на все.

Нет, она так не могла.

Если временно — куда ни шло, человек — не вещь, в конце концов, собственничество в этом смысле столь же нехорошо, как и во всех прочих. Но ломать что-то — на это Леда не отважилась бы, хотя наверняка отдавала себе отчет, что граница здесь очень условна. Она-то могла не ломать (намеренно), а тем не менее все само собой, не без ее, однако, непосредственного участия с грохотом рушилось и рассыпалось.

Переступить не могла. Останавливалась, если уж слишком далеко заходило. Даже если самой приходилось туго, ведь что-то же возникало серьезное, а не просто влечение. Хотя и влечение — куда серьезней?

Побаивалась она возмездия — не какого-то там метафизического, а вот этого точения в душе, боли — от разрыва. Поэтому там, где чувствовала перерастание во что-то иное, более глубокое, тотчас же давала задний ход. Ускользала. Скрывалась.

«Считай, что я умерла».

Лучше бы она этого не говорила.

А с тем парнем получилось нехорошо. Он в нее влюбился совершенно по-книжному, как не бывает. Ходил за ней по пятам, выслеживал, доставал, одним словом. Трудно сказать, было ли у нее с ним что-нибудь, может, даже и было, но мимолетно, для Леды во всяком случае.

Любительница новых впечатлений, она все старалась попробовать, доходя до определенной грани (а то и заглядывая за нее). Грань эта не давала ей покоя. Не то что бы ее так уж влекло запретное (кто знает?), но область неведомого тревожила, словно именно там могло крыться нечто эдакое, без чего жизнь осталась бы неполной. Все опасалась упустить что-нибудь.

А тот парень был странный, даже и внешне. Красивый такой юноша с карими блестящими, словно влажными глазами в глубоких орбитах (как бы запавшие, отчего особенно выпирали скулы), за такими девушки должны табунами бегать, — не скажешь, что в нем некая червоточина.

Ходил он за ней томный, грустный, под окнами просиживал до глубокой ночи, а однажды и до утра, примостившись на скамейке возле подъезда, где обычно старушки днем собирались погреться на солнышке

(весна была, апрель, хоть и не совсем тепло). Кто-то его из окошка видел и потом Леде доложил, что ее кавалер на скамейке ночевал. Весь подъезд потом переживал, словно всем до этого дело (Леда злилась — ненавидела эту патриархальную всеобщительность, когда кто ни попадя лезет в твою личную жизнь).

В конце концов, она начала его прогонять, причем довольно грубо, потому что даже если красивый (объясняя), но немилый, то и навязываться не надо. Нет ничего хуже назойливости.

Еще он стихи писал и ей читал (не обязательно ей посвященные, хотя и такие были). Поначалу слушала, неплохие, кстати, стихи (она показывала напечатанные на машинке), а потом и стихи надоели. «Квельый он какой-то» — так определила. Обидно, конечно: квельый. Слово такое — вроде как блеклый.

Только ничего у нее не получилось (в смысле отвадить), верней получилось, но совсем другое, чего она, конечно, вовсе не предполагала и уж тем более не желала. Вдруг становится известно, что парень этот ушел («сбежал», как потом скажет Леда) из жизни. Иначе говоря, наложил на себя руки. Обе фразы не очень понятны, особенно вторая. Суицид, если по-научному. В качестве материального обеспечения были выбраны веревка, балка перекрытия на чердаке и табуретка. «Дурак, — сказала Леда, зло, с раздражением. — Был дураком и остался им». Потом она не раз уточняла свое отношение. Слабак. Не зря гнала его от себя. Было в нем что-то немужское, вязкое. Он это даже не от отчаяния сделал, а чтобы ей насолить. Чтобы она мучилась. А она не собирается. Потому что идиот и есть идиот — такое натворить. И в голосе чуть ли не ярость. Ведь теперь и захотел бы исправить, а не может.

Злилась она на него страшно, до ярости: как, дескать, смел так поступить, кретин, идиот, негодяй, су-

масшедший, кто дал ему право так распоряжаться своей жизнью, которая на самом деле вовсе не его?

На этот счет у нее особенное было чувство: все кто ни есть в жизни — все нужны, никто не лишний, а если вдруг исчезает по той или иной причине, совсем или надолго, из жизни или даже только в пространстве, то место остается незаполненным — вроде как дыра. Как пробоины в корме корабля, который постепенно теряет свою плавучесть.

То, что гнала его, не значило еще, что она в нем не нуждалась. Ведь всякая любовь есть энергетическая подпитка: ну и любил бы себе на расстоянии, а не допекал своими домогательствами, пусть даже и платоническими. И уж тем более не хотела его терять навсегда, потому что само это слово «навсегда» — дурное.

А про то, что любовь, увлечение могут быть тоже как болезнь, она и слушать не желала. Отмахивалась. Да даже если и любовь — пожалуйста, никто ведь не запрещает, но только не надо, чтоб другой человек от этого страдал. Чего она не переносила, так это насилия, а что такое назойливость, как не насилие? Человек принуждает другого к ответному чувству, нет разве?

Иногда на нее находил стих благотворительности: подавала чуть ли не каждому попавшемуся на ее пути попрошайке.

Однажды у маленькой сгорбленной старушки с протянутой рукой, ладошка лодочкой (в переходе, если не ошибаюсь, со станции Парк культуры-кольцевая на радиальную) выпала монетка, которую Леда ей протянула, та стала неловко наклоняться, чтобы подобрать, но Леда опередила — шустро присела на корточки и, схватив монетку, снова сунула той в руку. Все произошло довольно быстро и вполне натураль-

но, и только уже в поезде какой-то растерянный, даже расстроенный вид Леды, словно произошло что-то неприятное.

«Она посмотрела на меня... — сказала Леда в ответ на мой вопрос.— Такой странный взгляд, даже не могу понять, что в нем такое — как разряд, как молния... Старушка — молодая. Взгляд молодой, лицо молодое. То есть старушечье и одновременно молодое, не могу объяснить. Это только кажется, что старуха.»

Весь остаток вечера она пребывала в озадаченно-сумрачном состоянии: вроде как ее обманули или хотели обмануть. Давала она жалкой согбенной старушонке, а взяла у нее совершенно другая женщина — молодая не молодая, но и не старая, со свежей чистой кожей.

Что это было?

Ведь старушку и вправду пожалела, порыв-то искренний. Хотя вроде и не верила в сглаз, однако существование всяких биоэнергий допускала. Если она ни в чем не виновата, тогда что? А здесь явно не то, она почувствовала.

Как в сказке про Красную Шапочку. Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие зубы?

Человек странно любит себя.

Леде нравился ее образ, когда она уставала или ей неможилось, отчего вокруг глаз обозначались густые тени, скулы заострялись, лицо теряло свою округлость и мягкость, в нем появлялась вместе с бледностью некая аскетичность или, если угодно, духовность. То есть нечто, подразумевающее возвышенность и неотмирность, претерпевание мира вместо любви к нему, страдание от него, одним словом, богатую внутреннюю жизнь.

Разумеется, круглое лицо, пухлые щечки с легким, как бы несколько лихорадочным румянцем, кудряш-

ки, спадающие на лоб, — какая банальность! Никакой инфернальности. Ничего интересного, одним словом. А ведь иногда хочется побыть интересной женщиной.

Впрочем, не всегда же. Ведь нравилась же себе и когда возвращалась с юга — бронзовая, с атласной, смуглой, упругой кожей, пахнувшей солнцем и морем. С удовольствием смотрелась в зеркало. Здоровая, сильная и красивая. В конце концов, не просто здоровье, банальное, а — солнечное, соприродное морской волне, искрометным брызгам, парящей над водами белоснежной чайке. В нем также была некая экстремальность. Хотелось очаровывать, покорять, ведь так недолго это длилось...

Интересно, что в Лапландии с нее это спало. Не тревожило ее это там, так сказать, эстетически, напротив, все сразу опрощивалось, и она сама прежде всего — какой-нибудь балахон, не только скрывающий ее грациозную фигурку, но и вообще превращающий ее в нечто бесформенное, джинсы и рубашка, вполне бесполо... Критерий один — удобство.

Но облик, однако, все равно много значил, как никак, художественная натура.

Шляпки те же. Млела, заходя в соответствующий отдел какого-нибудь дорогущего фирменного магазина, начинала примерять все подряд и лучше ее в эти священные минуты (растягивающиеся до часов) не трогать.

Что-то было для нее в этих разномастных экзотичных головных уборах, которые, на мой взгляд, нисколько ее не красили, а даже делали смешной, придавая экстравагантный и по-своему глуповатый вид. Кто-кто, а уж она точно не походила на какую-нибудь гранд-даму, которой шляпка и впрямь к лицу. А может, ей и в самом деле хотелось побыть дамой?

Однажды я застал ее в каком-то замысловатом старинном плаще (чуть ли не бабушкином) и... в шляпке

с вуалеткой. Она была одна и, судя по всему, таким образом развлекалась. Мое неожиданное появление чуть смутило ее, однако это быстро забылось, она снова подошла к зеркалу и стала внимательно разглядывать себя, то отбрасывая вуалетку, то снова опуская ее, поворачиваясь то вправо, то влево, забавно было наблюдать — ни дать ни взять конец прошлого века, «Незнакомка» Крамского (большая копия картины в старинной раме висела на стене у ее бабушки), вот-вот за окном раздастся лошадиный цокот и появится экипаж с кучером на облучке.

«Ну как, мне идет?» — спросила она.

Я кивнул.

Вуалетка действительно делала ее какой-то другой, загадочно-порочной. Лицо, словно подернутое темной дымкой, прикрытое тенью, казалось бледнее, несколько даже болезненным и как бы ускользающим, уплывающим куда-то в пространство. Было в этой вуалетке что-то отчужденно-зовущее — хотелось приблизиться к Леде и отодвинуть завесу. Освободить. Как в сумрачной комнате — отдернешь штору на окне и вдруг... ослепительное солнце, голубое небо.

«Погоди, — твердо сказала она, угадывая мой порыв. — Скажи лучше, разве можно носить в нашей стране такие роскошные шляпки? По-моему, нельзя, просто невозможно. Есть в этом нечто абсурдное, какая-то роковая несовместимость, а ведь в начале века носили запросто. Никто даже не сомневался в том, что такая шляпка имеет право не только быть, но и носиться. А теперь? Теперь это обычный музейный экспонат и только. Если я надену ее, то на меня будут смотреть как на безумную, как на выпендрежницу, точно так же как если бы ты, скажем, напялил на себя средневековый рыцарский шлем. Хотя шляпка — совсем другое. — Она тяжело вздохнула. — Обидно! — И помолчав, продолжила: — А вот в Америке, наверно,

можно. Там все в чем хотят, в том и ходят. Не только в Голливуде. Почему они могут, а мы нет? Просто они более свободны, вот что я думаю».

«Да носи на здоровье, кто тебе мешает?» — сказал я.

«Если бы так просто, — возразила Леда.— Может, я бы и хотела, а — не могу. Это ведь зависит от кучи всего: от воспитания, от атмосферы, если угодно. А у нас жизнь примитивизирована даже и в одежде. Если кожа, то все в коже. Если черное, то все в черном. Жизнь какая-то одноцветная. Не то что шляпку с вуалеткой одеть — яркое что-нибудь, и то будешь чувствовать себя белой вороной. Неуютно. Живем под одну гребенку».

Тень вокруг лица от вуалетки (свет мой, зеркальце, скажи) была для нее облачком, пригнанным ветерком из Эдема.

Эстетика ей нужна была, причем не рутинная, не обычная, а какая-то иная, не американская и не папуасская. Она ее искала и не находила. А эту отвергла и воспринимала свою несвободу как слабость, как не знаю что.

Любила показывать свои фотоальбомы.

С фотографией работала профессионально, буклеты делала для выставок, вообще занималась художественной съемкой. Но показывать любила не столько свои, сколько обычные, даже не ей снятые. Где она присутствовала тоже, одна или с родителями, с бабушкой, за столом или в комнате, но больше всего в Лапландии, на фоне дома или на террасе, среди цветов в саду, под деревом или в поле, с велосипедом или с соседской козой...

Простые черно-белые снимки, некоторые уже с легким налетом желтизны. Вот маленькая улыбающаяся девчонка с разбросанными по плечам кудряшками, в легком ситцевом платьице, вот немного сумрач-

ный подросток, короткая стрижка, взгляд исподлобья, вот девушка с длинными темными волосами, задумчивый, мечтательный взгляд, вот в компании среди других девушек и парней, веселые беспечные лица (вся жизнь впереди), все как у всех...

Забежав к ней и поджидая, когда она доделает какие-то дела на кухне, открыл лежавший на журнальном столике альбом и удивился: некоторые места, где раньше тоже были фотографии, и именно с ее, Леды, изображением, зияли пустотой. Войдя в комнату, она мельком взглянула на альбом в моих руках: «А, смотришь!» И потом вдруг добавила: «Я тут подчистила кое-что, не хочу, чтобы оставались некачественные фотокарточки... Я и вообще-то не очень фотогенична, а тут набралось столько ерунды, что даже тошно — такая мымра».

Все-таки художник в ней вылезал.

Порода в нем чувствуется, говорила она.

Далась ей эта порода! Что это значит? Значит ли, что человек произошел не от обезьяны? Или, напротив, что он — из какого-то особенного материала и специфического закваса. Что в нем такого, кроме крупной головы с темными (или светлыми), как смоль, волосами. Тонкого носа с легкой горбинкой (или без). Овального, чуть вытянутого книзу лица и разлетистых бровей. Губы. Уши. Руки с широкими (или тонкими) запястьями. Все как у людей. Ну костюм сидит франтовато, а не мешком. У многих, впрочем, все мешком, хоть пиджак, хоть брюки, хоть спортивный костюм.

Только разве это — порода?

У нее же выходило, что именно костюм свидетельствует едва ли не больше, чем овал лица, потому что тело облекается в одежду вполне метафизически, в зависимости даже не от качества ее, а от собствен-

ного качества. Даже не от соразмерности частей тела, а от чего-то иного, неуловимого, врожденного. Даже если несоразмерность, все равно — элегантно. Все равно хочется смотреть.

Тело приручает одежду — это понятно, обживает ее, как дом, но причем тут все-таки — порода?

Как-то рассказала: случайно встретила бывшего однокурсника, был такой — талантливый, загадочный, красивый. С длинными волосами, стройный, фехтованием занимался. Одевался изысканно. Про него еще всякие слухи ходили. То ли йог, то ли поэт или в кино снимается. Еще с ним появлялись обалденные женщины, всякий раз новая. Атмосфера тайны. Ореол.

Оказывается, Леда тоже им была увлечена, но без особых претензий. То есть даже и не стремилась, потому что вокруг много порхало и в стайку не хотелось. Не любила быть среди прочих, но и бороться не хотела — не терпела состязаний. Ни экзаменов, ни состязаний. Предпочитала уступить. Пусть! Значит, не ее.

А тут неожиданно встретились — где бы ты думал? На рынке. Помидоры вместе покупали. И не изменился почти, то есть, конечно, изменился, но не настолько, чтобы не узнать. Волосы с сединой, тоже красиво.

И что?

А то, что у него хохлацкий местечковый акцент. Он ведь откуда-то с Украины, она вспомнила, чуть ли не из Одессы. Это ужасно, когда такой акцент. И от всей романтичности пшик — заведует художественным отделом в какой-то газетенке. (В голосе разочарование.) Пошлость.

Помидоры!

Ну и помидоры, а чего бы она хотела? Да ничего не хотела, просто обидно, когда все так скучно оборо-

чивается! Все от него ждали чего-то необычного, прекрасного, выдающегося, а он так быстро сник. Посерел... Смотрела на него и поражалась: вроде тот же самый человек, все то же — глаза, волосы, все такое же изысканное, и в то же время — выпивка, баня, девочки... Кокетничать начал, про какие-то связи с посольствами, про красивую жизнь: квартира на Тверской, дача на Николиной горе... И этот жванецкий выговор — ужас! Лучше бы она его не встретила!

Потрясающая способность делать из мухи слона. Не обещал ей человек ничего, даже и близки не были — а какие требования! Сама создала себе миф — и теперь сокрушалась, что на деле все обстоит совершенно иначе. А главное, сам человек ни сном ни духом — как живет, так и живет.

Бедняга! Знал бы он...

Вдруг, после долгого перерыва, звонок и — без всякого вступления — новость: Леда в больнице... Голос сиплый, как из преисподней. Ну да, неплохо бы повидаться.

Такие известия почти всегда застают врасплох. Вдруг показалось, что она одна, всеми покинутая, в какой-то заштатной больнице, пахнувшей лекарствами и скорбью. Все недоразумения, какие между нами были, сразу рассеялись, — я поехал.

Больница оказалась не такой уж заштатной, а, прямо скажем, даже очень неплохой, от какого-то ведомства (понятно, что по знакомству и за немалые деньги), палата на одного, с маленьким холодильником и телевизором, аккуратные светлые коридоры, украшенные всякой декоративной растительностью на подоконниках, даже запах не больничный. Вполне бы сошло за какой-нибудь санаторий, если бы не каталки и таблички на дверях врачебных кабинетов: зав. отделения такой-то, старшая медсестра, рентгенокопия и пр.

Леда в спортивном костюме, удобно устроившись на кровати, с книжкой.

«Что, примчался?»

Странное такое, неожиданное начало. Могла бы обрадоваться, что пришел, а она...

«Ага, паленым запахло! Заинтриговывает ведь, согласишься. Сочувствие сочувствием, но и — покрутиться возле, походить около, заглянуть за предел: как там? И как с этим справляются?»

«С чем с этим?»

«Ну что совсем немного осталось, что уже одной ногой там... Нет что ли?»

Что на это ответить? Оскорбиться, возразить: даже и в мыслях не было? (В мыслях не было, а под ними?) Повернуться и уйти? Но ведь она даже без особого умысла, разве с некоторой насмешкой: мол, все такие... Как ни возражай, а все равно останется при своем. Хочется ей так думать — и будет. Хотя тоже ведь не просто так, вероятней всего — от желания разбередить себя, от обиды — на жизнь, что так с ней неожиданно несправедливо.

Потом повеселела. Пойдем, пойдем... Цветы положила на тумбочку, даже не поставив их в воду (потом, потом). Вина принес? Помня ее пожелание (если соберусь), я прихватил бутылку сухого красного — она любила (полезно).

Сидели с ней во дворе больницы, в беседке, выпивали из белых пластмассовых стаканчиков, и я все ждал с тревогой, что разговор в конце концов коснется ее болезни, но она без умолку болтала про все что угодно, только не про это — про бывший монастырь, в котором теперь больница, про какого-то старца, который здесь жил и творил чудеса, про то, как сложно сюда попасть — хорошо, что у отца старый знакомый — известный врач (отец звонил по телефону из Штатов), в общем проявляла ту самую легкость, которой я совер-

шенно не предполагал (особенно из-за голоса по телефону).

Похоже, как если бы она только-только вынырнула откуда-то и с удивлением оглядывалась вокруг, узнавая и не узнавая, словно пыталась вспомнить после долгого сна.

Сделав глоток, тут же наклоняла стаканчик, задумчиво выливая каплю на землю. «Так надо», — пояснила в ответ на мое молчаливое недоумение, нельзя все в себя. Она тут много думала и поняла, что нужно отдавать, даже если самую малость, нельзя отъединиться.

О чем мы с ней говорили — там, в больнице, в монастыре (гм, Леда — монахиня)?

Она не чувствовала себя больной — вроде как ненароком сюда попала, ну да, исследования, но все равно она здесь так, между прочим, на всякий случай (что за случай — это она понимала и как бы не понимала, не хотела понимать).

Ее удивляло, как молодые девчонки-сестры продолжают оставаться веселыми и жизнерадостными рядом с разрушающимися и гниющими телами больных. Ведь это же кошмар — видеть каждый день униженную плоть, дряхлую и больную, жалкую, безобразную, обреченную на страдание... Они-то все такие упругие, крепкие, юные, миловидные — и видят, что должно произойти с их телом через совсем незначительный промежуток времени (мы-то знаем, как быстро летит время, еще вчера сами были такими же). А скорей всего, просто не думают, может, потому им и удастся держаться, живут сегодняшним днем, не заглядывая в завтра. Им напоминают, а они — не обращают внимания. Это не от осознанного стоицизма: дескать, как будет так и будет, для них страдающая плоть пациентов — нечто потустороннее, к ним не имеющее отношения.

Она задумчиво хмурилась. Вообще чужая боль или болезнь не воспринимаются многими как удел человеческий. Вот и для девочек этих юных, медсестер и сиделок — это случайность, исключение, а не правило. Объект, которым они вынуждены заниматься — в силу профессии, возиться с язвами, экскрементами... Может, они потому и жизнерадостные такие, что иначе рядом со всей этой маекой просто не выжить...

Она искренне завидовала их легкости и беспечности — и сама ведь когда-то была такой, ясное дело, как же не была, в их-то болящей семье иначе и нельзя было.

Внимательно рассматривала пальцы с чистыми бледно розовыми ухоженными ногтями (без маникюра).

Вот-вот... Ногти. Ее поразило однажды — ногти на ногах бабушки (той тогда было уже за восемьдесят). Леда стригла их ей, сама она уже не могла — трудно было нагибаться. Желтые, прочные, как бивни мамонта, ножницы не брали, Леда мучилась, опасаясь сделать больно.

Было уже что-то неживое в них — будто человеческое тело, мягкое, податливое, заживо начинало костенеть, превращаясь в мощи или мумию. В камень. Она тогда не сразу осознала — просто вдруг накатила волна ужаса. Кстати, в детстве бабушкино дряхлое тело не производило особого впечатления — она его и не соотносила со своим или вообще с телом. Это была бабушка, вот и все.

Старая бабушка.

Другой она просто не могла быть, а то, что и она когда-то была молодой, — это не доходило. То есть абстрактно — да (фотографии там и прочее). Но не более.

Сначала яма, обычная глинистая почва, и в ней дыра, узкий лаз, просвет небольшой, а потом крошечная тьма. Если посветить фонариком, то обнаруживается тесный, исчезающий, сливающийся с той же тьмой коридор, осклизлые влажные стены — то сужаются до полной непролазности, то раздаются в стороны, сверху, снизу причудливые наросты, похожие на бивни мамонта или рога какого-то загадочно-исполинского животного. Чем дальше, тем страшней и загадочней, и там, в непроглядной глубине что-то таится, шевелится, дышит...

Это из ее детских впечатлений, когда она еще с несколькими ребятами из класса лазила в Сьяновские каменоломни (так кажется?). Пещеры такие под Москвой, неподалеку от реки Пахры, довольно обширные, на многие километры. Кто-то (уже не помнила кто) предложил поехать туда — веревку захватили, фонари и вперед...

Ни страха, ни чувства опасности.

Отец говорил без осуждения: непуганые... И сам же добавлял: и хорошо что непуганые. Значит, мир к ним расположен. Но только ведь это всегда до поры до времени, все ведь бывает вдруг и в первый раз. Мать обрывала: не надо думать о дурном, тогда ничего и не будет.

Как они там не заблудились — чудо! Впрочем, заблудились-таки (правда, не окончательно), несмотря на веревку, той, естественно, не хватило, они решили пройти чуть дальше, оставляя бумажки, а когда повернули назад, то оказалось, что бумажек нет, и веревки нет, и что ползут они и идут по совершенно незнакомой тропе... Часа два (бесконечность) тыркались так в разные стороны, пока не обнаружили наконец веревку и уже по ней вышли...

Когда она думала про болезнь, то недра собственного организма представлялись ей как эти самые ка-

меноломни: бесконечные коридоры, лазы, ответвления, провалы — и над всем грозное тяжкое нависание...

Почти каждую ночь, засыпая или просыпаясь во тьме и прислушиваясь к ночным шорохам, спускалась туда и там бродила, следуя какому-то внутреннему компасу, проталкиваясь по извилистым ходам, пытаясь разглядеть нечто в этой непроглядности, как бы в некотором свечении, возникавшем ниоткуда, и все время чувствовала это грозное нависание. Но может, и не было никакого нависания, и ничего не было, а только казалось.

Ощупывала мысленно: где?

Наваждение: рыскать по лабиринтам собственного организма в поисках Минотавра. Собственно, этим она и занималась, погружаясь в себя, спотыкаясь о какие-то выступы и падая в рытвины. Что-то понуждало ее искать. Может, правильной было не делать этого, но только само собой выходило — соскальзывала на грани сна и яви, а потом ее уже тащило-тянуло, словно в водовороте...

Когда рассказывала про эти свои странствия, становилось не по себе.

Любой симптом энтропии ее травмировал.

Почудилось, что стала забывать имена. Ее это напугало, причем сильно. И не только имена. Вроде бы сделает что-нибудь, например, повесит сушиться только что постиранную одежду, а через пять минут — все на том же месте, ничего не развешено, хотя она минуту назад этим занималась, даже в теле еще ощущение — как она руки вытягивает, чтобы перекинуть через натянутую на балконе леску. Как так может быть?

Получалось, что она вроде только намеревалась сделать, а потом забыла, намерение приняла за реальность. Но ведь сделать-то забыла. Раньше так не было. Значит, что-то происходит не то.

Набережная.

Я разглядываю свою лопнувшую подошву.

Трещина поперек ботинка, если чуть согнуть, то сразу раззвливается, отчего тот приобретает какой-то грустный, потерянный, немного бесстыдный вид. Не говоря о том, что теперь он пропускает воду, ноги сырые...

Так вот, я созерцаю, забывшись, подошву, и вдруг замечаю пристальный Ледин взгляд. Она склонилась также низко, как и я, волосы свисают аж до самого асфальта, и смотрит внимательно — то на мой ботинок, то на меня. Взгляд изучающий.

«Что это ты там рассматриваешь?» — спрашивает.

«Да вот...» — почему-то смутившись, показываю.

«Жалко!..» — неожиданно с каким-то сильным искренним чувством восклицает Леда.

Что-то свое, из недр, тайное.

«Тебе казалось хоть раз, что ты расстаешься с жизнью? Что вот-вот пресечется?»

Бывало, конечно. Во сне. Когда вдруг начинаешь задыхаться, а кажется, что тонешь, вода сомкнулась и ты рвешься из глубины наверх, но никак, руки и ноги ватные, не двигаются, словно паралич разбил, только сердце как бешеное, вот-вот разорвется, а воздуха все нет и нет — просыпаешься в холодном поту.

Вот-вот, это ей и не нравится — когда бьешься за последний глоток воздуха. Не нравится эта самая последняя минута ужаса от собственного бессилия и неизбежности. Так что с камнем на шее в воду бы ни за что ни кинулась. Как представит агонию в воде (воздуха нет!), так сразу сама мысль об этом становится отвратительной. Нет-нет, ни камень, ни веревка...

Такие разговоры тоже случались: она не раз возвращалась к теме. Если подопрет, то и не исключала. Даже говорила, что мысль о такой возможности («вы-

хода» имелось в виду) — как бальзам на рану, успокаивает замечательно, и все эти толстовские разговоры о силе и слабости — чепуха, все зависит от ситуации... Чем мучиться, лучше уж самому.

В чем была убеждена, так это что для добровольного ухода должны иметься цивилизованные средства. Ее бы, например, устроили таблетки или в крайнем случае укол. Человек сам для себя решает, подписывает бумагу и получает таблетку. Либо укол. Таблетка — самое лучшее.

На крайний случай!..

Слова, слова...

Но вертелось все чаще вокруг этого, словно мы пересекли какую-то черту и теперь должны были постоянно с этим жить. Общий приятель разбился на машине — ехал по зимнему шоссе на большой скорости, не вписался в поворот, столб, тело метрах в двухстах от машины.

Жуир, красавец, любитель женщин, как и всяких прочих радостей жизни.

Мы с Ледой поехали в крематорий. Гроб не раскрывали — видимо, лицо было нехорошо после катастрофы. Замерзли, и не только потому, что зимний день, но и... как бывает всегда почему-то во время похорон — не просто холодно, а — мерзко холодно. Промозгло, зябко, стыло, словно холод поднимается откуда-то изнутри, выстужая кровь и мышцы до какой-то лихорадочной дрожи, почти до коллапса.

Выйдя, жадно хлебнули из прихваченной бутылки — за помин души, закусили чипсами, ощутили, помимо печали, ускользнувшую от приятеля радость жизни.

Леда сказала: а ведь это должно было раньше или позже произойти с ним, он сам этого хотел.

Так уж и хотел?

Ну, может, не так чтоб явно, но точно было в нем. Все время лез на рожон. То занесет его с горными лыжами куда-нибудь на вершину мира, откуда его доставят ломанного-переломанного, то пустится в заплыв в штормящем море, чтобы потом еле-еле догresti обратно. Остренькое любил... Скучно ему было жить, вот и все. А что такое скучно жить, как не тяга к смерти?

Внутри странно разгоралось не столько от выпитого, сколько от ощущения того, что и нас может не быть, вообще не быть, как нет теперь нашего приятеля, но мы все-таки пока есть (в завораживающей близости от неведомо чего). Хотелось плотнее прижаться друг к другу, забыться...

Леда задумчиво: может, так и лучше — сразу, на лету? Раз — и нет тебя. Ничего вообще. Трудно представить. Неужели и правда душа хотя бы некоторое время не пребывает где-то рядом, чтобы освоиться в этом новом состоянии? Нет, все-таки лучше не так, иначе. Пусть с муками, но чтобы подготовиться. Чтобы не так ужасно... Чтобы кто-то держал за руку.

Это она сама с собой рассуждала.

Так она ее лелеяла, эту Лапландию, а потом вдруг оказалось, что там живет некая женщина из Узбекистана.

Вдруг разговорились, когда та ходила по дачам в поисках комнатухи (в городе дорого). Она поведала Леде, как бежала из Узбекистана с детьми (с мужем давно разошлись), трое, родственники под Ростовом приютили, даже денег одолжили для покупки половины дома (свой бросили, не успев продать, — так стало опасно, стучали по ночам, угрожали расправой — те самые соседи, с которыми давным-давно жили бок о бок), теперь нало долг отдавать, сумма немаленькая, вот она и решила податься в Москву на заработки, благо за детьми родственники приглянут.

Леда ее пустила, даже денег не брала, пусть живет, не жалко, заодно и за дачей приглядит. Та и в самом деле приглядывала, убирала. Не мешала, если Леда была здесь же — проскальзывала себе тихими стопами в мансарду и не видно-не слышно ее. А рано утром, часов в шесть тихо стучала дверь в девять она уже должна была стоять на своем торговом месте (на Черкизовском).

У Леды случилось такое — бесшабашное доверие к другим, несмотря на тревожное, подозрительное время.

Объясняла, что росла с неизменным чувством расположенности к ней мира (людей в том числе). Не было у нее страха перед жизнью. Казалось, что все ее должны любить, поэтому и с людьми сходилась легко, всегда у них в доме кто-нибудь топтался — из ее приятелей и приятельниц, особенно когда родителей не было дома. И у тех тоже часто бывали гости, особенно сотрудники отца по лаборатории, родственники и знакомые из других городов у них останавливались. Подруги матери. Это когда мать заболела, к ним реже стали наведываться, потом совсем перестали. Матери нужен был покой. Впрочем, все равно заходили — поведать.

И сама Леда, часто путешествуя (любила), даже в одиночку, легко шла на контакты, могла запросто принять приглашение переночевать от случайного человека, с которым только что познакомилась, даже ничего толком про него не зная.

Непуганая.

Она всегда много общалась, а в последнее время особенно. Встречалась с огромным количеством людей — с теми, кого хорошо и давно знала, с теми, кого узнала недавно, но и новых знакомств не избегала, словно это что-то значило для нее. Будто искала кого-то и среди прежних, и среди новых. Мысль о продаже квартиры (а может, и дачи) к этому подталкивала, но это была, судя

по всему лишь зацепка, не более, хотя вид при этом у Леды был довольно деловой.

Телефон у нее постоянно был занят, а когда брала трубку, то слышались еще какие-то голоса, видимо, гости, она то и дело отвлекалась и кому-то что-то говорила, потом снова подносила ее ко рту, так что становилось слышно дыхание, немного прерывистое, словно бежала к телефону и запыхалась. Но у нее всегда было такое дыхание, вероятно, от курения. И легкая хрипотца в голосе.

Как-то я застал у нее некоего Буровцева, якобы одноклассника, с которым они не виделись чуть ли не с окончания школы. Эту фамилию я от нее слышал, причем в однозначно негативном контексте, как говорят о человеке, который не просто тебе чем-то сильно насолил, но и был с тобой как-то связан, больше чем с другими. Может, между ними что-то и было, но потом Леда если и упоминала эту фамилию (не вспомнить в связи с чем), то только с презрительным оттенком в голосе.

А тут вдруг у нее в гостях: краснолицый, с брюшком, с большими залысинами — будто лет на двадцать старше. Сидят, пьют кофе. Початая бутылка коньяка на столе, золотистое мерцание в хрустальных рюмках. У Леды на лице легкая грусть и еле уловимая усмешка. С чего бы? Ведь бывала довольно непримиримой, не прощала обид. Если разочаровывалась, то фундаментально, а тем более если бывала обижена — вычеркивала человека навсегда. Как бы забывала о нем, словно тот никогда не существовал.

Что-то явно сдвинулось в ее жизни — вдруг стала обращаться назад. Ведь не просто вспомнила бывшего одноклассника, но даже и к себе позвала (а может, сам же пришел?).

Потом, чуть позже, осенило: хотела увидеть разрушительные последствия жизни — в мешках под глазами, залысинах и брюшке, все что осталось от когда-то статного, симпатичного парня, если судить по школьным фотографиям (он рядом с Ледой или чуть позади), — разбросаны

были тут же, на столе, возле рюмок с коньяком и тарелкой с сухим печеньем. Подозреваю, что ей просто надо было лишний раз убедиться: жизнь уходит не только из нее одной, она беспощадна ко всем, обидчикам и обиженным, победителям и побежденным, отличие лишь в том, что к одним она более беспощадна, к другим чуть менее, одним дается легче, другим труднее. В конечном счете невелика разница. Во всяком случае не настолько, чтобы из-за этого особенно переживать.

Означало ли появление Буровцева, что она простила его? Реабилитировала? Помирилась с ним?

Кто знает...

Ладно, с людьми. У нее и с музыкой были странные отношения.

Играла на фоне, даже довольно искусно (пальцы длинные, тонкие, в раннем детстве учили, пианино в ее комнате), на школьных концертах выступала, но потом забросила (лень), несмотря на давление родителей. Лишь изредка присаживалась пробежать по клавишам, под настроение.

Пальцы не просто извлекают звуки из музыкального инструмента, но загадочно улавливают гармонию.

Ну да, главное — гармония!

Учительница музыки, седенькая старая дама, дочь, между прочим, не кого-нибудь, а графа, того, дореволюционного, кокаиниста, дальняя родственница, маленькая, с лаконичным прямым аристократическим носиком внушала, ставя на проигрыватель пластинку Бетховена в исполнении Рихтера: музыкант не музыкант, а любить надо... В юности, наставляла, музыка окрыляет, в зрелости — укрепляет, в старости — поддерживает...

Зацепка, короче. Опора. Лествица.

Одно время (был период) не снимала наушники, слушала — и легкую, и классику, и даже рок, посуду мыла, еду

готовила под музыку, а потом вдруг раз — и все, оборвалось. Перестала слушать вовсе.

Потом выяснилось: боится. Сама призналась: появилась какой-то страх перед музыкой. Слишком много всего закипает внутри. Раньше это повышало тонус — хотелось жить, любить и вообще...

А теперь? Обман мерещился.

Вот-вот, боялась обмана. Музыка сулит нечто, чего, может, уже не суждено. И еще кажется, что та может заглушить. Да, заглушить что-то очень важное. Она стала постоянно прислушиваться к чему-то, прислушивается, прислушивается, словно опасаясь упустить что-то очень важное. Может, к себе самой — что в ней проявится какая-то правда, некое откровение, которое и переменит жизнь. Что-нибудь эдакое, судьбоносное. А может, к чему-то вонне. Боится упустить какой-нибудь знак, который ей может быть подан.

Однако пройти спокойно мимо музыкантов в метро была не в силах. Остановивалась и слушала. Особенно если скрипка. Встанет неподалеку (но и не совсем рядом) и слушает, а потом, уже уходя, денежку положит.

Судя по всему, ей даже не обязательно было качество, плохо или хорошо — не так важно. Главное, что расслышала вдруг свое — мелодию или что. Тут же вся напрягалась и, пока проходила, скажем, по длинному тоннелю с Театральной на Охотный ряд, голову сразу приподнимала, ловя звуки скрипки (флейты или гитары). Так и шла, задрав подбородок навстречу музыке (музыканта не видно), порозовевшая от возбуждения, а когда подходила ближе (даже если спешила), сворачивала в сторону и застывала, опершись плечом о мрамор.

Ноздри вздрагивали, жилка на виске вибрировала, когда слушала.

Конечно, ей нужно было учить английский. Школа не считалась, институт тоже, да и подзабыто за годы. Курсы,

на которые она пошла (деньги немаленькие, но отец спонсировал) были неплохие, при ее-то способностях (обезьяньих, как говорила преподавательница, пожилая опытная дама, много лет прожившая в Англии, но после очередной перетруски в министерстве иностранных дел вынужденная с мужем, сотрудником посольства, вернуться).

Они даже подружились с этой дамой, которая почему-то выделяла ее в группе и даже приносила ей отдельно магнитофонные кассеты с какими-то оксфордскими продвинутыми курсами. «У вас прирожденный лингвистический дар», — говорила, не подозревая даже, что только сыплет соль на рану.

Говорить про дар человеку, не ведающему, что с ним будет завтра... И тем не менее Леда находила в себе силы не только не подавать виду, брать кассеты, а главное, аккуратно посещать курсы, прилежно готовиться к очередному занятию.

Однажды мне вдруг, ни с того ни с сего, нестерпимо захотелось ее увидеть (уже было известно). Внезапно представил, каково ей — носить в себе мысль об этом. Пронзило, что вдруг ее не будет. Даже не мысль, а что-то другое, мгновенное. Я знал, где находятся ее курсы, недалеко от метро Пушкинская, в самом центре (она как раз должна была заниматься). Там, в глубине двора, я и уселся на какой-то ящик, позади высокого раскидистого клена — до конца занятия оставалось минут двадцать.

Наконец, дверь в очередной раз распахнулась и появилась она — как обычно в синих туго обтягивающих джинсах, в легкой блузке, темные волосы слегка растрепаны (наверняка теребила их, сидя за партой). Лицо все еще сосредоточенное, бледное, усталое.

Леда.

Хотелось вскочить ей навстречу, но что-то удержало. Так и продолжал сидеть, даже не окликнув, наблюдая за ней — как она идет к воротам, как знакомо передергивает

плечом, поправляя черную сумочку с блестящей защелкой (рядом с косметикой, пачкой сигарет и зажигалкой — учебник, маленький словарь, тетрадка, ручка), ни дать ни взять школьница (время тронулось вспять). Видеть вот так отстраненно близкого человека всегда почему-то немного больно — может, именно из-за этой отдельности, из-за того, что ты видишь его, а он тебя нет, — вроде как беззащитность.

Остановившись на минуту, вытащила сигарету, чиркнула несколько раз зажигалкой, в конце концов вспыхнувшей, жадно затянулась. И снова двинулась, окутанная дымком, слегка встряхивая волосами, будто отгоняя какие-то назойливые мысли.

Некоторое время я шел вслед за ней по другой стороне, напряженно следя за каждым ее движением, словно стараясь запомнить, вобрать как можно глубже, но потом вдруг устыдился такой своей пристальности, такой непонятно-для-чего-слезки, словно предающей ее чему-то неотвратимому.

Может, и надо бы окликнуть, стряхнуть морок, но — не рискнул. Свернул в ближайший переулок, виновато унося на сетчатке ускользающий силуэт.

Все шло к ее отъезду. Она еще была, но ее как бы уже и не было. Словно не только сама примерялась, привыкала к новому состоянию (когда ее здесь не будет), но и нас, близко ее знавших, к этому приучала.

Ее невозможно было поймать в городе и нигде, даже в Лапландии, так что пару раз мне пришлось поцеловать замок (тревога: не случилось ли чего?). Хотя почему-то не верилось, что ее нет, было ощущение, что она просто прячется от всех и нарочно не снимает с калитки замок для самоприбывшего народа, чтобы не беспокоили. К ней нередко наведывались без предупреждения, и она обычно радовалась, даже если отвлекали от довольно срочных дел.

Мне-то было известно, что замок может быть чистой воды камуфляжем. Имелись в заборе две прибитые всего на один гвоздь доски, прекрасно раздвигающиеся, так что пролезть в щель не составляло никакого труда. Замок — для других, тогда как на самом деле она там, в доме, на веранде или в комнате, где камин (там теплее), даже если камин не топится, или наверху, в мансарде, тоже любимое ее место, где когда-то я пытался и не мог уснуть, в сумерках зацепившись приворожившее меня лицо хозяйки.

Участок весь был усыпан желтыми листьями, на крыльце тоже листья, и — вдругдохнуло чем-то нежилым, словно дом был покинут уже давно. Я подергал несколько раз дверь, потом громко постучал. Никто не отозвался. Вряд ли Леда бы не откликнулась. Так уже бывало во время ее внезапных приступов отшельничества: она, скрывшись от всех («Надоело!»), с радостью выбегала навстречу, словно кто-то насильно заставлял ее сидеть здесь одну, держа под домашним арестом. «Ой, как я рада, что ты приехал! Я тут совсем истосковалась...» — и бросалась на шею.

Я смотрел на темные занавешенные окна, на запертую дверь, и думал, что так и будет совсем скоро, когда Леда уедет к отцу. В доме наверняка поселится кто-то другой, и здесь станет совсем иначе — и в доме, и везде. Собственно, и Лапландии уже не будет, а просто чья-то дача, чей-то дом. Представить это было довольно трудно, а уж Леде, надо полагать, тем более. Не случайно так тянула с решением о продаже...

Последнее, что запомнилось из встреч с ней, — как бродили поздним августовским вечером, незадолго до ее отъезда (совсем стемнело), по дачным улочкам.

Она и вообще любила — одна (не боялась) или с кем-то (со мной тоже), но больше одна. Говорила, что нравится заглядывать издалека в светящиеся окошки чужих домов. Свет в глубине чужого сада, сквозь

листву — как маячок в море. Везде темно, а там — огонек, значит, жизнь продолжается. Мерцает экран телевизора, слышны звон тарелок или кастрюль, приглушенные голоса, иногда тянет вкусным дымком пищи или табака...

Удивительно приятное ощущение — словно ты дух, наблюдающий жизнь с высоты. Чужую или свою — без разницы. Эта чужая — все равно что своя. Из темноты ты как призрак, там же — настоящее. Какие-то заботы, смех, веселье, выяснение отношений или, наоборот, тишина, кто-то читает книгу или газету, смотрит телевизор, слушает музыку..

Мы останавливались возле чьей-нибудь калитки и заглядывали туда, через забор, на светящиеся, занавешенные или нет, приоткрытые или распахнутые настежь окна. Мне кажется, говорила Леда, так будет всегда, даже когда меня не будет. Так же вот из другого измерения смотреть на эти земные окошки и радоваться тому, что там происходит. Собственно, то же самое, что и сейчас, только я уже как бы не совсем я. Но это не важно. Может, и наши предки так же смотрят на нас из тьмы или невидимого нам света (все равно), как мы теперь. Для них это тоже как маячок в бездне мироздания — ну как если бы мы смотрели на землю из иллюминатора космического корабля. Впрочем, там наверняка другое зрение — ближнее как дальнее и дальнее как ближнее, или, вернее, то и другое в одном, а возможно, это вовсе даже не зрение, а что-то неведомое нам, ни с чем не сопоставимое.

В другие сферы ее тянуло. Торопясь, словно примеривала небытие, пыталась хоть чуть-чуть раздвинуть непроницаемую завесу.

Может, ей и удавалось...

Рассказ — жанр трудный...

Евгения Шкловского плодотворным писателем никак не назовешь — за десять с лишним лет работы в прозе выходит всего лишь четвертая книжка его рассказов. А рассказ — жанр трудный, особенно в той его модификации, которую разрабатывает Шкловский (пожалуй, единственный в современной русской литературе).

Читаются рассказы Шкловского медленно: после каждого текста просто физически требуется передышка — не то чтобы для «осмысления» прочитанного, а просто по причине сильнейшей концентрированности этой прозы. Как таблетка: проглотил махом, а потом она долго растворяется, прежде чем начинает работать таинственная химия взаимодействия веществ. Лучшие рассказы Шкловского подолгу разворачиваются в сознании, прочитанное вступает в сложные связи с собственным опытом, принимается или отвергается, словом, порождает некий напряженный процесс. Не «захватывает» (поскольку не беллетристика), но «задевает», «застревает» в голове, и от некоторых образов приходится мучительно отделяться, чтобы не мешали нормальной мыслительной жизни.

Четверть века назад Владимир Маканин озадачил советскую читающую публику рядом рассказов, которые как бы «размечали» сложившуюся и устоявшуюся социальную реальность. Человеческие типы и ситуации, созданные в рассказах «Отдушина», «Ключарев и Алимущ-

кин», «Человек свиты», «Гражданин убегающий» и некоторых других, были моментально «узнаны» и вокруг них развернулась малопродуктивная в те времена дискуссия, причем автору доставалось за прохладную отстраненность, за исследовательское бесстрашие, непривычное для советского читателя, вскормленного из романтической соски. А Маканин, занимаясь своей антропологией, опасно приближался к очень «взрослым» (почти непереносимо страшным) для тогдашнего советского сознания мыслям о человеке, и потому как бы «задерживал дыхание», щадя себя и читателя.

С тех пор много воды утекло, радикально изменился социальный пейзаж, литература переболела всеми детскими болезнями и старческими недугами, и решительно никто не хотел заниматься тем, что начал тогда Маканин — исследованием вариантов человеческой нормы. Катаклизмы вынесли на поверхность столько экстремально-ненормативного, что литературный мейнстрим ринулся в то просторное русло, обещающее несмертельные приключения.

Шкловский остался с нормой — и с нормой письма, опирающейся на добротный психологический реализм, и с нормой мирнотекущей, несмотря на все катаклизмы, человеческой жизни. Он оборудовал свою частную, на отшибе от столбовой дороги, лабораторию новой, более сильной, чем у предшественников, оптикой, и обнаружил давно известное, но как-то за множеством дел подзабытое: «электрон так же неисчерпаем, как и атом». Он обнаружил, что «нормальный» человек — не убийца, не шизофреник, не наркоман, не дебил, не божж — существо пороговое, сохраняющее видимость стабильности невероятными ежедневными, ежечасными усилиями. В реальности эти усилия автоматизированы, в прозе Шкловского механизмы даются «в разрезе», как на стенде, и от этого временами не по себе.

Прозаик берет простейшую бытовую ситуацию — самую типовую, и из этого мелкого зерна на наших глазах вырастает мощный куст психологических проблем, це-

лая драма нормальных вроде бы человеческих отношений: «Я спрашиваю, а она не отвечает. Или — не спрашиваю, а просто говорю небрежно: пока... Если я так говорю, а ничего не спрашиваю, то это уже нарушение ритуала, сразу осложняющее наши и без того непростые (простых не бывает) отношения. Осложняются тем, что как бы намекают на их простоту и обычность».

Такова, в сущности, каждая ситуация «нормальной» жизни, человек всегда идет по минному полю, вынужденный ежесекундно выбирать, куда ступить, чтобы сохранить тот баланс свободы и зависимости от другого, который не угрожает ни «норме», ни «самости».

Читая прозу Шкловского, часто вспоминаешь сартровское «ад — это другие», но еще чаще его проза напоминает о том, что человек носит свой ад в себе. «Нормальный» мир чрезвычайно опасен, ближние и дальние заряжены сознательной или бессознательной агрессией, жить холодно и страшно, избежать столкновения невозможно. Ощущая это, человек строит психологические «баррикады», сам невольно насыщаясь агрессией и порой теряя представление о «пределах необходимой обороны». Все такие ситуации Шкловский пишет, всё увеличивая и увеличивая масштаб, поскольку главная, как кажется, его задача — понять, где точка перехода, где норма выворачивается патологией.

Чрезвычайно трудно, применяя такую сильную оптику, воздержаться от соблазна разных «окончательных» выводов, не впасть в демонизацию обуревающих человека страстей и комплексов, не встать в позу равнодушного наблюдателя. Шкловский этих соблазнов избегает, избрав интонацию благожелательного (не благодушного) удивления. Поэтому его проза не подавляет концентрацией проблем, не опустошает, а озадачивает, даже пробуждает некий новый интерес к жизни, поскольку предлагает новые инструменты ее познания и неожиданно формулирует кое-какие «вечные» к ней вопросы.

Александр Агеев

Содержание

Воспитание по доктору Шпеерту

Улица	7
Гений красоты.....	18
Лазик и Паша-Король	31
Воспитание по доктору Шпеерту.....	38
Кумир	50
Соседи	67
Маленькая ящерка, похожая на дракона	77
Прогулки	87
Вестник.....	98
Сладкая парочка	107
Опекун	121
Втроем	130
Не сказали.....	139
Завсегдайтй.....	146

Фата-моргана

В потемках	161
Омут	170
Благодетели	179
Фата-моргана	189

Питомник.....	200
Спальный район	219
Цепь	229
Мать, белокрысый и Илларион	239
Шива танцующий	247
Кладезь	258
Жертвоприношение.....	265
Щель	273
На посту.....	281
Порча	286
Пиво, паук, дерево... ..	300

Сатори

Одиночество писателя Д.	311
Зовы	317
Сатори	327
Вместе	336
Роза мира. Сюжет для небольшого сценария	345
Бахтин, Эрзя и прочие.....	358
Любовь к королевским креветкам	363
Пандус	378
Осиное жало	387
Еще про осиное жало	395
Встречный ход.....	403
Дождь	416
Страх вратаря	423
Музыка над городом	429
Шамбала	437

Лапландия. *История одной болезни*

<i>Повесть</i>	445
----------------------	-----

<i>Александр Агеев. Рассказ — жанр трудный...</i>	505
---	-----

Евгений Шкловский

Фата-моргана

Редактор *В. Дьяков*
Дизайнер *П. Конколович*
Корректор *Н. Смирнова*
Верстка *Л. Ланцова*

Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО «Новое литературное обозрение»

Адрес редакции:

129626, Москва, И-626, а/я 55

Тел.: (095) 976-47-88

факс: 977-08-28

e-mail: real@nlo.magazine.ru

Интернет: <http://www.nlo.magazine.ru>

Формат 84x108/32

Бумага офсетная № 1

Печ. л. 16. Заказ № 762.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Чебоксарская типография № 1»
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15

Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В 2003—2004 гг. вышли:

«Художественная серия»

Александр Гольдштейн. **ПОМНИ О ФАМАГУСТЕ.** Роман

Новая книга известного прозаика, эссеиста Александра Гольдштейна («Расставание с Нарциссом», НЛО, 1997, премии Малый Букер и Антибукер; «Аспекты духовного брака», НЛО, 2001, шорт-лист премии Андрея Белого) — затягивающий, необычный роман, в котором сталкиваются разновременные пространства, от Сергиева Посада до Закавказья, от Кипра до Палестины, а также фантазмагория и сатира, гладиаторский цирк и православный монастырь, толкование идей и исповедальные приключения плоти. Пленники диковинных, экзотических обстоятельств на сломе эпох, герои романа жаждут поступка и преображения. Увлекательный сюжет этой прозы неотделим от языковых экспериментов, уподобляющих ее орнаменту, узору.

Елена Толстая. **ЗАПАДНО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВАН-КРОВАТЬ**

В книге собрана проза Елены Толстой, известного иерусалимского филолога-слависта, автора книги «Поэтика раздражения» и др. Ее тексты, будь то рассказы о ленинградском детстве или квартирном вопросе в Иерусалиме, обращены к объективной «словесной» реальности — их можно назвать «литературой факта». Объекты для своих деконструкций автор выбирает самые разнообразные: краеведческий сборник 1884 г., словарь псевдонимов, старая газета, сегодняшний лис-ток объявлений — все становится поводом для веселой игры и увлекательного, пластичного и яркого повествования.

Леонид Цыпкин. **ЛЕТО В БАДЕНЕ.** Роман

Об этом произведении Сюзан Зонтаг написала так: «Этот роман я, ничуть не усомнившись, включила бы в число самых выдающихся, возвышенных и оригинальных достижений века...». В завораживающем ритме романа сплелись пугешество рассказчика из Москвы 70-х годов в Ленинград и путешествие Достоевского с женой Анной Григорьевной из Петербурга в Европу в 1867 году, вымысел в нем трудно отличить от реальности. В России имя автора, врача-патологоанатома, умершего в 1982 году, к сожалению, остается до сих пор неизвестным. Представляя русскому читателю замечательное произведение, редакция «НЛО» надеется закрыть эту лауну.

Издания
«Нового литературного обозрения»
(журналы и книги)

можно приобрести в следующих магазинах Москвы:

«Ад маргинем» - 1-й Новокузнецкий пер., 5/7;
тел.: 951-93-60

«Библио-глобус» - ул. Мясницкая, 6; тел.: 924-46-80

«Гилея» - Нахимовский просп., 51/21; тел. 332-47-28

«Гнозис» - Зубовский бульвар, 17, стр. 3, к. 6;

тел.: 247-17-57

«Графоман» - 1-й Крутицкий пер, 3; тел.: 276-31-18

Книжная лавка писателей при Литфонде -

ул. Кузнецкий мост, 18; тел. 924-46-45

Книжная лавка при Литинституте -

Тверской бульвар, 25; тел. 202-86-08

«Ломоносов» - ул. Трофимова, 18-А; тел. 279-38-86

«Молодая гвардия» - ул. Большая Полянка, 8;

тел. 238-50-01

«Москва» - ул. Тверская, 8; тел. 229-64-83

Московский Дом книги - ул. Новый Арбат, 8;

тел.: 290-45-07; 290-35-80

О.Г.И. - Потаповский пер., 8/12, стр. 2;

тел. 927-56-09

«Пирог» - ул. Пятницкая, 29; тел. 136-74-33

«Пресс-торг» - ул. 2-я Тверская-Ямская, 54;

тел. 978-60-22

«Русский путь» - ул. Новая Радищевская, 2/1;

тел.: 915-10-47

«Фаланстер» - Б. Козихинский пер., д 10;

тел. 504-47-95

«У кентавра» - Миусская пл., 6; тел.: 250-65-46

ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ

Он оборудовал свою приватную, на отшибе от столбовой дороги, лабораторию новой, более сильной, чем у предшественников, оптикой, и обнаружил давно известное, но как-то за множеством дел подзабытое: "электрон так же неисчерпаем, как и атом". Он обнаружил, что "нормальный" человек — не убийца, не шизофреник, не наркоман, не дебил, не бомж — существо пороговое, сохраняющее видимость стабильности невероятными ежедневными, ежечасными усилиями.

Александр Агеев. *Время МН*

Сюжет воспринимается Шкловским как литературная условность, как "насилие над жизнью", и пугает его ощущение, что все совершается в то время, когда внешне как бы ничего не происходит. Это и есть страх обыденности, страх жизни.

Михаил Золотоносов. *Московские новости*

Наследник традиции Юрия Казакова, Е. Шкловский привнес в нее и свое, а именно — гиперболизированный лаконизм, адекватный жесткому информационному стилю нашего времени, то и дело обрывающему наши лирические излияния репликой: "Короче!"

Вл. Новиков. *Новый мир*

В его последних рассказах привлекает именно чеховская прозрачность и будничность в сочетании с кафкианской зловещей притчевостью и резким обнажением смысловой структуры.

Михаил Эпштейн. *Новое русское слово*

1 ISBN 5-86793-309-1



9 785867 933098 >